

ISSN 0132-2036

# ЮНОСТЬ

## 10 '90





Успенский храм на Ольшанском кладбище в Праге.  
Возведен в память о наших соотечественниках,  
«в междуусобной брань за Россию смерть обретших».

А когда же мы на своей земле, пропитанной «белой» и «красной» кровью,  
почтим память всех павших в этой свирепой междуусобной брань?

Фотография конца 20-х годов.

# ЮНОСТЬ

10 (425) '90



ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955 ГОДУ

## К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

*Прошло семь десятилетий после гражданской войны, но мы только сейчас начинаем понимать, какое это было несчастье для всей России. Еще недавно на первый план выступала героика. Преобладала тема: слава победителям, позор побежденным! Даже «Тихий Дон» трактовался чуть ли не как личная трагедия Григория Мелехова, который «не понял», «не разобрался...». А трагедия-то была всенародная! Пора увидеть и понять полную правду о гражданской... Понять и скорбно склонить головы перед миллионами погибших в братоубийственной войне. Пора отрешиться от ненависти (в трагедии всегда есть нечто роковое, что превыше всяких пристрастий), избыть ее, чтобы никогда более не повторилось кровавое безумие розни. Если этой цели послужат малоизвестные (а то и вовсе не известные) страницы литературы о гражданской войне, публикуемые в этом номере нашего журнала, то мы будем считать свой замысел не напрасным.*

# ТРИУМФ ОКАЯННЫХ ДНЕЙ

(диалог в цитатах)

«Из всех видов пуганья — пуганье гражданской войны самое, пожалуй, распространенное...»  
(В. И. Ленин. *Русская революция и гражданская война. 1917 г.*)

«Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обагрившей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только лицемерное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на самое социалистическое движение».

(В. Короленко. *Письма к Луначарскому. 1920 г.*)

«...Наше время — время крушения государства, полного развала жизни, ее обнаженного цинизма, проявления величайших преступлений жестокости, время, когда пытка получила свое этическое обоснование, а величайшие преступления, вроде Варфоломеевской ночи, выставлялись как идеал, время обнищания, голода, продажности, варварства и спекуляции — есть вместе с тем и время самого искреннего, полного и коренного подъема духа».

(В. Вернадский. *Организация народного образования в новой России. 7 ноября 1920 г.*)

«Некоторые члены вашей делегации с удивлением спрашивали меня о красном терроре, об отсутствии свободы печати в России, свободы собраний, о преследовании нами меньшевиков и меньшевистских рабочих и т. д. ...Наш красный террор есть защита рабочего класса от эксплуататоров, есть подавление сопротивления эксплуататоров, на сторону которых становятся эсеры, меньшевики, ничтожное число меньшевистских рабочих. Свобода печати и собраний в буржуазной демократии есть свобода заговора богачей против трудящихся, свобода подкупа газет и скопки их капиталистами».

(В. И. Ленин. *Письмо к английским рабочим.*

30 мая 1920 г.)

«Свободной печати у нас нет, свободы голосования — также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо «брдрут врозь» (старое русское выражение) от голода. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом и чрезвычайки уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет згрозная зима, а вы работаетесь только о фальсификации мнения пролетариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают свои меры».

...Между тем если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти».

(В. Короленко. *Письма к Луначарскому. 1920 г.*)

«Вопреки распространенному мнению, я вовсе не кровожаден, как думают. До убийства Урицкого в Петрограде не было расстрелов, а после него слишком много и без разбора. Тогда как Москва в ответ на покушение на Ленина ответила

лишь расстрелом нескольких царских министров. Я заявляю, что всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову встретит такой отпор и такую расправу, перед которой побледнеет все».

(Я. Петерс. *«Еженедельник ЧК». Ноябрь 1918 г.*)

«Ужасом веет от недавно пережитого прошлого.

Люди, путем восстания захватившие власть, проводили новый строй, идеальный строй, как они говорили, выработанный лучшими умами человечества.

Мы прошли крестный путь этого строя.

Основанный на неравенстве людей, он восстановил нам худшее прошлое. В XX веке мы пережили и состояние неполноправных граждан старых времен, и ужасы возрожденной к жизни инквизиции».

(В. Вернадский. *Довольно крови и страданий.*

9 сент. 1919 г.)

«Провести с семьями восставших беспощадный красный террор, арестовать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом. Если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и имущество».

(Приказ оперштаба Тамбовской ЧК. 1 сентября 1920 г.)

«Победители — обычно великолдуши, — может быть, по причине усталости, — пролетариат не великолдушен, как это видно... ...в тюрьмы попадают тысячи, да тысячи рабочих и солдат. Нет, пролетариат не великолдушен и не справедлив, а ведь революция должна была утвердить в стране возможную справедливость».

...Уничтожив именем пролетариата старые суды, народные комиссары этим самым укрепили в сознании «улиты» ее право на «самосуды», звериное право с 1905 года. Уличные самосуды стали вседневным, «бытовым явлением».

(М. Горький. *Несвоевременные мысли. 1918 г.*)

«Эта диктатура предполагает применение беспощадно сурового, быстрого и решительного насилия для подавления сопротивления эксплуататоров, капиталистов, помещиков, их прихвостней. Кто не понял этого, тот не революционер, того надо убрать с поста вождей или советчиков пролетариата».

(В. И. Ленин. *Привет венгерским рабочим.*  
27 мая 1919 г.)

«Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», — точно решительно нет никаких причин пугаться, — или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то великие преимущества перед «обывателями». Да и кто собственно эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком и о чем заботятся, вообще, революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?»

(И. Бунин. *Окаянные дни. 1919 г.*)

«Не ищите в деле обвинительных улик; восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого».

(М. Латис. *Газета «Красный террор». 1 ноября 1918 г.*)

«Новое начальство» столь же грубое, как и старое, только еще менее внешне благовоспитанное. Орут и топают ногами в современных участках, как и прежде орали, и взятки хапают, как прежние чинуши хапали, и людей стадами загоняют в тюрьмы».

(М. Горький. *Несвоевременные мысли. 1918 г.*)

«Кучку праведников (имеются в виду революционеры) вся остальная интеллигенция рассматривала как величайших изменников знамени интеллигенции. Это привело к тому, что русская интеллигенция оказалась на стороне врагов революции и рабочего класса... Революция тоже определила свое отношение к интеллигенции. Поскольку дело дошло до гражданской войны, нужно воевать. Это совершенно ясно: ни один настоящий революционер не скажет интеллигенту

так — я позволю тебе стрелять в меня; я же в тебя стрелять не буду».

(А. Луначарский. Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем. 1924 г.)

«Тerror, как демонстрация силы и воли рабочего класса, получит свое историческое оправдание именно в том факте, что пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции».

(Л. Троцкий. «Известия». 1919 г.)

«Ясно, что дальше так идти не может и стране грозят неслыханные бедствия. Первой жертвой их явится интеллигенция. Потом городские рабочие. Дальше всех будут держаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Армия».

(В. Короленко. Письма к Луначарскому. 1920 г.)

«В сентябре был день красной расправы, в Холмогорах расстреляно более 2000 человек. Все больше из крестьян и казаков с юга. Интеллигентов уже не расстреливают, их мало».

(Газета «Революционная Россия». 1921 г.)

«В университете все в руках семи мальчишес первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Київ, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте! Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке».

(И. Бунин. Окаймленные дни. 1919 г.)

«Юнкера, офицеры старого времени, учителя, студенчество и вся учащаяся молодежь — ведь это все в своем громадном большинстве мелкобуржуазный элемент, а они-то и составляли боевые соединения наших противников, из нее-то и состояли белогвардейские полки».

(М. Латис. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. 1921 г.)

«Мне пришлось уже говорить при личном свидании с вами о том, какая разница была при занятии Полтавы Красной Армией и добровольцами. Последние более трех дней откровенно грабили город с «разрешения начальства». Красноармейцы заняли Полтаву, как дисциплинированная армия, и грабежи, производимые разными бандитами, тотчас же прекратились. Только впоследствии, когда вы приступили к бесследным расстрелам, реквизициям квартир (постигавшим нередко и трудовые классы), это впечатление заменилось другим чувством. Вы умеете занимать новые местности лучше добровольцев, но удержать их не умеете, как и они, — закончил я тогда. Теперь приезжие из Киева рассказывают, что Красной Армии было предложено перед выступлением в поход «одеться на счет буржуазии». Если это подтвердится, а известие носит все признаки достоверности, то это будет значить, что опасный симптом уже начинается, вы кончаете тем, чем начинали деникинцы. Приезжие говорят, что на этот раз грабеж продолжался более недели, и это, может быть, указывает на начало последнего действия нашей трагедии».

(В. Короленко. Письма к Луначарскому. 1920 г.)

«И, как всегда, не ограничиваясь внешним натиском, они (страны Согласия. — Ред.) действуют внутри страны путем заговоров, восстаний, попыток бросания бомб и взрыва водопровода в Петрограде, о чем вы читали в газетах, в виде попытки разобрать железнодорожные пути, которая была сделана недалеко от Самары, — это главный железнодорожный путь, доставляющий нам сейчас хлеб с востока...»

«Когда мы берем все это вместе и рассматриваем, для нас ясно, что страны Согласия, что французские империалисты и миллиардеры делают последнюю попытку военным путем раздавить Советскую власть.

И меньшевики, и правые и левые эсеры, которые до сих пор не поняли, что борьба идет к концу, что вопрос стоит о самой отчаянной, беспощадной войне, — они продолжают проповедовать не то забастовку, не то прекращение гражданской войны».

(В. И. Ленин. Чрезвычайное заседание пленума московского совета. 3 апреля 1919 г.)

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем:

«В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавочки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Аяньев, — убитых свыше ста, магазины разграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте музыку революции!»

(И. Бунин. Окаймленные дни. 1919 г.)

«Вот здесь Украина, здесь Белоруссия, здесь Молдавия, здесь Крым. А вот это — евреи. Тысяча пятьсот двадцать маленьких флагов, наподобие фишек, проткнули многочисленные точки и названия. Местами они скрудились густой массой. Здесь резня устраивалась много раз.

Я понимаю.

Синие флаги. Во славу Деникина. Я считаю: двести двадцать шесть штук.

Вот другие — желтые флаги. Они возвещают хвалу Петлюре.

— Двести одиннадцать, — говорит Островский.

Для поляков отделено сорок семь флагов. Балахович отмечен тоже сорока семью флагами. Для прочих бандитов остается девяносто восемьдесят девять штук.

Девяносто восемьдесят девять! Но некоторые из них работали за счет Петлюры.

Украина перенесла три четверти этих погромов: тысячу двести девяносто пять, один в один».

(Бернар Лекаш. Когда Израиль умирает. Перевод с французского. 1928 г.)

«Однако, тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа, который, будучи Спасителем, восстал на богачей?» Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слони такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что «истины» Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

(И. Бунин. Окаймленные дни. 1919 г.)

«На этом совещании (ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. — Ред.) провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

(В. И. Ленин. Секретное письмо т. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 года)

«Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражения, но вся эта суeta во имя коммунизма николько не знаменует его победы».

(В. Короленко. Письма к Луначарскому. 1920 г.)

«...Гражданская война была сплошным триумфом Советской власти...»

(В. И. Ленин. Доклад на IV Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов. 14 марта 1918 г.)

Публикацию подготовили  
Е. АТЯКИНА и И. ХУРГИНА

# Публицистика

Ольга  
ТРИФОНОВА

## «ПИСАТЬ ДО ПРЕДЕЛА ВОЗМОЖНОГО...»

Из записных  
книжек  
Ю. В. Трифонова

В одной из записных книжек Юрия Валентиновича Трифонова я прочитала вот что: «Факт, документ, конкретность — обладает своей собственной громадной и взрывчатой силой.

В документальной прозе лишь два героя: один из них автор с его мировоззрением, другой — правда. Документальная проза — это правда. С нее все началось. Тацит и Плутарх до сих пор — лучшие прозаики, так же, как протопоп Аввакум, как Пушкин — автор истории Пугачевского бунта.

Я думаю, что конкретная, фактическая основа лежит в основе успеха многих произведений т. н. — чисто художественных.

Например — Бабель.

«Конармия» — это историческое повествование.

Как Квент Курцци Руф рассказывает о походах Александра. Но Курцци Руф, уже читавший Библию и Мопассана.

То же можно сказать о булгаковском «Театральном романе». Успех этой книги, кроме того, что она блестяще, остро, великолепно написана — и в том, что в ее основе лежат конкретные люди и конкретные события. Это никакой не роман, это история нравов».

Трижды Юрий Валентинович в своем творчестве обращался к истории. Непосредственно к истории, если говорить точно, потому что история присутствовала во всех его книгах, недаром один из героев был историком, а интервью с немецким критиком Ральфом Шредером так и называно: «Роман с историей». Но сейчас я говорю о романе «Нетерпение», документальной повести «Отблеск костра» и романе «Старик».

Документальная повесть «Отблеск костра» написана о революции и гражданской войне, о людях, которые исчезли, об их борьбе, страданиях, ошибках, заблуждениях. Она появилась перед тем, как надолго захлопнулась дверь, допускающая к читателю правду о революции и гражданской войне.

Остался огромный архив, собранный в ЦГАОР, в Ростове, остались в клеенчатых тетрадях рассказы, записанные со слов еще живых очевидцев, остались дневники дяди Павла, которые он вел день за днем, начиная с 1914 года. Дневники эти — удивительное свидетельство времени, увиденного глазами мальчика, потом юноши, скитавшегося вместе с Валентином Андреевичем Трифоновым по фронтам гражданской войны.

Эти тетради таили в себе взрывчатую силу. Что бы ни писал Ю. В., чем бы ни занимался — он помнил о них, потому что «правда ведь когда-нибудь пригодится». Его писательская тяга к достижению человеческих возможностей и судьбы в пределах выпавшего героям времени и места не давала забыть об этих тетрадях. А тут еще старые «думенковцы» и «мironовцы», бьющиеся о непроницаемую

стену, бессильные восстановить честные имена героев гражданской, теребили, не давали покоя.

Глубочайшим убеждением Ю. В. было то, что подлинный талант должен уметь рассказать правду так, чтобы она могла быть услышана в любые времена. Из этого убеждения родился роман «Старик» — трагическое повествование о кровавых событиях на Дону, об уничтожении казачества. И дело не в том, что отец был донским казаком, хотя и в этом тоже было желание донырнуть до истины и поделиться ею с другими.

«Надо ли вспоминать?» — спрашивал Ю. В. в те времена, когда мало кому было дела до истины, потонувшей полвека назад, когда и вспоминать-то о ней было опасно.

Неловко, конечно, напоминать о бумеранге, но, судя по страницам самых передовых журналов, что-то не спешат вольноотпущенники воспользоваться дарованной свободой, чтобы рассказать правду до сего дняшнего.

Опережает и публицистика, опережает время; с «Юрьева дня» прошло уже пять лет. В Древнем Риме было два рода вольноотпущенников: *libertus* — это по отношению к своему господину и *libertinus* — по отношению к государству. Так вот, сдается мне, что пока еще многое в современной прозе написано *libertinus*ами, потому что господин (страна) не отпускает, да и не может отпустить — он вошел в состав крови. Пять лет, видимо, маловато, неужели понадобится сорок! И с какого времени отсчитывать эти сорок: с пятьдесят третьего или с восемьдесят пятого?

Юрий Валентинович был глубоко убежден: задача писателя — «писать до предела возможного».

Во все времена перед художником, который обращается к истории отечества, вставали больные вопросы. И чем ближе к дням его были кровавые ее узлы, тем больше было их распутывать. Проще было избегнуть, не прикасаться. «Как перебинтовать эту боль?» — спрашивал Юрий Трифонов. Но именно он нашел в себе мужество прикоснуться к самым болевым точкам нашей истории.

Что было за этим? Для чего это писалось? В письме к немецкому писателю Мартину Вальзеру, отвечая на его вопрос: «Неужели литература что-то может?» — Ю. В. писал:

«О да, полагаю я, но не совсем литература, не вся литература, а вот сидящее в ней, в словах, в кудрях, в красоте — ядро правды».

Только правда способна восстановить распавшуюся связь времен.

Операция на себе, извлечение злокачественной опухоли, название которой — «синдром страха». Страха взглянуть на жизнь открытыми глазами, увидеть правду и написать о ней. Написать о том, что разрушено лихими временами. Разрушение

ны химеры; реальные связи неподвластны времени. Это доказывает русская литература.

Было время, когда гегелевская логика потеряла смысл, потому что нравственные идеи не реализовывались. В это время возник Достоевский. Он поставил новые вопросы. Не случайно и в «Доме на набережной», и в «Долгом прощании», и в «Старике» герои обращаются к этому имени.

Не случайно «глупый» Запад во времена застоя переводил и издавал Трифонова, Айтматова, Шукшина, Распутина, Искандера, Ахмадулину, Окуджаву... Список можно продолжить. И не случайно наша критика писала, что не случайно этих писателей берут на вооружение западная пропаганда. Теперь с другой стороны кидают, что опять же не случайно их переводили и издавали на Западе. Круг замкнулся. А разомкнуть его невозможно. Издавали потому, что в книгах была правда. Может быть, не вся. Да и кто ее знает — всю правду? Но то, что было написано честными писателями и издано на Родине в короткие, исполненные отчего возникавшие «Юрьевы дни», было правдой.

Роман «Старик» — это рассказ о распаде связи времен. Можно ли перешагнуть через бездну, заполненную трупами, если эта бездна навсегда отрезала нашей стране путь к всеобщему человеческому счастью? Один из героев романа, комиссар Данилов, кричит в жару болезни: «Уже поздно!»

Как поздно, ведь только 1918 год, все еще только начинается, казачество должно быть уничтожено (и оно было уничтожено), а он кричит: «Уже поздно!» Бред.

Нет, это у вас бред. А я все понимаю хорошо. Почему же не видите, несчастные дураки, того, что будет завтра?

«Старик» — роман исторический не только потому, что в подводной части его — документ, но и потому, что речь в нем идет о судьбе поколения, рассказана история человека, родившегося в начале столетия. Бур уходит в пласт времени на глубину полуувека, извлекая из разных уровней образцы человеческой породы.

В архиве Ю. В. есть выписка из письма Достоевского Майкову. Позволю себе ее привести.

«Совершенно другое понятие я имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! Между тем, это исконный русский реализм!»

Далее Ю. В. записывает: «Письмо написано в 1868 году, после несчастной Крымской войны, смерти царя Николая, освобождения крестьян, реформы и уже после покушения Каракозова на царя-освободителя».

И еще. В этой же тетради и выписки из статьи П. Н. Ткачева «Больные люди» (журнал «Дело», 1873 год): «Крепостное право завещало им (детям) лень, непривычку к деятельности жизни, пассивность и власть. И с такими свойствами им пришлось попасть в обстановку пролетария!»

Может, отзвуком названия этой статьи звучит молчаливый крик Павла Евграфовича в «Старике»: «Они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием».

Эхом, отозвавшимся в другом веке, представляется мне и комментарий Ю. В. к цитате из Н. Бердяева: «Н. Ставрогин — родоначальник многочленного... и русское декадентство родилось в Ставрогине».

Ю. В.: — И много другого!

Генералы гражданской войны.

Из выступления на конгрессе в Палермо в сентябре 1978 года:

«Так вот: пересказать толково. Что значит — толково? Попросту, как было дело, без вранья...

История человечества, в общем-то, написана. Если собрать все книги, во всем мире, описывающие события в разных странах, — можно составить такую историю. Но только очень немного событий, всего несколько страниц, — из этой миллионостраничной эпопеи — человечество познало душой. Была какая-то мелкая война несколько тысячелетий назад, у берегов Эгейского моря из-за городка Трои. Кто бы о ней знал, не будь Гомера.

Или вот лет сто назад было такое событие в Москве: пятеро молодых людей затащили в пещеру студента, убили его, а труп бросили в пруд. Был суд. Главный заслуженный бежал, а этих четырех сослали на катаргу. И еще осудили несколько человек, с ним связанных. Никто бы этого дела не запомнил, — знали бы одни историки, — если бы не роман Достоевского — «Бесы».

А в 19-м году на юге России вспыхнуло так называемое

Морозовское восстание, по имени казачьей станицы Морозовской. Мало ли было тогда восстаний? Да и за всю русскую историю! Но написан «Тихий Дон» — и человечество познало душой казаков, всю их трагедию и борьбу. Мне кажется, о такого рода позиции и может идти речь применительно к литературе». Из чего складывается то, что Ю. В. назвал «познание душой», у самого писателя? Не берусь отвечать на этот вопрос во всей полноте. Может быть, и из истории семьи.

«Моя семья пострадала сильно,— пишет Ю. В. Мартину Вальзеру.— Тридцать седьмой год практически ее уничтожил: отец был расстрелян, мать выслана в лагерь на восемь лет, один дядя тоже попал в лагерь, другой «спасся» тем, что умер от разрыва сердца в том же тридцать седьмом году».

Ю. В. с сестрой остались на попечении у бабушки — Т. А. Словатинской. Воспоминания Татьяны Александровны были опубликованы в альманахе «Прометей», IV том, год 1967-й.

Воспоминаниям о Сталине Т. А. Словатинская посвящает две страницы, а ведь именно ей он писал из ссылки, прося денег и теплого белья. Называл «милой», и еще — «не знаю, как благодарить Вас, милая, милая», — и какие-то подробности насчет белья: он бы и старым обошелся, а она вот со старым прислала и новое, потратилась.

Ю. В. пишет:

«Я перечитываю эти строки (это о тех, где речь о Сталине) со смешанным чувством изумления и горечи. Т. А. Словатинская писала воспоминания незадолго до смерти, в 1957 году. О Сталине уже было много сказано на ХХ съезде. И Словатинская могла беспрепятственно окинуть взором всю свою жизнь и жизнь своей семьи, разрушенной Сталиным... Что же это: непонимание истории, слепая вера или полуавтоматическая привычка к конспирации, заставляющая конспиривать самую страшную боль?»

Я думаю, что в своих книгах Ю. В. ответил на этот вопрос. Все было перепутано, перевязано: и непонимание истории, и слепая вера, и привычка к конспирации. Одна старушка говорит о бабушке героя: «Это не человек, это какой-то железный шкаф», и в пылких семейных спорах о том, что происходит в стране, а на дворе год тридцать седьмой, самая несгибаемая, самая твердая партийная позиция у той же бабушки: «Да, мы, может быть, и ошибались, но ошибались вместе с партией».

Я ненавижу это слово, от него во рту какой-то металлический вкус, я его помню, потому что я тоже была членом семьи репрессированного, дочерью, и моя мать продолжала петь за домашними хлопотами. У нее был чудный голос, а мне это пение казалось безумием. Я была недалека от истины, потому что — когда однажды решилась и сказала матери: «Зачем ты поешь, ведь у нас отца забрали? — она ответила легко: «А чтоб не сойти с ума».

Ее выгнали с работы, и каждую ночь она ждала звонка в дверь.

Может, оставшись с двумя внуками, выгнанная из дома, Татьяна Александровна тоже боялась сойти с ума? В детском дневнике Юра Трифонов пишет, что бабушка очень изменилась, стала нервной, злой, все время придирается. Один раз несправедливо дала пощечину. У Ю. В. было «словечко». Иногда он говорил о ком-то — «треснул», и это означало, что человек поддался обстоятельствам жизни, не справляется с ними.

Валентин Андреевич, как свидетельствует человек, видевший его в камере Лубянки, не треснул до последней черты. Ее подвела весенняя комиссия Верховного суда СССР 15 марта 1938 года. Суд длился 15 минут, приговор — расстрел. Но с 1923 по 1926 год Валентин Андреевич и сам был председателем Военной коллегии Верховного суда СССР.

Узел стянулся туго.

Вот разговор двух братьев из романа «Исчезновение»:

«Михаил сидел на краю дивана, ссутулясь, опять посерев лицом, слушал с жадным вниманием. После молчания сказал:

— Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем...

Николай Григорьевич не ответил. Походил по ковру в мягких туфлях, качнулся, счистил с брючны полоску пыли, неведомо откуда взявшуюся — может, от детского велосипеда, который стаскивал сегодня с антресолей? — и, разгибаясь, чувствуя шум в ушах, сказал:

— А вполне возможно.— И сказалось как-то спокойно, рассеянно даже.— Вполне, мой милый. Но дело-то вот в чем... Война грядет. И очень скоро. Так что внутренняя

наша пра кончится поневоле, все наденем шинели и пойдем бить фашистов...

Заговорили об этом. Михаил предположил — мысль не новая, уже слышанная: а не провокация ли со стороны немчуры? Вся эта кампания, разгром кадров? Николай Григорьевич считал, что немецкая кишка тонка для такой провокации. Это, пожалуй, наше добротное, отечественное производство. Причем с древними традициями, еще со времен Ивана Васильевича, когда вырубались бояре, чтобы укрепить единоличную власть. Вопрос только — на что обратится эта власть? К какой цели будет направлена?

Михаил махал рукой:

— А тебе все цель нужна? Без цели никуда? С целью чай пьешь, в сортир ходишь?

Николай Григорьевич, сердясь — ибо разговор приближался к болезненному пункту, — объяснил, что во всяком движении привык видеть логику, начало и конец.

— Ну конечно, ты наблюдаешь! — издевался брат. — Видишь логику. А движение тащит тебя, как кутенка, ты даже не бахтаешься.

— А в чем заключается твое бахтанье? В том, что переселился на дачу и возделываешь огородик?

— Хотя бы, черти вас подрали! В том, что не участвую, не служу, не езжу в черном «роллс-ройсе», ядри вашу в корень, наблюдателей...

В том же письме к Мартину Вальзеру Ю. В. пишет: «Зачем нужно было Сталину уничтожать людей, бесконечно преданных революции? Историки и философы приводят разные социальные и исторические причины. Изобрели термин: культ личности. Когда-нибудь разберутся досконально. А впрочем — разберутся ли? До сих пор спорят о том, что заставило Ивана Грозного ввести опричнину...»

Сам он тоже искал ответ. Одна из тетрадок хранит подобную запись истории борьбы Сталина с оппозицией:

«Сталин, тем временем, выполнил все требования оппозиции — быструю индустриализацию, удар по кулаку, коллективизацию... Оппозиционеры стали думать: за что же их преследуют? Не следует ли присоединиться к партии, т. к. Сталин выполняет их программу... Идиоты не понимали, что их преследовали **не за идеи** (!).

Не понимали, что Ст. — не идейный борец, никакой не теоретик, а элементарный властолюбец, действующий как главарь банды!»

Небольшое отступление. Вот запись в другой тетради: «Один из методов Охранного отделения. Выдвижение секретных сотрудников на высшие посты в революционной организации — **«путем последовательного ареста» более сильных окружающих работников**».

И снова записи — исследование борьбы внутри партии.

«Динамические силы русской революции не были исчерпанны Гражданской войной. Индустриализация и коллективизация заменили распространение революции, и ликвидация кулака была эрзацем низвержения буржуазии за границей.

Главное противоречие Сталина и Троцкого — в вопросе о мировой революции. Троцкий считал невозможным построение социализма в одной стране. Призывы строить политику с классовых, марксистских позиций — в то время как Ст. это уже отринул.

После искоренения фракций Ст. стал искоренять отражения этих фракций в своей собственной фракции. Привозглазив «монолитность партии», Ст. теперь настаивал на монолитности собственной фракции, иначе она не может оставаться сталинской. Сталинизм перестал быть выражением мнения или настроений какой-либо политической группы и стал сталинским персональным делом его воли и поведения.

Поднявшись над партией, он уже **всю** партию стал рассматривать как потенциально единую коалицию **против** него (!).

Но ведь за словами «оппозиция», «фракция» стояли живые люди. Какими они были?

Как хочется представить их мучениками, героями, и как легко — злодеями.

Доверять можно только стареньким бумажкам, бледному шрифту ундервудов. Поэтому мы, разделяя его взорения, представляем на суд читателя дневник его дяди — Павла Лурье, в подлинном виде, полагая, что читатель более ощутит дух того времени и личность автора.

# ДНЕВНИК

## Павла Абрамовича Лурье

с 25 августа 1917 г.  
до 31 мая 1918 г.

Мне было 25/VIII 1917 г. ровно 14 лет, 7 месяцев и 13 дней.  
Петроград

П. Л.

Август 1917 года

25 августа (7 сентября нов. стиля), пятница, 1917 г.

9.30. Пошел в Район. Ком-т за газ. Вышла новая газета «Рабочий» вместо закрытого «Пролетария». Ходил в кооператив за часм, зашел в Почтamt, куп. дядя открыто, подписался на «Рабочую Газету». Посхал к Гиллеру за книгами, его не застал, поех. домой.

Вечером пошел с мамой и Ж. в Р. К-т, там видали т. Слуцкую. Она скоро уезжает, я там буду работать, заменил ее (секретарь В.О. Р.К.). Оттуда пошли на лекцию т. Урицкого «Уроки июльских дней» в Воен. Подков. Завод Покселя. (17 л. д. 52). Было человек 500—600. После лекции был сбор на политических заключенных. Пр. домой 10.30. Л. 11.35.

Сентябрь 1917 года

5 (18) сентября, вторник

9.20. В 10 ч. пр. в Р. К. Чит. газ. Освобожден т. Троцкий. Врем. Прав. отменило приказ об аресте ген. Каледина. Казань и др. города объявлены на военном положении ввиду угрозы Каледина. Вышел № 9 «Вперед». Разбирали провинциальные газеты. От 4.10 — 5.15 обед., в 6.30 пошел на лекцию т. А. Луначарского «Карл Маркс — великий социалист» в клубе фабр. Печаткина. Лекция началась в 9.10. Было тысячи 2 народу. Сперва Луначарский рассказал о положении дел в Городской Думе, где эсеры вошли в блок с к.-д., и предложил вынести резолюцию протеста. Ее приняли единогласно. Потом началась сама лекция. Луначарский начал с биографии Маркса, потом говорил о его сочинениях «Ницшета Философии», «Коммунист. Манифест», «Капитал» и кончил о текущем моменте. Там продавали разную литературу, портреты Маркса и др. Кончилась лекция 11.45. Пр. домой 12.15. Л. 1 ч.

Октябрь 1917 года

17 (30) X, вторник

8.15. Уч. 4 ур.: рус., нем., фр., минер. Долго стучал у двери. Пр. 2.5. П. дн., уч. ур. ч. г. Слухи о революции в Австрии. В 5.30 пошел в Р. К. Послал папе газ. Потом пошел на зав. Покселя, там собрание всех членов партии В.О. района. Доклад т. Троцкого: 1) «Организация власти и ее задачи» и 2) «Организация партийной работы». Троцкий сказал, что к нему как к пред. Петр. Совета приезжают делегаты с фронта с требованием перехода власти к Советам и заключения мира, грозят, что 1-го ноября армия уйдет из окопов. Положение страны угрожающее. Гражданская война неминуема. Надо быть готовыми ко всему. 20-го собирается Съезд Советов. Он должен взять в свои руки власть, «пустить красного петуха» в Германию, Францию, Австрию и др. и заключить мир. В противном случае Правительство сдаст Петроград немцам и задушит революцию.

После доклада собрание утвердило список членов Р. К. Потом избрали в П. К. от Острова б.чел.: Вера (Слуцкая), Залкинд, Серебров, Ионов, Матвеев, Бруно; и кандидатов: Вевера, Зубкова, Берту (Ратнер) и Андреева. Потом выбрали ревизионную комиссию. На собрании я встретил гимназиста Ларинской гимназии Гаращенко, друга Миши Маштакова. Миша мне рассказывал летом про Гаращенко, что он во время революции собственоручно убил несколько «фараонов». Собрание закончилось в 10 ч. Л. 11.15.

Печатается с сокращениями.

### 19 октября (1 ноября), четверг

8.20. Уч. ур.: триг., нем., минер., физ. 2.15. Д. ур., п. дн., чит. газ. Много толков о завтрашнем выступлении большевиков и о грядущей «резне». Ленин в «Р. П.» в письме резко порицает Каменева и Зиновьева за их рукописный листок против вооруженного восстания, который они на днях распространяли. Мельничанский уехал в Москву. Мама и В. А. уех. в Смольный на собрание партийных работников (вчера тоже было собрание). Вчера вышел № 1 газ. «Рабочий и Солдат» орган Петроградского С. Р. и С. Деп. В 8 ч. пр. Г., пошли к О. Тиблен (14 л. 5.), были у неё до 10.10. Пр. 10.30. Л. 11.10.

### 24 октября (6 ноября) 1917 года, вторник

8.20. П. в Уч., 5 ур.: рус., нем., минер., фр., рисов. 2.15. Уч. ист. Электр. не горит, вода не идет. Пошел в Р. К. «Рабочий Путь» сегодня ночью был опечатан. Пр. домой в 5 ч. Мама звонила, что обедать не придет. В. А. пришел, пообед. и уехал в Смольный. Б. Е. сказал, что разводят мосты. В 3.35 зажглось электр. Теперь будет гореть от 6-ти веч. до 12-ти. В 6-30 пр. мама. Она выдала на Дворцовой пл. много войск (юнкеров и казаков): охраняют Зимний дворец. Врем. Прав. распорядилось развести мосты на Неве, чтобы рабочие не перешли в город. Маме пришлось ехать через Биржевой мост. В нашем доме собрание жильцов, решили дежурить всю ночь. В 9 ч. ко мне зашел Г., пошли к О., были у неё до 11 ч., писали письма Андрею Маркову, Вере Талеевой и Нине Березкиной. На улице тихо, никого нет. Дома уч. минер. Погасло в 12 ч.

Пр. В. А., он был в Смольном. Там заседание Совета. Смольный охраняют 800 солдат и 30 пулеметов. Правительственные войска (юнкера и ударники) развели Николаевский и Дворцовый мосты. Литейный мост в руках красногвардейцев. По Вас. Острову ходят патрули красной гвардии. После того как были закрыты «Рабочий Путь» и «Солдат», в типогр. явился Литовский полк, распечатал типографию и раздал газетчикам газ. Постепенно все правительственные учреждения занимаются войсками Совета, напр., телеграф, банки. В 1 ч. ночи В. А. поехал в Петропавловскую крепость за оружием для Вас. Остр. района. Я лег в 1 ч. В. А. пр. в 6 ч. утра и в 8 ч. опять уехал.

### 25 октября (7 ноября), среда, 1917

8.20. В Училище не пошел, сегодня будет там акт, и уроков не будет. Пошел в Р. К. Меня послали в «Прибой» (Николаевская, 12) за литературой. Трамваи идут. Николаевский мост охраняют матросы-кронштадтцы. На Неве стоят миноносцы. Дворцовый мост утром был разведен, а когда я ехал назад, его уже свели. У штаба охрана из юнкеров. Привез брошюры и Некрасова. В. П. Ногин зашел попрощаться, он уезжает в Москву. В 6 ч. пр. В. А. Власть перешла в руки Совета. Многие министры арестованы, Керенский бежал. Б. Е. видел, как на Невском пр. разоружали юнкеров, охранявших Вр. Прав. Они не оказывали никакого сопротивления. В. А. уехал в Смольный. Разбрал брошюры. В 9 ч. зашел Г. В 9.40 мы услыхали пушечные выстрелы. С перерывом стрельба продолжалась до 12-ти час. В 12.30 (электрич. не потухло) пришли мама и В. А. из Смольного. Они сказали, что обстреливается Зимний дворец. Л. 1.15.

### 26 октября (8 ноября), четверг, 1917

9.40. Пошел с В. А. в Район. В комендатуре много оружия, его раздают на заводы красногвардейцам. Вчера Совет предложил Правительству сдаться. Врем. Прав. отказалось. Крейсер «Аврора» и Петропавловская крепость открыли пушечную стрельбу (холостыми зарядами) по Зимнему дворцу. Его окружили войска Совета и броневики. Началась перестрелка (ружейная и пулеметная), со стороны Совета было убито 6 матросов и несколько ранено. Со стороны Правительства никто не был убит. В 2.30 ночи Правительство сдалось. Почти все министры арестованы. Вызванные Керенским самокатчики (3-й батальон) перешли на сторону Совета. 1-й, 4-й и 14-й Донские казачьи полки отказались идти против Совета. Вчера открылся Съезд Советов раб. и Сол. Деп. Подавляющее большинство с.-д., большевики. Меньшевики и соц.-рев. ушли. На Съезде выступали Ленин, Зиновьев и др. Фракции эс-эрзов и ка-дотов Гор. Думы решили погибнуть вместе с Правительством и пошли ночью к Зимнему дворцу, но их туда не пустили. Солдаты Кексгольмского полка разогнали Совет Республики (Предпарламент).

В комендатуру В.-О. привели трех женщин из батальона

смерти, их арестовали на улице. Команданты их отпустили, после того, как они доказали, что они не из того отряда, который охранял Зимний дворец, а приехали с фронта. В. А. достал мне и маме пропуски в Смольный. В 1 ч. дня я и мама поехали туда. Смольный институт охраняется пулеметами и броневиками. Там я был до 3.30. Началось заседание Съезда Советов. У меня не было билета, я поехал домой. Обедал с Женей. Пошел в Р. К.

В Районный Совет привезли 4 грузовика (70 ящиков по 20 шт.) винтовок. Я помогал втаскивать их в сарай. Ящики очень тяжелые. Потом пошел к Г., его дома не застал. Чит. Герцена. В наш дом явился комиссар В.-О. района т. Андреев с отрядом солдат для обыска, нет ли оружия. Зашли и в нашу квартиру. Я сказал, что здесь живет тоже комиссар В.-О. района В. А. Трифонов. Андреев извинился и ушел. Пришел Г., позвонили в Училище, нам сказали, что занятий не будет до понед. 30 окт. В 9.40 Г. ушел. В 11-ом часу пр. мама. Чит. новую брошюру Ленина «Удержат ли большевики государственную власть». В 12.15 потухло. Л. 12.30. В. А. пр. поздно.

### 27 окт. (9 ноября), пятница, 1917 эл. н. г.

9.15. Съезд Советов Р. и С. Д. взял власть в свои руки и назначил Правительство (Совет Народных Комиссаров). Председатель Ленин, комиссар внутренних дел Рыков, иностр. дел Троцкий, труда Шляпников, земледелия Милютин, финансов Скворцов (Степанов), юстиции Опинков, торговли и пром. Ногин, народн. просв. Луначарский, путей сообщ. Рязанов, продовольств. Теодорович, почты и телегр. Гребов (Авилов), национальностей Сталин, военные комиссары Крыленко, Антонов и Дыбенко (председатель Центробалта). Мама уехала в Смольный. В 11 ч. я и Женя поехали туда же. В Смольный переехал наш Ц.К., комн. 22. Меня послали в старое помещ. Ц.К. отвезти бумаги. Потом я пошел в Комендатуру Рабочей Гвардии (Смольный., комн. 7). Там Е. А. дал мне работу. Сегодня вышла газ. «Правда» вместо «Рабочего Пути». Печатается она в типографии «Русской воли». «Солдатская Правда» («Солдат») печат. в типогр. «Дня». Большинство буржуазных газет закрыто. В 3 ч. поехал с Ж. домой, пр. 4.15. Чит. газ., Герцена. Съезд Советов издал декрет о мире. Пришел Г., пошли к О., были у неё до 8 ч. Зашел в Р. К. Пр. 9 ч. Чит. Веч. пр. мама и В. А. Чит. газ. Л. 11.30.

### 28 окт. (10 ноября), суббота

10.15. Чит. газ. Образовался Комитет Спасения Революции (из старого Ц.И.К., предпарламента, И.К.Сов.Кр.Деп., м-ков, с.-р-ов и т. п.). Керенский с войсками идет на Петроград. Ему на встречу посланы Воен. Рев. К-том войска. Съезд Советов закончился.

Пошел в Р. К. Там уже отправляются за Нарвскую заставу отряды окопных рабочих и красногвардейцев. Туда же поехали грузовики с работницами-санитарами и гвардейцами. Послал папе открытку.

Пр. домой, чит. газ. Мама и В. А. в Смольном. Был Г. Чит. весь день Герцена «Кто виноват?» и сборн. «Земля». Веч. пр. мама и В. А., в 11 ч. В. А. уехал. В. А. мне подарил револьвер «Наган». Ванна. Л. 1 ч.

### 29.X. (11.XI.), воскресенье

10.20. Пошел в Р. К. за газ. Слышна сильная пушечная и пулеметная стрельба. Это осаждают Павловское и Михайловское артиллер. училища на Петроградской стор., где засели юнкера. Войска Керенского (5 тыс. казаков) заняли Гатчину и Царское Село. Там идет бой. Из Района отправляют санитарные автомобили.

Чит. Герцена и стар. журн. Чит. газ. Был Г. Веч. пр. мама, В. А. и Е. А. Юнкерские училища «ликвидированы». В Петергофском и Московском районе собрано тысяч 20 красногвардейцев. Путиловский зав. спешно собрал 60 пушек, они отправлены на фронт под Гатчину. В Москве, Могилеве, Витебске, Самаре, Уфе власть перешла к Советам Рабоч. Деп. Л. 12 ч.

### 30.X (12.XI.), понед.

8.20. Пошел в Училище. Занятий не будет до среды. Написал папе открытку. Чит. Моп. Чит. газ. («Н.Ж.»). Ц.К. жел. дор. союза предложил прекратить вооруженную борьбу партий и организовать однородное социалистическое министерство, в противном случае жел. дороги забастуют. Ц.К. б-ков и новый Ц.И.К. Советов на это согласны. Вчера юнкера захватили телефонную станцию и перебили караулы.

Только к вечеру после упорного боя войскам Всн. Рев. Комитета удалось вернуть станцию. Очень много убитых и раненых с обеих сторон. Вчера и сегодня телефоны не работали. В Крыму власть перешла к Советам. Узловые станции Орша, Молодечно, Минск, Бологое в руках Совета.

Наш домовой комитет установил непрерывное дежурство у парадной и в воротах. Я дежурил за В. А. от 6 до 9 ч. Потом пошел к Г., пошли вместе к О., были у нее до 10.30. В Екатеринославе и в Харькове власть в руках Советов. К Москве подошел ген. Каледин с казаками. Идет бой. В 12.15. потухло. Л.12.30.

31 октября (13 ноября), вторник, 1917

10 ч. Узнал, что вчера была убита осколком снаряда с блиндированного поезда Керенского тов. Вера Слуцкая. Она ехала в Гатчину на автомобиле агитировать. С нею поехали Ионов, Залкинд, Чудновский. Они остались живы. Пошел в Район. Совет, работал там в автомобильной комиссии, выдавал пропуски машинам. Туда привезли гроб т. В. Слуцкой. У села Александровского, у Красного Села, у Пулкова идет бой. Теперь благодаря артиллерии наши наступают. В 12 ч. ночи на 31 окт. войска В.Рев. Комитета заняли Царское Село. Керенский отступил к Гатчине и Александровской. Соглашение социалист. партий по вопросу о правительстве еще не достигнуто. Каледин занял Донецкий бассейн. Работал в Районе до 5 ч. Дома чит. М., Чехова. Мама и Ж. были в Ц.К. Чит. газ. Б. Е. Шаласев уехал от нас. Потухло, л. 12.15.

Ноябрь 1917 года

2(15) ноября, четверг

9.10. Пошли все в Район. Сегодня похороны В. Слуцкой. Ее будут хоронить на Преображенском еврейском кладбище. В 10 ч. был вынос гроба. Впереди понесли гроб, потом венки. За ними шел оркестр матросов, потом хор работниц, члены Районного Совета, члены партии. Сзади замыкал процессию сборный отряд красногвардейцев со всех заводов Вас. Ост., человек 70. Всего было человек 400—500, а может, и больше. Мы пошли по Малому пр., по 4-й лин. через Николаевский мост к Невскому. На Неве рядом с «Авророй» стоит крейсер «Олег», пришедший из Кронштадта, и еще несколько миноносцев и крейсер «Республика».

Мы проводили гроб по Невскому до Гор. Думы, поехали домой. Пр. 1.30. Чит. газ. Войска Керенского разбиты (весь штаб с генералом Красновым арестован), сам он бежал, переодевшись. С фронта уже возвращаются отряды красногвардейцев. Чит. Чехова. Веч. проявлял с Ж. фотографич. плёнку, которую мы снимали еще на Сиверской. Вышло хорошо. В 9 ч. пр. Г., пошли к О. Она послезавтра уезжает в Камышин. Пр. 11 ч. Л.12 ч. В 1 ч. ночи пр. В. А. Куп. мне и себе сапоги.

4 (17) XI, суббота

8.30. Пошел в Училище. Занятия опять отложены до понед. 6/XI. Чит. Герцен «Письма из Франции и Италии». Ч. г. В Москве власть перешла к Советам, юнкера и «белая гвардия» согласились разоружиться. К Гатчине подошел эшелон казаков с фронта. Началась перестрелка, но потом казаки перешли на сторону Совета. Был Е. А. Чит. Герцен. Ванна, л. 10 ч., чит. до 12 ч.

Ц.И.К. Сов. принял резолюцию, чтобы в однородном социалист. министерстве была половина большевиков. Ленин и Троцкий требуют, чтобы б-ков было большинство. Тогда Ногин, Милютин, Рыков, Рязанов, Теодорович, Шляпников и Дербышев (комиссар печати) вышли из Совета Комиссаров, а Каменев, Зиновьев, Милютин, Ногин и Рыков и из Ц.К. партии. В Финляндии всесообщ. стачка.

Декабрь 1917 года

17 (30) XII, воскресенье

10 ч. В 11.30 пошли я, мама и В. А. на Марсовое поле (демонстрация в пользу мира). На 1-й л. встретили Петроградский район, голова его была уже на Дворцовом мосту. Вас. Остр. район уже прошел. Мы обогнали процессию и пошли по наб. к Троицкому мосту. В это время с моста скользил конец В.О. района, который уже прошел через Марсовое поле. Мы прошли к могилам и стали там. Подходил Нарвский район. Прошли зав. «Треугольник», Путиловский и многое др., 14-й Донской казачий полк. Солдаты и красная гвардия шли в полном вооружении. Потом прошел Петро-

градский район. Перед ним шло несколько тыс. солдат и кр. гв. Гарнизон Петропавловской крепости провез пулеметы и 3 пушки. Потом шли заводы, трамв. парк, военнопленные австрийцы и пр. Перед Выборгским районом шел П.К., заводы Лесснера, Розенкранц, Металлический и многое другое. Прошел Невский район с Обуховским и др. заводами. Последним шел Московский район, он прошел в 3 часа. Было много красивых знамен. Кроме старых знамен 1-го мая и 18 июня было много новых: «Учредительное Собрание должно признать власть Советов!», «Долой империализм, да здравствует 3-й Интернационал!», «Народы Европы, требуйте немедленного демократического мира!», «Мир всему миру!», «Саботажникам революции — проклятие народа!», «Да здравствует Совет Народных Комиссаров!», «Беспрощадная борьба с Каледином и Корниловым!», «Война до полной победы над капиталом!», «Мир хижинам — война дворцам!», «Земля и Воля!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Долой изменников из Украинской Рады!», «Кадетам нет места в Укр. Собр.!» и многое других.

Пришли домой в 4.30. Чит. «Анну Каренину» до 7-ми час. Спал до 11-ти. Пр. Е. А. Чит. «Ан. Кар.» до конца 1-й части. Л. 2 ч. ночи.

18 (31) декабря 1917 года, понед.

12 ч. В училище не пошел — объявлена забастовка учителей. Перечитывал весь день до 9-ти Дж. Лондона «Мартин Иден». Зашел М. И. Калинин, сказал, что поездка в Тверскую губ. не удастся.

Январь 1918 года

1 (14) января 1918 г., понедельник

12 ч. п. дн. Сегодня отправляется на фронт 1-й эшелон социалистической армии. Было покушение на Ленина. Ч. г. Под Луганском удачное сражение 28-го дек. между красной гвардией и казаками. 29-го бой у ст. Дебальцево. В Иркутске бой. Атаман Дутов идет на Челябинск. Из Уфы Военно-революц. Комитет послал туда войска.

Читал весь день Глеба Успенского «Очерки и рассказы», т. V. Л. 11.40.

3 (16) I, среда, гор.(электр.) 5—12 ч.

10.30. читал Гл. Успенского, т. IV «Очерки переходного времени», в 6 ч. пошел в С.Р.М., собрание И. К. Вечеринка 31-го дек. принесла около 200 р. убытку. Предлагали устроить вторую вечеринку 6-го янв. — только танцы; я, Петров и Лейферкус были против, говорили, что опять будет убыток. Большинством 4 против 3 решили устроить вечер, но отложить на 12-е или 13-е янв. Членское собрание назначить на 11-е янв. Пришел домой в 9 ч. 30 м. Чит. газ. Сов. Нар. Ком. предъявил Румынии ультиматум в 24 часа освободить арестованных 49-й рус. дивизии и арестовал Румынского посла, но потом его отпустили.

Приехал Мельничанский из Москвы на Съезд Проф. Союзов. Он рассказывал, как его во время Московских событий (октябрь — ноябрь) арестовали юнкера и чуть не расстреляли. Арон и Эсфирь живы и здоровы. Арон Сольц теперь редактор «Соц. Дем.» и «Известий Московского Совета». Л. 12.10; В. А. пр. 1 ч. н. Воды нет, трамв. не идут.

10 (23) I, среда, гор. с 5.30 до 11 ч.

8.15. П. в Уч.: физиол., физ., ист., алг., рус. 2.15. Был Валек А. Пр. В. А., он достал пропуски на Съезд Советов. В 6 ч. я, мама и Женя поехали в Таврический дворец. Приехали туда в 7.15. Мы пошли на хоры. Там было полно народа. В 7.50 Свердлов открыл III-й Всероссийский Съезд Советов Рабоч. и Солд. Депутатов. Оркестры заиграли «Интернационал» и «Марсельезу». Потом все спели «Интернационал». Свердлов произнес небольшую речь. Потом Съезд приветствовал от имени Швейцарской с.-д. партии тов. Платтен. Он говорил по-немецки, его речь перевели. После него от имени Британской Социалистич. Партии и Независимой Рабочей Партии говорили тов. Чичерин и Петров, недавно освобожденные из английских тюрем. Потом от имени Румынской с.-д. партии говорил тов. д-р Раковский. От имени норвежской с.-д. партии Ниссен. Он говорил по-французски, его речь перевел Луначарский. Потом от имени Американской Соц. партии говорили тов. Рейнштейн (по-русски), Вильямс и Рид по-английски. Их речи переводил Володарский.

Потом большую речь произнес представитель Ц.И.К. Советов Украины Затонский. Он сказал, что большая часть Украины присоединилась к Укр. Советскому Правительству

и Рада скоро будет побеждена. Советские войска уже взяли Екатеринослав, Сарны и прервали сообщение между Киевом и Одессой. Украинские войска уже переходят на сторону Советов. Потом говорил матрос Железяков от караула Таврического дворца, Петроградский Гор. Голова М. И. Калинин, Лещинский от Польши и Литвы и др. Потом выступил Троцкий, он произнес большую речь. После его речи Съезд выбрал почетный президиум: Ленина, Троцкого, М. Спиридовону, К. Либкнехта, Ф. Адлера и Маклина. Заседание закрылось в 11 ч. 30 м. Встретил Ш. Письмена. Трам. еще шли, мы приехали домой в 1 ч. Л. 1.30.

20 янв. (2 февр. н. ст.), суббота, подмерзло, г. с 6—12. 8.25. Пр. в Уч.: рус., фр., триг., ист., алг. 4.2.20. Писал весь день подробный отчет о вчерашнем собрании для И. К. Нов. прислуга. Чит. газ. В Крыму татарами объявлена республика и война Совету Нар. Ком. Оренбург взят революционными войсками, атаман Дутов отступил. В Могилевской губ. 20 тыс. польских легионеров-монархистов подняли восстание против Советов. Л. 12 ч.

Февраль 1918 года

15 (2) февраля, пятница

Праздник. 10 ч. Чит. газ. Ген. Каледин застрелился в Новочеркасске. Часть Румынского флота подняла восстание и присоединилась к русскому флоту. Тирасполь занят Сов. войсками, в Румынии организуется красн. гвардия.

Хлебный паск уменьшился до 1/8 ф. в день. Начал чит. «Историю французской революции» Минье, гл. I. В 7 ч. поехал в П.К. С.С.Р.М., опять собрание Районных Ком. Было человек. 12 (5 районов). С Вас. Остр. я, Петров и Соболев. Решили: 1) чтобы через неделю во всех районах была закончена регистрация членов; 2) каждый член должен быть подписчиком газеты; 3) каждый член должен обязаться распространять определенн. колич. газет; 4) каждый район обязан раз в нед. оповещать П.К. о лекциях, собраниях и пр. и обращаться за агитаторами и лекторами. Пр. 10.45. Л. 11.45.

28 (15) февраля, четв.

8.30. Уч.: нем., алг. Потом я ушел из Уч., поехал в Марийский дворец, во Всероссийскую Коллегию по организации и управлению Рабоче-Крестьянской Красной Армии, работал там в отделе делопроизводства (см. и А.И.Л.) до 6 ч., пр. домой, об., в 8 ч. поехал в Инженерный замок (Садовая, 2). Когда подходил к замку, оттуда отправлялся 1-й отряд Союза Рабоч. Мол. на фронт. Встр. Шуваева, он, как и я, 3 дня не мог найти П.К., а в это время Нарвско-Петергофский район и Петрогр. сторона организовали отряд 120 чел. Они получили обмундиров. и винтовки, но не обучались. С отрядом отправляется весь П.К.— Кацович, Ратновский, Герр и др. и Леске. Мы пошли провожать отряд до Балтийского вокз. Отряд отправляется в Нарву вместе с отрядом матросов под командой Дыбенко и др. отрядами. Пр. домой 11.30. Л. 12 ч. На вокзале говорил речь тов. Лангеневич.

Март 1918 года

9 марта (24. II), субб., солн.

8.20. Укладыв. вещи. Пошел в Уч. в 12.30., получил удостоверение. Трамваи не ходят. Пошел (с Лыбым) в Марийск. дв., пр. домой в 4.30. Ч. г. На Съезде Р.С.Д.Р.П. большев. решено называться Российской Коммунистической Партией большевиков. Принята резолюция Ленина о необходимости заключить мир. Пр. Арон. Укладывали вещи. В 11 ч. приехал В. А. Сегодня едем в Москву. Получил мой наган. Грузовик, посланный из Марийнского дв., не приехал, т. к. застрял по дороге. В 11.30. приехал легковой мотор. В. А., мама и Женя и часть вещей уехали в 12.30 на Николаевский вокзал. Я и Арон остались. В 2 часа ночи В. А. вернулся с мотором, мы уложили вещи и поехали. По дороге нас неск. раз останавливали патрули красноармейцев, требовали пропуска. Приехали на вокзал в 3 ч. н. Поезд еще не составлен. Мы поместились в ваг. Ш-го кл. (без отопления). Всю ночь шла погрузка автомобилей и пр.

12 марта (27 февраля), вторник. Москва.

7 ч. Женя и Арон поехали в ред. «С.-Д.». Связывали вещи. В 10 ч. В. А., я, мама, Т. Г. Богословова и А. И. Лихачева поехали на моторе в гостиницу «Альпийская Роза» (на Софийке), где реквизированы комнаты для служащих

Всер. Кол. по орг. Кр. Ар.

Пришла Эсфирь. Ч. г. Большинство правительства, учреждений переезжает в Москву, сюда же пересаживаются некоторые газеты.

Сегодня годовщина Русской Революции. В 3.30 мы (я, мама, Эсфирь, Т. Г., А. И.) поехали на митинг в Алексеевское Военное училище. Туда же пришли Женя, Арон, Нита, Берта. Думали, что будет выступать Ленин, но его не дождались. Говорили Сокольников, Бухарин, Петров. Приехали в «Аль. Розу» в 9 ч. Нас перевели в комн. № 15, а в комн. № 12 — В. А. Женя ночует у Эсфири. Л. 11.20.

14 (1) марта 1918 г., четверг, солн.

8 ч. Приехал с Калединского фронта Евг. Андр. Чит. газ. Гуляя по Москве. Сегодня открывается 4-й Чрезвычайный Съезд Советов. Мы получили билеты и в 6.30 поехали на Съезд (зал Благородного собрания, Большой Дмитровка). На хорах масса народа, зал битком набит. Съезд открылся около 8-ми часов. Открыл заседание Свердлов. Он прочитал приветств. телеграммы. От имени Москов. Совета приветствовал Съезд Покровский. Президиум состоялся из представ. фракций по 1 на кажд. 50 чел. В порядке дня вопрос о ратификации мира. Чичерин сделал доклад об условиях мирного договора, подписанных в Бресте 3-го марта. Потом с докладом от Ц.И.К. выступил Ленин. Он произнес большую речь, где доказывал необходимость подписать мир, несмотря на его тяжелые условия. В 11 час. заседание закрылось. Л. 1 ч. н.

15 (2) марта, пятница

9.30. Чит. газ. Румынско-австро-германские войска взяли Одессу. Пр. Маруся. Чит. Бебеля (мемуары).

Подвойский и Крыленко отставлены. В 6.30. пошел на вечернее (3-е) заседание Съезда Сов. От левых с.-р. выступил Штейнберг, от большев. Зиновьев, от интернац. Плетнев. Потом заключит. слово предоставлено было докладчикам. Камков заявил, что если Съезд ратифицирует мир, то левые с.-ры уйдут из Совета Нар. Ком. Ленин настаивал на подписании мира и резко обрушился на политику левых с.-р. Затем все фракции огласили свои резолюции. Простым голосованием огромным большинством была принята резолюция коммунистич. партии большевиков о ратификации мира. Пρиступили к поименному голосованию. Мы ушли, пр. в 12 ч. Эсф. ночев. у нас. Я спал в комн. Евг. А., л. 1.30.

Апрель 1918 года

1 (19.III.) апреля, понед.

Работал. Пр. 5.30. Сегодня переезжаем на новую (реквизиров.) квартиру (Кузнецкий мост, д. 15, кв. 6). Укладыв. вещи, перевезли в 10 ч. веч. В квартире 5 комнат, роскошная мебель. Л. 1.45.

3 апреля (21 марта), среда

Работал. В 6 ч. 30 м. пошел в Гор. Район. Сегодня обучались прицелу со станка и общим правилам стрельбы. Пр. 8 ч. Перечитывал «Овода» Э. Войнич. Был Е. А., ночевал. Л. 12.30.

4 апреля (22 марта), четверг

Работал. Пр. 4.45. В 7 ч. пошел в Район. Обучались приемам стрельбы: стоя, лежа, с колена. Пр. 9 ч. Были Ак. Гр. Пальчик, Е. А., Ал-дра Ив., Тат. Гр., Арон и Эсфирь (ночев.). Л. 12.15.

12 апреля (30.III.), пятница

9.30. Сегодня с ночи в Москве идет разоружение анархистов и выселение их из захваченных особняков. Идет стрельба (даже из пушек), районы стрельбы оцеплены войсками, туда никого не пускают. Работал, чит. газ. Е. А. сегодня уехал на Дон, он назначен военным комиссаром Южной России. Ванна. Писал папе письмо. Были А. Г. Пальчик, Мельничанский с женой, Ар. и Эсф. (ночев.). Л. 12.15.

14(1) апреля, воскр.

9.30. Работал до 1 ч. Гуляя с Женей. Прошли через Китай-Город к Москве-реке. На Красной площади хоронили анархистов, убитых при разоружении анархистов. Встретил Паркмана. Пр. 4.30. Были Арон и Эсф. Арон переводит книгу Жореса «Новая армия». Печатал рукописи на машинке. Л. 12 ч. Может быть, мы поедем на Урал.

16(3) апреля, втор.

8.15. Пошел с Женей дежурить в Студию Худож. Театра. Опять не получили билета. Работ., ч. г. В Баку была татаро-армянская резня. 5000 жертв.

Были Маруся, Додя, Оля с Ирочкой. Писал днев., писал на машинке. Л. 12.15.

Май 1918 года

1 мая (18 апреля) 1918 года, среда

Царицын. В 11 ч. пошел в город, присоединился к большой манифестации, пришли на площадь. Было тысяч десять народа. На площади выступали ораторы: Митин, Ерман и другие. Наши агитаторы тоже выступали. Потом я пошел на Волгу. В 2 ч. вернулся в поезд. Мы поедем в 10 ч. веч. одни, т. к. поезд Никольского уже ушел. Агитатор Андреев, отставший на ст. Грязи, догнал наш поезд. Чит. И. Шмслева «Человек из ресторана». В 10.40 мы выехали из Царицына на ст. Тихорецкую по Владикавказской линии.

4 мая (21 апреля), суббота

Ночью оглоблей с встречного эшелона выбило глаз машинисту одного паровоза и разбило голову его помощнику и выбило стекло в нашем вагоне. В 4 часа утра приехали в Ростов. Оставили солдат в вагоне, сами пошли на станцию. Ждали там часа 2, В. А. куда-то уходил. Ростов спешно эвакуируется, вокзал забит эшелонами. Потом нам отвели купе в поезде командующего 1-й Революционной армии тов. Харченко. Мы (я, Ганелин и Алистратов) пошли гулять в город, потом вернулись на вокзал. Я спал часа 2. В 3 ч. пришел В. А. из штаба, я с ним пошел обедать. Когда мы выходили из вокзала, там произошла какая-то суматоха, выстрелы, но мы на это не обратили внимания. Мы пообедали в ресторане Филиппова. В это время в городе послышались выстрелы, началась паника. В. А. надо было в Палас-Отель, где помещается Совет. Мы пошли туда, но там уже никого нет, все уехали на вокзал. Пошли к вокзалу. Там сильная стрельба, на вокзал никак не пробраться. Кто говорит, что напали немцы, кто — что армия ген. Щербачева, кто — что местные белогвардейцы. Мы походили кругом вокзала. Говорят, что вокзал уже занят неприятелем. Началась артиллерийская стрельба. Мы пошли в Нахичевань (7 в. от вокз.) к Безсоновой. Там мы отдохнули, умылись, попили чай и вечером поехали на извозчике на вокзал. На вокзале никого нет, вдали сильная стрельба. На Садовой ул. у вокзала стоит брошенный автомобиль, вокруг него копошатся мародеры, снимают шины и пр., все, что возможно. Весь город точно вымер. Поехали обратно, вернулись в Нахичевань, легли спать. Вечером близко открылась сильная ружейная перестрелка.

5 мая (22 апр.), воскресенье. Пасха.

Нахичевань. Вс. в 7 ч. Ростов бомбардируется (после узнали, что стреляла артиллерия, подошедшая из Новочеркасска и Брянский брониров. поезд, стоявший в Батайске). В. А. отправился на вокзал на разведку, оставил мне 500 р., условились, что если он не вернется, я, прождав 2 недели, должен пробираться в Москву. Документы мы все (кроме двух) уничтожили, револьверы спрятали. Я пока читал Л. Андреева «Расск. о 7 пов.». Вернулся В. А., сказал, что вокзал занят частями 2-й армии, которые пробились с севера из Новочеркасска. Часа в 3 мы пошли на вокзал. После того, как все стоявшие на вокзале эшелоны в панике отступили, вокзал был занят кучкой офицеров армии Щербачева и только ночью был отбит советскими войсками. Наши были захвачен большой обоз, 70 пулеметов и 6 орудий. На вокзале мы встретили комиссара по эвакуации гор. Новочеркасска, который прибыл с войсками. Он распоряжался на вокзале, выгружал с подвод захваченную добычу. На вокзале горит пакгауз, толпа грабит вагоны. Мы хотели ехать в Батайск с комиссаром на автомобиле, но авт. куда-то уехал. Мы были на вокзале довольно долго. В это время прибыл из Батайска паровоз, выехавший на разведку. Мы (В. А. и я) поехали на паровозе в Батайск. Из Батайска уже все эшелоны проехали дальше. В Батайске мы познакомились с тов. Княгиницким (из штаба 2-й арм., начальник Тираспольского отряда). Он распоряжался на станции, по его требованию некоторые уехавшие отряды вернулись в Ростов (отряд анархистов Черняка). Пошли с ним в халупу, где они остановились, там хозяева угостили нас ужином и чаем. Потом мы отправились на станцию. Приблизительно через час прибыл из Коялы (след. станция) командующий 2-й армией т. Бон-

даренко. Мы пошли к нему и переночевали в его салон-вагоне. Ночью было очень холодно.

7 мая, вторник

10 ч. Стоим на разъезде в 10-ти в. от Тихорецкой. Все пути забиты отступающими эшелонами. С нами едет начальник отряда анархистов Мокроусов (Савин), он ранен. Ст. Тихорецкая больше не принимает поездов. Наконец в 4 ч. поехали, через полчаса приехали в Тихорецкую. В нашем поезде все благополучно. Наш караул пришел вчера из Ростова пешком, а самокатчик — приехал еще 5-го. Комендант нашего поезда Нестеров заболел тифом. Автомобиль Бенц, который у нас взял Тихорецкий Совет, совершенно испорчен. В Тихорецкой стоит начальник войск Северного Кавказа Сорокин. Он собирается разоружать отступающие отряды. Командармы Харченко и Бондаренко этому не препятствуют, т. к. армии им не подчиняются, а занимаются только грабежом.

20(7) мая

Ст. Гумрак Ю.-В. ж. д. 7.30. Наши самокатчики арестовали в степи каких-то трех подозрительных красноармейцев с подложными документами, которые по ним стреляли. Прошел с места крушения санитарный поезд с ранеными в Царицын. Рассказывают подробности крушения. Путь сильно поврежден, туда приехал вспомогательный поезд, прокладывается обходной путь.

Погорел с шофером Николаевым на пруд. (1 1/2 в. от станции), там пили молоко в деревне, потом стреляли в ворон из револьвера, но не попали. Вернулись в 2 ч. как раз к отходу нашего поезда, который возвращается в Царицын. В 3 ч. приехали туда.

Царицын. Ходил в город, куп. книг. Чит. Рассказы А. Мощина. Завтра едем в Москву.

27(14) мая, понед.

Москва. 8.30. В 10 ч. приехал В. А., мама, Женя, поехали на машине домой на квартиру. У нас живут А. Г. Пальчик и Рита Курусон. Мама ездила перед Пасхой в Петроград, привезла оттуда все вещи, ликвидировала квартиру. Здесь уже организована служба связи для поездки на Урал и в Сибирь, но дня три назад Наркомвоен отменил поездку. Бывш. Украинский Главковерх Антонов назначен членом коллегии наркомвоена.

Ездил с Женей на Ник. вокзал в поезд Павлова. Наш поезд переведен на Виндавский вокз. Ездил на Бенце туда, привез вещи. Чит. М. Горького «Исповедь». Ванна.

29(16) мая, среда

9.30. Ездил два раза на Виндавский вокз., один раз с Павловым. В. А. получил назначение отправиться на Урал для борьбы с чехо-словаками, которые захватили всю жел. дорогу от Пензы до Омска. Сперва он поедет в Петроград, а потом в Екатеринбург и дальше. Веч. проявлял с Ж. фот.

30(17) мая, четв.

Ездил на Виндав. вокз., туда переведен эшелон Павлова, его прицепят к нашему. Завтра едем в Петроград все. Вечером был с Женей в Художеств. театре, видели «На дне» Горького.

31(18) мая, пятн.

Укладываемся. Получ. от папы письмо (привез К. Рахмилович из Баку). Сегодня едем. Я поехал с вещами на грузовике на вокз. Потом приехали В. А., мама и Ж. Провожали Арон, Эсфирь, Пальчик и Рита. Выехали из Москвы ночью.

Публикация О. ТРИФОНОВОЙ.

Артем  
ВЕСЕЛЫЙ

## ВОЛЬНИЦА

*Буй*  
Крыло из стокрылья  
ПРАЗДНИЧЕК



Весна восемнадцатого. Первая наша весна. Кубань, Черноморье, Новороссийск, Ресефесерия. Пыл. Ор. Ярь. Половодье — урывистая вода...

**Артем Веселый — настоящее имя Николай Иванович Кочкуров — родился в 1899 году в Самаре в семье волжского крючника. Отец был неграмотным. Жили бедно, Николай еще в детстве работал в рыбачьих артелях, ломовыми извозчиком, чернорабочим, писарем.**

Окончил 6 классов городского училища. В 1917 году был большевистским агитатором; потом бойцом Красной гвардии. С этого же года начал печататься во фронтовых газетах. В 1921 году в журнале «Красная новь» появилась его проза, и вскоре литературная работа становится для него профессией.

Был арестован в 1937 году. Приговор — как сообщили родным — 10 лет без права переписки. Расстрелян в 1938 году. Через семнадцать лет реабилитирован и восстановлен в партии. Главная книга Артема Веселого — роман о гражданской войне «Россия, кровью умытая».

Всю дорогу разговоры в вагоне. Об чем крики. Все дела в одно кольцо своди: Бей буржуев. Бей, душа с них вон. Все наше. Голова мы. Когти мы. Беломордые? Што нам беломордые. Сила наша. Всех потопчем. Всех порвем. Простонародная революция. Плач и стечанье. Песни и слезы. Навстречу под Тоннельной два эшелона попались. Урезный фронтовик. Кровь родная. Стогне Днепр, стогне широкий. И все одного направления: жабнуть<sup>1</sup>! Все машут винтовками и страшными голосами эрзерумских высот гукают

Долой Хвилимонова

Рви кадетню

Поиздили попили. Терперичко мы поиздимо Товарищи Крой

Капиталу нет пощады

Долой.

А Хвилимонов главковерх царизма по-на-Кубани. В чине свахи гад ползучий: войсковой казачий круг с Радой спаривал. Но мы раз и навсегда против всей этой лавочки. И бои кругом рикотят: под Тихорецкой, Тимашевской, Невинкой... Сквозь бои по всей Тамани, по всей Кубани, аж до самого Терека. Дистинктивно долой генерала Покровского: дюже вредный генерал для крестьянского народонаселения. Ду ду. Фююрр Березай... Вылезай

Новороссийский город. Станция Новороссийская. Где комендант? Аах, братишка. Сурьезные дела. Фронтовики не подкачают. В один мент обделают дела в лучшем виде. Эх ваша благородия держис ни валис... Фронтовик он... Где комендант под девятое ево ребро

Есть

Здрасуйте

Ваш мандат?

Налицо.

В тексте сохраняются особенности орфографии и пунктуации автора.

<sup>1</sup> Жабать — есть, жрать. — Прим. ред.

Правильный мандат. Станичник Авдоким Гулько, как делегат за оружием. А комендант сучара развалился в мягкой кресле и языком ледве-ледве

Ни от меня зависит

Да який же ты и комендант коли оружие немає? А ежли экстренное нападение контры?

Ни от меня зависит.

Га, чортов сынок

Плюннул делегат через коменданта на стенку. Давай в город срываешься. Чи Совет рабочих солдатских. Чи Ревком. На лестницах народ. В залах народ. Руки ни пробьешь... Потолкался потолкался Авдоким — ходов ни найти... Глядь: дорогой товарищ Васька Галаган

Каже, здорово голубок

Та неужто ж ты живый оставил?

Эз меня ни берет ни дробь ни пуля

Ах в бога господа мать, рад я ужасно...

Вышел экстренный разговор. Смеется Васька откровенный друг. Подманил товарищей и давай рассказывать как с Авдокимом в трубе ночевали, как вдвоем по телеграфу город кавказский взяли. Смеются матросы — щикатурка с потолка сыпится, советски шпалеры вянут стружкой по стенам завиваются. А в совет здешний всякая сволота понабилась. И большевики и меньшевики и кадеты и эстервры. Оружия тебе солдат не достать...

Ни по назначению попал

И — эх сердцу стало прискорбно. Уцепил Авдоким Ваську за рукав давай молить-просить

Васек товарищ подсердечный. За что мы скомлели, терхались? Долой золотую шкурку. И зачем нам кисла меньшевицка власть? В контрах вся Кубань — тридцать тысяч казаков. Што тут делать?

И как тут быть?

Успокой ты свое солдатское

сердце Христа ради

Будь уверен

Оружья мы тебе достанем

Слово олово

Действительно долой кислу меньшевицку власть.

А совет?.. Совет чхи будь здоров — погремушка

Вся власть в

наших руках

Хоромы, дворцы и так и далее

Обрадовался Авдоким... Табуном притопали в гостиницу Россия. Картинки, диваны эти самые и занавески чистый шелк. Барахла понавалено баракла. Сюда повернется — чемондан, туда — узел двоим не поднять. Расстегнули бутылочку, другую... И опосля того вывел Васька гостечка дорогое через стеклянную дверь на террасу. Вывел да и показывает

Вон немцы в Крыму.

Вон Украина страна хлебородная.

Всю ее покорили стервозы

А флот наш сюда отсунули

Немцы?

Немцы,

Авдоша, немцы хлесть иху мать. Шлём блём даешь флот по Брест-Литовскому. Шалишь. Распустили мы дымок — сюда уплитовали. Выпьем вино до последнего ведра — дальше поедем, разгромим все берега и с честью умрем

Зачем умирать? Уме-

реть не хитро. Жить надо да радоваться. Погляди что кругом робится...

Я? Мы?

Никогда сроду. Все прошли с боем, с огнем. Гайдамаков били. Раду били. Под Белградом Корнила шарахнули. С Калединым цапались. С татарами в Крыму дрались. Офицеров топили в пучине морской. Раз офицер — фактически контрик. Бей стычка.

Бей с навесу.

Бей наотмашь.

Хрули гадов.

Ни давай курвам пощады ни на.....волос

Справедливо дядя. Полный оборот саботажа. Весь путь под саботажем. Мокроусовский отряд. Наш отряд. Черный флот. И кругом теперь судовые комитеты Наша бражка. Чумазая, нечосаная. Дни и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню выталкиваем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся — **Бей** контру. Баста...

Правильно, от Новороссийска море начинается. Корабли гуськом. Весь Черный флот. Пушечки. Дымок. Флаги праздничные. По утрам с дредноута **Воля** малым током радио по всей эскадре

В

сем

всем

семсегод

днявечеро

мвгорсадуют

крытаясценана

вольномвоздухек

онцертмитингшампа

нскоебалдоутравходс

вободныйвоенеморыпригл

ашаютсябезисключенияядаз

дравствуетдаздравствуетдо

лойдолойдолойдаздравствуетс

ободныйчерноморскийфлоттрайка

Команды на берегу. Двенадцать тысяч матросов на берегу. Сколько это шуму. Гостиницы и дома буржуйские ломятся. Чи Совет? Чи Ревком? Хоромы дворцы и так далее. Лучше об нем и не говорить и слов ни тратить. Даешь шампанского. И кислый Совет из бездонных подвалов Абрау-Дюрсо перекачивал на корабли шампанское. В недлю по два ведра на рыло. И цена подходитяша. Двенадцать рублей бутылка. Твердая цена. Хватало и водки. Николаевской белоголовой. Слезу вышибала, за серце брала: старорежимная, злая водка. Совет чхи будь здоров — погремушка с горохом. И такое бывало. Ночью загнав всех рысаков и смеуху ради перетопив лихачей в вине и керенках, подваливалась к Совету буйная ватажка, обвшанная бомбами кольтами.

Даешь авто

Тыл штатска провинция

Душу вынем...

Высунется в окошечко дежурный член в шинель одетый.

Товарищи. Я сам четыре года кровь проливал. Сам фронтовик, но автомобилей в Совете нет. Даю честное благородное слово — нет. Вы как сознательные...

Ботай.

Куда подевали?

Пропили.

Немцам берегут.

Душу выдерем

Товарищи...

Из толпы для забавы стреляли. Можбыть кверху.  
Можбыть в члена промахивались. Ни всякий скажем  
понятие о прищеле имеет. Да. А член мечет:

Я ни против. Я сам фронтовик. Вместо  
авто Совет выставит пятьдесят бутылок  
шампанского

Мало

Ни заливай нам.

Тоже фронтовик? — нажевал рыло-то.

Мало

Двести

Сходились на сотне. Всяко бывало. Девочки мармуреночки до одной за моряками. Вихрем свадьбы. Сплошная гульня. Свадебные поезда кишками. Через весь город. Сквозь. Свадьбы каждый час, кажду минуту. Кругом свадьбы. Пьянка — гулянка. Дым. Ураган. Жизня на полный ход. Хриплые женишки. Невесты первый сорт — карамельки. Шафера, подруженьки, тетушки — честь честью. И кольца. Кольцо ураган. С пальцами нарубили у корнил — офицеров. Венчанье — лохмачи осипли. Музыка крышу рвет. Денег много. Все пляшут. Все поют. Дым в небо. Женится Васька на буржуйской дочке. Денежки всему шапка. Васька с Маргариточкой за красным столом сидят. Друг дружке эдак улыбаются. Маргариточка в форменке — женихов подарок. Куражится Васька. Уцепил ее за хребет. В миндалевые губки целует. Вино пьет, стаканы бьет, похваляется.

Ах и веселый жа народ матросы. Делегат за оружием Авдоким среди них ровно ржавый курган в зеленой степи. Дума грызет — и как бы оружием разжиться? Ждут станичники. Хотя какое тут оружие ежли Васька женится? Отгуляем, отпляшем и... Ржет братва. На слово ни верит.

Васька пузырится. Васька из двух шпаллеров на спор садит в пустые бутылки понаставленные на рояль. Бабы визжат. Братва потешается. Чечеточку, ползунка, лягушечку как тряхнет — тряхнет Васька: локти на отлет

Рви ночки

Равнай деньки

Папаша то есть буржуй ихний безусловно пляшет. На затылке смятый котелок. Глотка буржуйская — голенище разношенное. Рвет камаринского на демократических началах. Ржут матросики над буржуем, подтыривают

Нет. Спой-ка ты нам яблочку

Тряхни брылами.

Развесели гостей

Сыпь на весь двугривенный.

Уморушка Татьяна...

А матушка то есть буржуйка ихняя дышит над голубками. Пылью стелется.

Девушка она у меня деликатная, чуткая  
Гимназию с золотой медалью...  
Уж вы Василий Петрович ради бога  
будьте с ней понежней... Она совсем, со-  
всем ребенок

Ваську от умиления слеза прошибает

Мамаша... Да разиж мы ни понимаем?..

Да я в лепешку расшибусь

Маргариточка за роялем трень-брень. Ее восковой голосок гаснет в мутном, утробном реве

Ах ты яблочко

Д' с боку верчен...

И на улице под окнами подхватывают с подсвистом.  
Трещит выдираемая рама и в окошко рожа дико  
веселая

Э, да тут гулянка

Под окошками летучий митинг.

Свадьба

Ну

Залетим братва

Вались

Заходи,

братишки, заходи. Места хватит. Вина  
хватит

Зачем же бить окошки?

Утром с похмельки

Ах ах

Где молодой?

Пропал молодой

Теща плачет. Маргариточка белугой ревет: охорашивает ягодки помятые. Шафера похмеляются, к подружинькам присматриваются. Нету Васьки. Оказывается на фронт махнул. А можа и не на фронт. Вечером будто видали Ваську: в гортеатре зеркала бил. А завтра слышишь будто влюбилась в него артиста. Зафаловал Васька артисту французскую. Раз-раз, по рукам и в баню. Лафа этому Ваське. Куражится подлец: артиста, прынцеса, баба свыше всяких прав. Пришли ребята гулять и видят артиста ни артиста, а самая заправская чеканка Клавка Бантик. Кто же ни знает Клавку Бантик? Перва стерва на всей планете. Васька на что доброго сердца человек и то взревел

Ах, ты кудрячка

Плеснул ей леща, другово и в расчете: бесхитростный Васька человек.

Стонут качаются дома. Пляшут улицы. Прислонился ходя к России. По неизвестной причине плачет ходя разливается.

Выкатились из России ребятки и навалились на ходю...

Китаеза

Что обозначают твои слезы?

Вольгуля мольгуля

Моя лаботала лаботала, все денхи пло-  
лаботала — папилоса нету, халепа нету...

Бедолага, сковырни сле-

зы — едим с нами

А-яй, чудачок, кругом слобода, а ты  
плачешь

Едим

Моя каласо. Уф каласо

Эх развезло. Стой ни вались. В дымину пьяного делегата Авдошку в десять рук втолкнули в реквизированную архиерскую карету с проломленным боком. Ввалились Галаган, Суворов, китаеза, еще кто-то. Сорвалась пара разукрашенная красными лентами. И у лошадей праздник. И лошадям весело...

Рви малину

Руби самородину

Помнил Авдоким станицу. Фронт помнил. Каурого жеребчика Сокола. А слова ровно раки пьяные расползаются

Вася, родной. Господи. Братишки. Контра.

Вся Кубань. Тридцать тысяч казаков.

Вася, можешь ты меня понять?..

Погоди и

до казаков доберемся и их на луну шпилить будем

За што мы страдаем?

Ни раз-

страивай солдат ты своих нервов.

Всех

беломордых перебьем и

БББББАААА-

АССССССТТТТТААААА

останется одна пролетария

Оружия мы тебе достанем

Должны мы погулять?

Первый праздник в жизни

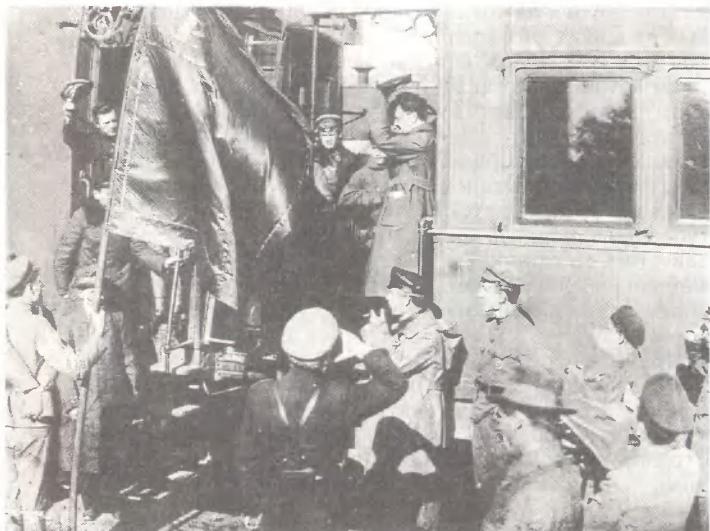
Буржуям такого не снилось.



## Лев ТРОЦКИЙ

# МОЯ ЖИЗНЬ

Отрывки из книги Лев Троцкий. «Моя жизнь». Опыт автобиографии. Изд-во «Гранит». Берлин, 1930.



Троцкий прибывает на Восточный фронт.  
Фото из собрания А. К. Самойлова

...Моя личная жизнь в течение самых напряженных годов революции была неразрывно связана с жизнью этого поезда. С другой стороны, поезд был неразрывно связан с жизнью Красной Армии. Поезд связывал фронт и тыл, разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал.

Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостные обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась не из-за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Керенский только добил ее. На пепелище великой войны большевики создали новую армию. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской революции. Поезд снабжал этим цементом фронты.

В Калужской губернии, Воронежской или Рязанской десятки тысяч молодых крестьян не являлись на первые советские призыва. Война шла далеко от их губерний, учет был плох, призывы не брались всерьез. Неявившихся называли дезертирами. Против неявки открыли серьезную борьбу. При военном комиссариате Рязани набралось таких «дезертиров» тысяч пятнадцать. Проезжая через Рязань, я решил посмотреть на них. Меня отговаривали: «как бы чего не вышло». Но все обошлось как нельзя быть лучше. Из бараков их скликали: «Товарищи дезертиры, ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам приехал». Они выбегали возбужденные, шумные, любопытные, как школьники. Я воображал их похуже. Они воображали меня пострашнее. Меня в несколько минут окружила огромная распоясанная, недисциплинированная, но ничуть не враждебная братва. «Товарищи дезертиры» глядели на меня так, что, казалось, у многих выскочат глаза. Взбравшись на стол тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в их собственных глазах и под конец призвал их поднять руки в знак верности революции. На моих глазах их заразили новые идеи. Ими владел истинный энтузиазм. Они провожали меня до автомобиля, глядели во все глаза, но уже не испуганно, а восторженно, кричали во всю глотку и ни за что не хотели оторвать от меня. Я не без гордости узнавал потом, что важным воспитательным средством по отношению к ним служило напоминание: «А ты что обещал Троцкому?». Полки из рязанских «дезертиров» хорошо потом дрались на фронтах...

В каждом полку, в каждой роте имеются люди разного качества. Сознательные и самоотверженные составляют меньшинство. На другом полюсе — ничтожное меньшинство развращенных, шкурников или сознательных врагов. Между двумя меньшинствами — большая середина, неуверенно колеблющиеся. Развал получается тогда, когда лучшие гибнут или отираются, шкурники или враги берут верх. Средние не знают в таких случаях, с кем идти, а в час опасности поддаются панике. 24 февраля 1919 г. я говорил в Колонном зале Москвы молодым командирам: «Дайте три тысячи дезертиров, назовите это полком, я им дам боевого командира, хорошего комиссара, подходящих батальонных, ротных, взводных, — и три тысячи дезертиров в течение четырех недель дадут у нас, в революционной стране, превосходный полк...

В самые последние недели, — добавил я, — мы снова проверили это на опыте Нарвского и Псковского

участков фронта, где нам из обломков удалось создать прекрасные боевые части».

Два с половиной года, с короткими сравнительно перерывами, я прожил в железнодорожном вагоне, который раньше служил одному из министров путей сообщения. Вагон был хорошо оборудован с точки зрения министерского комфорта, но мало приспособлен для работы. Здесь я принимал явившихся в пути с докладами, совещался с местными военными и гражданскими властями, разбирался в телеграфных донесениях, диктовал приказы и статьи. Отсюда же я совершил со своими сотрудниками большие поездки по фронту на автомобилях. В свободные часы я диктовал в вагоне свою книгу против Каутского и ряд других произведений. В те годы я, казалось, навсегда привык писать и размышлять под аккомпанемент пульмановских рессор и колес.

Поезд мой был организован спешно в ночь с 7-го на 8-е августа 1918 г. в Москве. Наутро я отправился в нем в Свияжск на чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 году он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали: секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня.

Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера. Другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить нельзя было.

...Мы строили армию заново, притом под огнем. Так было не только под Свияжском, где поезд записал первый месяц своей истории. Так было на всех фронтах. Из партизанских отрядов, из беженцев, уходивших от белых, из мобилизованных в ближайших уездах крестьян, из рабочих отрядов, посыпавшихся промышленными центрами, из групп коммунистов и профессионалистов тут же, на фронте, формировались роты, батальоны, свежие полки, иногда целые дивизии. После поражений и отступлений рыхлая, панически настроенная масса превращалась в две-три недели в боеспособные части. Что для этого нужно было? И много и мало. Дать хороших командиров, несколько десятков опытных бойцов, десяток самоотверженных коммунистов, добыть босым сапоги, устроить баню, провести энергичную агитационную кампанию, накормить, дать белья, табаку и спичек. Всем этим занимался поезд. У нас всегда было в резерве несколько серьезных коммунистов, чтобы заполнять бреши, сотня-две хороших бойцов, небольшой запас сапог, кожаных курток, медикаментов, пулеметов, биноклей, карт, часов и всяких других подарков. Непосредственные материальные ресурсы поезда были, разумеется, незначительны по сравнению с нуждами армии. Но они постоянно обновлялись. А главное, они десятки и сотни раз играли роль той лопатки угля, которая необходима в данный момент, чтобы не дать потухнуть огню в камине. В поезде работал телеграф. Мы соединялись прямым проводом с Москвой, и мой заместитель Склянский принимал от меня требования на самые необходимые для армии — иногда для дивизии, даже для отдельного полка — предметы снабжения. Они появлялись с такой скоростью, которая была бы совершенно неосуществима без моего вмешательства. Конечно, этот метод нельзя назвать правильным. Педант скажет, что в снабжении, как и во всем вообще военном деле, важнее всего система. Это правильно. Я сам склонен грешить скорее в сторону педантизма. Но дело в том, что мы не хотели погибнуть прежде, чем нам удастся создать стройную систему. Вот почему мы вынуждены были, особенно в первый период, заменять систему

импровизациями, чтобы на них можно было в дальнейшем опереть систему.

...Без новых и новых импровизаций во всех областях войны была бы для нас немыслима. Поезд был инициатором таких импровизаций, а вместе с тем и их регулятором. Давая толчок инициативе фронта и ближайшего тыла, мы заботились о том, чтобы эта инициатива вливалась постепенно в каналы общей системы. Я не хочу сказать, что этого всегда удавалось достигнуть. Но, как показал исход гражданской войны, мы достигли самого главного: победы...

Война развертывалась по периферии страны, часто в самых глухих углах растянувшегося на восемь тысяч километров фронта. Полки и дивизии по месяцам оставались оторванными от всего мира. Их заражало настроение безнадежности. Нередко не хватало телефонного имущества даже для внутренних надобностей. Поезд являлся для них вестником иных миров. У нас имелся всегда запас телефонных аппаратов и провода...

В состав поезда входили: огромный гараж, включавший в себя несколько автомобилей, и цистерна бензина. Это давало возможность отъезжать от железной дороги на сотни верст. На грузовиках и легковых машинах размещалась команда отборных стрелков и пулеметчиков, человек двадцать — тридцать. На моем автомобиле также имелась пара ручных пулеметов. Маневренная война полна неожиданностей. В степях мы всегда рисковали наткнуться на казачьи разъезды. Автомобили с пулеметами — это хорошая страховка, по крайней мере, в тех случаях, когда степь не превращается в море грязи. В Воронежской губернии пришлось однажды осенью 1919 года передвигаться со скоростью трех километров в час. Автомобили глубоко вязли в размытом черноземе. Тридцать человек соскачивали каждый раз на землю и на jakiвали плечом. Переезжая через реку в брод, мы застряли посередине. Я сгоряча обвинил слишком низко сидящую машину, которую мой великолепный шофер, эстонец Пюви, считал лучшей из всех машин мира. Он обернулся ко мне и, чуть взял под козырек, отрапортовал на ломанном русском языке: «Осмелись доложить, инженеры не предвидели, что мы по водам плавать будем». Несмотря на трудность положения, мне хотелось его обнять за холодную меткость иронии.

Поезд был не только военно-административным и политическим, но и боевым учреждением. Многими своими чертами он ближе стоял к бронированному поезду, чем к штабу на колесах. Да он и был забронирован, по крайней мере, паровозы и вагоны с пулеметами. Все работники поезда без исключения владели оружием. Все носили кожаное обмундирование, которое придает тяжеловесную внушительность. На левом рукаве у всех, пониже плеча, выделялся крупный металлический знак, тщательно выделанный на монетном дворе и приобретший в армии большую популярность. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Для поддержания бдительности в пути часто устраивались тревоги, и днем и ночью. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности, для «десантных» операций. Каждый раз появление кожаной сотни в опасном месте производило неотразимое действие. Чувствуя поезд в немногих километрах от линии огня, даже наиболее нервно настроенные части, и прежде всего их командный состав, тянулись из всех сил. При неустойчивом равновесии весов решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и его отрядам приходилось быть за два с половиной года многие десятки, если не сотни раз. При приемке «десанта» на борт мы обычно кого-либо недосчитывались. В общем, поезд потерял убитыми и ранеными около 15 человек, не считая тех, которые совсем уходили в полевые части и таким путем выпадали из поля нашего зрения...

Сколько раз бывало командир дивизии, бригады, даже полка просит оставаться у него в штабе лишние полчаса просто посидеть, или проехать с ним в автомобиле или верхом на дальний участок, или хотя бы отправить туда несколько человек команды с предметами снаряжения и подарками, чтоб только шире пошел слух о прибытии поезда на фронт. «Что заменит резервную дивизию», — говорили командующие армиями. Слух о прибытии поезда проникал, разумеется, и во вражеские ряды. Там рисовали себе таинственный поезд неизмеримо страшнее, чем он был на деле. Это только усиливало его моральное значение.

Поезд завоевал себе ненависть врагов и гордился ею. Социалисты-революционеры несколько раз затевали покушение на него. Об этом подробно рассказал на процессе эсэров Семенов, организатор убийства Володарского и покушения на Ленина, участник в подготовке покушений на поезд. В сущности говоря, такое предприятие не представляло больших трудностей. Но эсэры к тому времени политически ослабели, утратили веру в себя и потеряли влияние на молодежь.

### Месяц в Свияжске

Весна и лето 1918 г. были из ряда вон тяжелым временем. Только теперь выходили наружу все последствия войны. Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Встал вопрос: хватит ли вообще у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей независимости? Продовольствия не было. Армии не было. Железные дороги были в полном расстройстве. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры.

На Западе немцами были захвачены Польша, Литва, Латвия, Белоруссия и значительная часть Великороссии. Псков был в немецких руках. Украина стала австро-германской колонией. На Волге французская и английская агентура подняла летом 1918 года восстание корпуса чехо-словаков, из бывших военнопленных. Немецкое командование дало мне через своего военного представителя понять, что, если белые будут приближаться к Москве с востока, немцы будут приближаться к Москве с запада, со стороны Орши и Пскова, чтобы не дать образоваться новому Восточному фронту. Мы оказывались между молотом и наковальней. На севере были захвачены англичанами и французами Мурманск и Архангельск, с угрозой продвижения на Вологду. В Ярославле разыгралось восстание белогвардейцев, организованное Савинковым по прямому требованию английского посла Нуланса и английского уполномоченного Локкарта, дабы связать через Вологду и Ярославль северные войска с чехо-словаками и белогвардейцами на Волге. На Урале орудовали банды Дутова. На юге, на Дону, развернулось восстание, руководимое Красновым, который тогда находился в непосредственном союзе с немцами. Левые эсэры устроили в июле заговор, убили графа Мирбаха, пытались поднять восстание на Восточном фронте. Они хотели нам навязать войну с Германией. Фронт гражданской войны все более превращался в кольцо, которое должно было сжиматься теснее и теснее вокруг Москвы.

После падения Симбирска решена была моя поездка на Волгу, откуда грозила главная опасность... Мой поезд остановился в Свияжске, ближайшей крупной станции перед Казанью. В течение месяца здесь решалась заново судьба революции. Для меня этот месяц был великой школой.

Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из-под Симбирска и Казани или прибывших на помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей им всем была только склонность к отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты,

состоявшие сплошь из офицеров, совершили чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В крестьянстве полз слух, что Советам не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым.

Здесь, под Казанью, можно было на небольшом пространстве обозревать многообразие факторов человеческой истории и почерпать аргументы против трусливого исторического фатализма, который во всех конкретных и частных вопросах прикрывается пассивной закономерностью, обходя ее важнейшую пружину: живого и действующего человека. Много ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву. Судьба революции решалась на этот раз под Свияжском. А здесь она в наиболее критические моменты зависела от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара, т. е. висела на волоске. И так изо дня в день.

И все же революция была спасена. Что понадобилось для этого? Немногое: нужно было, чтобы передовой слой массы понял смертельную опасность. Главным условием успеха было: ничего не скрывать, и прежде всего — свою слабость, не хитрить, называть все открыто по имени. Революция была еще слишком беспечна.

Главнокомандующим Восточного фронта был назначен полковник Вацетис, который командовал до этого дивизией латышских стрелков. Это была единственная часть, сохранившаяся от старой армии... В то время, как прочие «спецы» большие всего боялись переступить черту своих прав, Вацетис, наоборот, в минуты вдохновения издавал декреты, забывая о существовании Совнаркома и ВЦИКа.

Из казанского штаба он уходил вечером 6-го августа одним из последних, когда белые уже занимали здание. Он выбрался благополучно и кружным путем прибыл в Свияжск, потеряв Казань, но сохранив свой оптимизм. Мы обсудили с ним важнейшие вопросы, назначили латышского офицера Славина командующим 5-й армии и простились. Вацетис отбыл в свой штаб. Я остался в Свияжске...

Измена гнездилась в штабе, в командном составе и вокруг. Неприятель знал, куда бить, и почти всегда действовал наверняка. Это обескураживало. Вскоре по приезде я посетил передовые батареи. Размещение орудий показывало мне опытный артиллерийский офицер с обветренным лицом и непроницаемыми глазами. Он попросил разрешения отойти, чтоб отдать приказание по телефону. Через несколько минут после этого два снаряда легли вилкой в пятидесяти шагах, третий упал совсем рядом. Я едва успел лечь, меня обдало землей. Артиллерист стоял неподвижно в стороне, бледность пропускала сквозь загар. Странным образом я не заподозрил ничего, кроме случайности. Только года два спустя я вспомнил внезапно всю обстановку до мельчайших подробностей, и мне стало неопровергимо ясно: артиллерист был враг и по телефону, через какой-то промежуточный пункт, указал прицел неприятельской батареи. Он рисковал вдвойне: попасть вместе со мною под снаряд белых или быть расстрелянным красными. Мне неизвестно, что с ним стало.

Едва я вернулся к себе в вагон, как со всех сторон раздалась ружейная трескотня. Я выскочил на площадку. Над нами кружился белый самолет. Он явно отошелся на поезд.

Измена действовала тем увереннее, чем безнадеж-

нее казалось военное положение революции. Надо было во что бы то ни стало и притом как можно скорее преодолеть автоматизм отступления, когда люди не верят уже в самую возможность остановиться, повернуться вокруг своей оси и ударить врага в грудь.

Я привез с собою в поезде полсотни московской партийной молодежи. Они разрывались на части, затыкали собой дыры, и таяли на моих глазах, с безрас-судством героизма и неопытности подставляя себя под удары. Рядом с ними стоял четвертый латышский полк. Из всех полков раздерганный по частям дивизии это был худший. Стрелки лежали в грязи под дождем и потребовали смены. Но смены не было. Командир полка вместе с полковым комитетом прислали мне заявление, что если полк не сменят тотчас же, то произойдут «последствия, опасные для революции». Это была угроза. Я вызвал в вагон командира полка и председателя полкового комитета. Они угрюмо стояли на своем. Я объявил их арестованными. Начальник связи поезда, нынешний комендант Кремля, разоружил их в моем купе. В вагоне, кроме нас двоих, никого не было: вся команда дралась на позициях. Если б арестованные воспротивились, или если б полк вступил за них и снялся с позиции, положение могло бы стать безнадежным. Мы сдали бы Свияжск и мост через Волгу. Захват моего поезда врагом не мог бы, конечно, оставаться без влияния на армию. Дорога на Москву была открыта. Но арест прошел благополучно. В приказе по армии я сообщил о предании командира полка революционному трибуналу. Полк не покинул позиций. Командира приговорили только к тюрьме.

Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали пример. Но было ясно, что одной агитацией не сломить настроения, да и обстановка оставляла слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры. Я издал приказ, напечатанный в типографии моего поезда и оглашенный во всех частях армии: «Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии».

Перелом наступил, разумеется, не сразу. Отдельные отряды продолжали отступать без причины или рассыпались под первым крепким толчком. Свияжск был под ударом. На Волге стоял наготове пароход для штаба. Десять человек команды моего поезда охраняли на самокатах пешеходную тропинку между штабом и местом посадки на пароход. Военный Совет 5-й армии постановил предложить мне перейти на воду. Мера сама по себе была разумна, но я опасался ее дурного влияния на нервную и неуверенную в себе армию. Как раз в этот момент положение на фронте ухудшилось. Свежий полк, на который мы так рассчитывали, снялся с фронта во главе с комиссаром и командиром, захватил со штыками наперевес пароход и погрузился на него, чтобы отплыть в Нижний. Волна тревоги прошла по фронту. Все стали озираться на реку. Положение казалось почти безнадежным. Штаб оставался на месте, хотя неприятель был на расстоянии километра-двух, и снаряды рвались по соседству. Я переговорил с неизменным Маркиным. Во главе двух десятков боевиков он на импровизированной канонерке подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них сдачи под жерлом пушки. От исхода этой внутренней операции зависело в данный момент все. Одного ружейного выстрела было бы достаточно для катастрофы. Дезертиры сдались без сопротивления. Пароход причалил к пристани, дезертиры высадились, я назначил полевой трибунал, который приговорил к расстрелу командира, комиссара и известное число солдат. К загнившей ране было

приложено каленое железо. Под новым командованием и с новым самочувствием полк вернулся на позиции. Все произошло так быстро, что враг не успел воспользоваться потрясением.

Надо было наладить авиацию. Я вызвал инженера-летчика Акашева. Анархист по взглядам, он работал, однако, с нами. Акашев проявил инициативу и быстро сколотил воздушную флотилию. Благодаря ей мы получили, наконец, картину неприятельского фронта. Командование 5-й армии вышло из потемок. Авиаторы стали совершать ежедневные боевые налеты на Казань.

...Обходя помещения штаба в три часа ночи, самой критической из всех ночных Свияжска, я услышал в оперативном управлении знакомый голос, повторявший: «Он доиграется до того, что попадет в плен, себя и нас погубит, я вам это предсказываю». Я остановился на пороге. Против меня за картой два совсем еще молодых офицера генерального штаба. Говоривший наклонился к ним через стол, стоя ко мне спиной. На лицах своих собеседников он прочитал, должно быть, что-то неожиданное, потому что круто повернулся к двери. Это был Благонравов, поручик царской армии, молодой большевик. На лице его застыли ужас и стыд. В качестве комиссара он имел своей задачей поддерживать дух специалистов. Вместо этого он в критическую минуту восстанавливал их против меня, склоняя по существу к дезертирству, и был застигнут мною на месте преступления. Я не верил ни глазам, ни ушам. Благонравов в течение 1917 г. показал себя боевым революционером. Он был комиссаром Петропавловской крепости в дни переворота, участвовал затем в ликвидации восстания юнкеров. Я давал ему ответственные поручения в период Смольного. Он справлялся хорошо. «Из такого поручика, — сказал я однажды Ленину, — еще Наполеон выйдет. И фамилия у него подходящая: Благо — нравов, почти Бона — парте». Ленин сперва посмеялся неожиданному для него сопоставлению, потом призадумался и, выдавив склы наружу, сказал серьезно, почти угрожающе: «Ну, с Бонапартами-то мы справимся, а?» «Как бог даст», — ответил я полуслыша. Так вот этого самого Благонравова я отправил на Восточный фронт, когда там проспали измену Муравьева. В Кремле, в приемной у Ленина, я втолковывал Благонравову его задачи. Он ответил уныло: «Все дело в том, что революция уже пошла на уклон». Это было в середине 1918 года. «Неужели же вы так быстро израсходовались?» — спросил я его с возмущением. Благонравов подтянулся, переменил тон и обещал сделать все, что требуется. Я успокоился. И вот теперь я застиг его в самые критические часы на границе прямой измены. Мы вышли в коридор, чтоб не объясняться при офицерах. Благонравов дрожал, бледный, с рукой у козырька. «Не предавайте меня трибуналу, — повторял он с отчаянием, — я заслужу, отправьте меня солдатом в цепь». Мое пророчество не сбылось: кандидат в Наполеоны стоял передо мною мокрой курицей. Его сместили и отправили на менее ответственную работу. Революция — великая пожирательница людей и характеров. Она подводит наиболее мужественных под истребление, менее стойких опустошает. Сейчас Благонравов — член коллегии ГПУ, один из столпов режима. Еще в Свияжске он должен был преисполниться вражды к «перманентной революции».

...Месяц в Свияжске был набит тревожными эпизодами. Каждый день что-нибудь случалось. Нередко и ночь не отставала от дня. Война впервые развертывалась передо мною в такой интимной близости. Это была малая война. С нашей стороны сражалось не больше 25—30.000 человек. Но от большой войны малая отличалась только масштабом. Это была как бы живая модель войны. Именно поэтому она так непосредственно ощущалась во всех своих колебаниях и неожиданностях. Малая война была большой школой.

# ЗА ЧТО ПОГИБЛИ ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН?

**Десять. Двенадцать. Тринадцать миллионов душ — все чаще слышим мы, когда в купе скорого поезда или за газетным круглым столом заговорят о гражданской войне. Какова же цена потрясения, пережитого обществом? Какая историческая и человеческая явь за цену непроницаемо-круглых нулей? И как рассчитать? И каково выговорить? Доктор исторических наук Виктор ДАНИЛОВ размышляет об этом:**

— Я говорю о 10—11 миллионах россиян, погибших в смути 1918—1920 годов. Но прежде чем объяснить происхождение этих цифр, несколько слов о том, о чем я, как историк, не могу не сказать.

Когда я слышу, с каким надрывом поется ставший вдруг популярным романс о поручике Голицыне или песня о тетради расстрелянного генерала, я вспоминаю другие слова — современника событий Сергея Есенина:

Было время безумных бедствий,  
Время диких стихийных сил.

Точное определение, вполне объясняющее, почему гражданская война приняла такой характер и привела к таким жертвам.

Наверное, мысль, что Россия вошла в XX век с полуфеодальным социальным и политическим строем, — «несвоевременная». Но можно ли забывать, что порки крестьян продолжались и на перевале веков, и потребовался массовый взрыв 1902 года (крестьянская революция в России началась именно в тот год), чтобы телесные наказания были отменены. Указ 1903 года сохранил лишь за полицией, которой, впрочем, в деревне не было, право наказывать подобным образом — на случай бунта. Ищущие причин пусть вспомнят и о том, что выкупные платежи помещикам, введенные в 1861 году, были отменены лишь в ноябре 1905 года, причем это решение вступало в силу с 1907-го. До тех пор крестьяне продолжали вносить выкупные, а вплоть до 1917 года — и недоимки прошлых лет. Вспомним и о том, что Столыпинская реформа, которая действительно дала дорогу буржуазным преобразованиям в России, проводилась с использованием насилиственных средств и означала очистку земли от «слабых» в пользу «сильных». Не эти ли «слабые» — а речь идет о миллионах — стали активной силой 1917-го? За десятилетие до Ленина и большевиков Столыпин вносил классовый раскол в деревенскую среду. Он разделял и приносил в жертву. Впрочем — и мы можем лишь сожалеть об этом, — самые различные политические силы ускоряли в деревне социальное расслоение.

Стоит ли удивляться, что горы ненависти, насыщенные общими усилиями, обвалились? Что деревня, показавшая свой радикализм и разрушительные потенции уже в 1905 году, в 1917-м выступила с известными отрицательными требованиями? Произошло открытое столкновение давно противостоявших и противоборствовавших сил. Война шла не за

девочек, как можно подумать, слушая романсы, а именно за землю и волю, и это еще вопрос, кто были вандалы, увлекшие Россию на растерзание. Другое дело, что мы вправе спрашивать: как вели себя в обстановке общего предельного ожесточения политические силы того времени? Но это уже совсем иная тема...

А жертвы — жертвы были огромны, ужасны. Точный их подсчет если и станет возможен, то в слишком неопределенном будущем, после исследования и обобщения всего круга источников.

Оценки специалистов колеблются в рамках 10—14 миллионов. «Вилка» связана отчасти с тем, что одни исследователи ограничивают себя 1920 годом, другие берут в расчет и 1921—1922-й — годы мятежей и великого голода.

В основе современных исчислений лежат труды крупнейших советских статистиков и демографов Е. Волкова и Б. Урланица, выполненные соответственно в 20-х и в 50—60-х годах.

Волков имел наиболее свободный и широкий доступ к необходимым материалам. Он утверждал, что непосредственно в гражданской войне погибли 2,1 миллиона наших соотечественников, убитых и умерших от ран. Мы же должны прибавить к ним умерших от эпидемий и болезней, обыкновенно сопутствующих таким катастрофам, как гражданская война. По Волкову, это 5,1 миллиона, где 2,1 — учтенные медицинской статистикой жертвы тифа, оспы и дизентерии, а 3 — на счету других болезней, в основном испанского гриппа \*.

Урланиц, в свою очередь, говорил о 800 тысячах армейских потерь и 8 миллионах погибших гражданского населения. (Умерших от «испанского» моря в этом раскладе будет еще больше — что, на мой взгляд, и ближе к истине.) Общие цифры Волкова и Урланица, как видим, соотносимы, хотя слагаемые разновелики. Почему?

Нам легче: мы можем без умолчаний. Мы вычтем из 2,1 миллиона кровавых потерь 800 тысяч армейских и получим 1,3 миллиона жертв террора, бандитизма, погромов, подавления мятежей и самих мятежей. Доля в 300 тысяч — давно известная статистика еврейских погромов. Остальное — это тот миллион, который сегодняшняя наука бессильна — что символично! — разделить между красными, белыми, зелеными, черными и иными.

Выводы Волкова и Урланица — о 10,7 и 11 миллионах — получены сложением физических жертв с жертвами изгнаничества. Эмиграция в эти годы составила, по Волкову, 3,5 миллиона несчастных; Урланиц писал о двух. Вторая цифра представляется более реальной. О 1,5—2 миллионах «блого-эмигрантов» упоминал еще Ленин. Волкова, видимо, ввели в заблуждение показатели, относившиеся к движению перемещенных лиц, — военнопленных и беженцев.

Таково, в тусклых красках арифметики, зрелище братоубийства 1918—1920 годов. Применительно же к концу 1922 года пишут уже о 13 миллионах (Ю. Поляков), о 13,8 — до 1923 года (С. Максудов — псевдоним А. Бабенышева). Однако, по данным известного земского статистика, а в 20-х годах управляющего ЦСУ, П. Попова, в 1921—1922 годах погибли — главным образом голодной смертью — 5,2 миллиона человек. И значит...

И, значит, можно говорить не меньше чем о 15—16 миллионах россиян — жертвах величайшей исторической катастрофы. (Если же принять за точку отсчета событий, начавшихся шар земной, 1914 год, что справедливо, то приходит в выговорить: около 18 миллионов душ...) А вспомнить о неродившихся — и счет пойдет на четвертый десяток миллионов.

Притом в наш подсчет не входят узники первых лагерей, пережившие свое заключение. Зато, напомню, эти астрономические величины включают в себя составную частью эмиграцию. Отсюда одна условность: дети эмигрантов проходят по разряду неродившихся. Наше время дарит надежду, что эти люди не пропали в туне для России и ее народа. А прочим — давно мертвым, никогда не жившим — кто даст надежду?

\* Истину ради скажем, что пандемия «испанки» охватила в 1918—1919 годах весь мир. В США, откуда исходила, инфлюэнza унесла от 500 до 850 тысяч жизней, в Европе — больше трех миллионов. Но страдания и настроение русской смуты еще усиливали «эффект»...



Этот плакат (по мотивам Ивана Билибина) приглашал на недавнюю выставку в Доме советской науки и культуры в Праге, которая рассказывала о том, как русские эмигранты нашли в Чехословакии свою родину.

**ZDE NAŠLI  
DOMOV  
SVŮJ**

## Юрий ЗЕРЧАНИНОВ ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ТШЕБОВЫ

Благожелательность и достоинство хранили эти лица. А пожилых дам отличала особая стать — во время службы ни одна из них не позволяла себе пристесь (в Успенском храме на Ольшанском кладбище в Праге стоят, словно в костеле, скамьи — великий возраст большинства прихожан). И молодой священник, отец Александр, завершив евангельское чтение, возгласил:

— Сохрани нас, Господи, своюю благодатью.

«Храни, Господи», — хотелось вторить отцу Александру, — этих последних россиян, нашедших здесь свой дом.

Скромная кладбищенская церковь на Ольшанах была поставлена в начале двадцатых годов в память о русских воинах, павших в первую мировую войну, а «также в междуусобной борьбе за Россию смерть обретших». А вокруг храма — кресты и надгробья на могилах наших соотечественников, которым после этой кровавой междуусобной борьбы (мы приучены называть ее гражданской войной) пришлось покинуть поверженную Россию...

Приход Успенского храма с каждым годом редеет, и больше видеть, как запущены многие могилы. В прошлом году об этом с тревогой писал соб. корр. «Известий» в Праге Леонид Корнилов, после чего городские власти, сделав красивый жест (дело было еще при Гусаке), распорядились придать пристойный вид могиле Аркадия Аверченко. На плите — подновленные буквы: RUSKY SPISOVATEL A. T. AVER-

CENKO». И в разительном контрасте — другая, уже тронутая временем плита, с поблекшими буквами: «HELENA NABOKOVA. 1876—1939».

В Праге полным-полно такс, и, стоя у этой могилы, я вдруг вспомнил, как в «Других берегах» Владимир Набоков рассказывает, что мать его имела пристрастие к коричневым таксам и Бокс Второй, ее последний таксик, последовал за ними в изгнание и ковылял еще по улицам Праги за своей задумчивой хозяйкой — эмигрантская собака «в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце». И могила хозяйки Бокса Второго походит сегодня на это заплатанное пальтецо.

И вновь обратимся к «Другим берегам»: «Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней, и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится делать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по нестареющему в сердце образцу...» После войны Набокову уже не приходилось надеяться, что удастся посетить Прагу, побывать на могиле матери, и не потому — надо ли объяснять? — что жил далеко (да и не так далеко — последние годы он прожил в Швейцарии)...

На этом православном кладбище мне показали тщательно выровненную — катком что ли прошли? — площадку. А на голой земле лежал большой деревянный крест. Год назад и представить было нельзя, что на братской могиле власовцев, обративших немецкое оружие против фашистов, прида на помочь — первыми! — восставшим пражанам, и погибших на улицах Праги, будет вновь установлен крест.

Эта история — еще одна неведомая нам страница Отечественной войны. Не берусь судить, чем руководствовался Власов, отдавая приказ выбрать немцев из Праги: рассчитывал ли таким путем по-иному выглядеть в глазах соотечественников или надеялся сдаться в Праге американцам? Так или иначе (надеюсь, историки в конце концов разберутся), но пражане, которые помнят тот майский день сорок пятого года, рассказывали мне, с какой яростью русские парни в немецкой форме нежданно обрушились на гитлеровцев, словно каждый из них только и ждал этого часа с того самого дня, когда в фашистском концлагере (не забудем, что попавший в плен для Сталина был уже предателем) согласился вступить в армию Власова. Не исключаю, что среди погибших на улицах Праги власовцев были и поправившие свою воинскую присягу, то есть перебежчики, но разве достойной смертью не обрели и они право быть захороненными в этой братской могиле по-христиански?

Да, на Ольшанском кладбище лежат и советские солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Чехословакии, но все эти годы мы поступали бесчеловечно, классифицируя павших на чистых и нечистых. И когда в шестьдесят восьмом трибун Пражской весны Смрковский помянул добрым словом этих русских парней трагической судьбы, он тут же был и сам занесен в список нечистых...

Сегодня православное кладбище в Праге, как и Успенский храм (по стенам его ползет губительная плесень), ждет нашего участия. Не будем гадать, какие организационные формы изыщет для этого наша общественность, но не сомневаюсь, что подобная акция найдет благожелательный отклик и поддержку в Праге. А пока что отец Александр возлагает свои надежды на одного американского архитектора, который намерен присесть в Прагу и исследовать, как спасти храм от плесени. Работу проделает бескорыстно, ибо этот американец русского происхождения, и, мало того, он из тшебовцев.

На этой воскресной службе я познакомился с Ириной Зеленковой (в девичестве — Капецкой), которая и посвятила меня в историю тшебовцев — былого школьного братства наших соотечественников, которые разбросаны ныне по всему свету, но продолжают хранить верность своим традициям. Уже многие годы выпускники русской гимназии в Моравской Тшебове проводят в Праге свою сходки. Так, в последний раз, хотя прежние чехословакие власти далеко не всем дали визу, собрались 180 человек. С пяти континентов.

— Мы все на «ты», — мне говорила Ирина, которая лишь начинала учиться в Тшебове, а закончила школу уже в Праге в 1946 году, но гордо величает себя тшебовской последнего выпуска. Историю ее семьи и ее собственную историю я еще расскажу, но начну с другого знакомства — со старейшей из живущих ныне в Праге выпускниц Тшебовской гимназии Наталией Андреевной Михайлук.

Детство ее прошло в Москве, на Арбате. Она дочь при-  
сяжного поверенного.

— Отец всю жизнь боролся против смертной казни и, когда большевики пришли к власти, сказал Крыленке, что неправде служить не будет. Спасая семью от голода, он увез нас в конце концов в Крым, хотя терпеть не мог Врангеля, к Деникину относился с уважением, а Врангеля, как и жестокого Слацкова, терпеть не мог.

Наталия Андреевна вспоминает, как уходили они на английском миноносеце из Севастополя и отец плакал и говорил детям, когда был виден еще Херсонес, что это ваша родная земля и вы непременно должны возвратиться сюда. И уже в эмиграции он постоянно затевал с детьми «прогулку по Москве»: «Вот мы вышли на Воздвиженку — что за дом направо, а что за магазин в доме налево?..» И когда в 1971 году Наталия Андреевна побывала, наконец, в Москве, она словно продолжила эту «прогулку».

Она гостила у двоюродных сестер, отец которых, ее дядя, в тридцать седьмом был расстрелян. И собираясь домой, в Прагу, говорила кузинам: «Я знаю, где мой отец погребен, а вы не знаете...»

Ее эмигрантская жизнь началась в Константинополе. Там — а точнее, в Галате — в декабре двадцатого года была открыта смешанная русская гимназия, в которую она стала ходить вместе с младшим братом. Американцы снабдили детей карандашами и тетрадями, но русских учебников не было. Так и учились, а спустя год все 580 русских гимназистов были приглашены продолжить образование в Чехословакскую республику — в Моравской Тшебове им предоставили пустующий лагерь.

— В дороге нас предупредили, — рассказывала Наталия Андреевна, — что чехи будут всех дезинфицировать, и мы, девочки, ужасно боялись, что нам обрежут косы. Но косы нам не обрезали — лишь мальчиков постригли наголо. Детство на Арбате и годы, которые я провела в Тшебове, — самые счастливые в моей жизни. В Тшебове я словно снова оказалась в России.

Эта школа, которая собирала русских детей — и в первую очередь сирот — со всего мира, была включена в школьную сеть Чехословакии как реальная гимназия с добавлением русских предметов. Ее штат — 31 преподаватель, 14 воспитателей и воспитательниц и 3 врача. Выпускники Тшебовы принимались на казенный кошт в высшие и специальные учебные заведения Чехословакии.

В сегодняшней Чехословакии, официально именуемой ЧСФР, вновь высоко чтится имя первого президента республики профессора философии Томаша Масарика, который всю свою долгую жизнь следил завету Гуса: «Любить истину, искать истину, защищать истину». Переиздана яркая книга Чапека «Разговоры с Масариком». А Вацлав Гавел воспринимается как прямой продолжатель дела Масарика. И пятого июля, когда Гавел был избран президентом ЧСФР (на этот раз по всем правилам — тайным голосованием депутатов Федерального собрания), ему был сделан символический дар — реставрированный лимузин «Татра-80», изготовленный 55 лет назад для Масарика.

«Русская акция», провозглашенная в свое время Масариком, и повлекла создание Тшебовской гимназии. В ту пору для российских эмигрантов и беженцев в Чехословакии открылось только восемь высших учебных заведений, где преподавали такие светила, как Вернадский, Булгаков, Лосский... В 1923 году, например, правительство Чехословакии выделяло на бесплатное обучение русских студентов и школьников пять миллионов крон ежемесячно. Министерство иностранных дел республики, возглавляемое будущим преемником Масарика Эдуардом Бенешем, так комментировало «русскую акцию»: «Единственная цель, которую при этом преследует правительство, заключается в том, чтобы русский народ по возвращении эмигрантов нашел в них ценных работников на поприще науки, искусства, в культурной и хозяйственной жизни». Эта цель, как мы знаем, достигнута не была, но вовсе не по вине Томаша Масарика, который всей своей деятельностью — и как философ, и как политик — противопоставлял «революционному радикализму» нравственное и культурное самоусовершенствование.

А в Моравской Тшебове, прежде чем воспитывать «ценных работников», надо было просто отогреть, обласкать детей, переживших ужасы гражданской войны и бездомность эмиграции. В майском номере за 1924 год «Бюллетеня педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей», который издавался в Праге, есть бесценная публикация — обзор сочинений тшебовцев (всех возрастов)



На верхнем снимке, который сделан в Моравской Тшебове в середине тридцатых годов, — Платон Васильевич Капецкий и его гимназистки. Внизу на снимке, сделанном не так давно в Праге, — некоторые из них. А крайняя слева — Ирина Зеленкова (Капецкая).

на тему: «Мои воспоминания с 17-го года и до поступления в гимназию». Вот выдержки из этих сочинений:

«Дай Бог никогда не увидеть чехам всего того, что выпало на нашу долю».

«За что вы хотели нас убить в России?»

«Я поняла, что такое революция, когда убили моего милого папу».

«Я ходил в тюрьму, просил не резать папу, а зарезать меня. Они меня прогнали».

«Это было время, когда кто-то всегда кричал «ура», кто-то плакал, а по городу носился трупный запах».

«Днем нас убивали, а под покровом ночи предавали земле. Только она принимала всех. Уходили и чистые и грязные, и белые и красные, успокаивая навсегда свои молодые, но состарившиеся сердца. Души их шли к Престолу Господнему. Он всех рассудит».

«Чека помещалась в доме моих родителей. Когда большие-виков прогнали, я обошла неизвестные комнаты моего родного дома. Я читала надписи расстрелянных, сделанные в последние минуты, нашла вырванную у кого-то челюсть, теплый чулочек грудного ребенка, девичью косу с куском мяса. Самое страшное оказалось в наших сараях. Все они доверху были набиты растерзанными трупами. На стенах погреба кто-то выцарапал последние слова: «Господи прости».

«И поехали мы испытывать различные бедствия и увидеть иностранный народ».

«Господи, спаси и сохрани Россию».

Прошло пять лет. У преподавателя истории Тшебовской гимназии Платона Васильевича Капецкого родилась уже дочь Ирина. В Тшебове открылся детский сад, была поставлена церковь... Но второй такой Тшебовы, такого уголка России ни в одной из стран, в которых нашли пристанище русские эмигранты, не было. И три авторитетные эмигрантские организации, созданные в Праге,— Педагогическое бюро по делам средней и низшей русской школы, Объединение русских учительских организаций и Правление союза русских академических организаций,— выступили инициаторами «Дня русского ребенка». В начале 1929 года они опубликовали обращение «К русским людям», которое гласило:

«Уже одиннадцатый год длится русское рассеяние. С каждым годом все большее число наших детей забывает родной язык и порывает последнюю связь с русской культурой... Нижепоименованные русские организации предлагают ежегодно устраивать повсюду в один и тот же день «День русского ребенка», сбор на помощь русским детям, приурочив его к празднику Благовещения, то есть к 25 марта ст. ст. (7 апреля н. ст.)».

А в «Вестнике» князь П. Долгоруков писал: «Ведь не надо забывать, что сохранение нашей молодежи русской, наряду с предоставлением ей возможности приобретать на Западе полезные знания и навыки для культурной работы в свое время в России, является одной из главнейших задач русской эмиграции. И если ей удастся справиться с этой задачей, то в значительной мере будет осмыслено ее существование и вознаградятся те страдания, которые ей приходится претерпевать».

Был создан Чешско-русский комитет «Дня русского ребенка». И наибольшие средства были собраны, естественно, в самой Чехословакии. Среди пожертвователей были и президент Масарик, и доктор Крамарж, и другие видные общественные деятели страны. А школьный оркестр тшебовцев играл в этот день на городских улицах, и гимназисты продавали игрушки и значки, которыми украсилась вся чешская публика. В детском саду была поставлена сказка, а в гимназии — спектакль, который был дан вечером для городской публики. Перед спектаклем директор гимназии Владимир Николаевич Светозаров, возглавлявший Союз русских педагогов в Чехословакской республике, сказал: «День русского ребенка» сплотит всю русскую эмиграцию в одном национальном порыве дать обездоленным детям возможность встать на ноги и подготовиться к служению своей Великой Родине».

В тот год «День русского ребенка» был проведен в тридцати европейских странах. Наиболее «успешный» сбор — вслед за Чехословакией — был в Латвии. Собранные средства пошли на основание и поддержку двадцати четырех детских учреждений (прежде всего детских садов и библиотек) русского зарубежья в различных странах.

И по сей день, как я лично удостоверился в Праге, русский язык былых воспитанниц Тшебовской гимназии и богаче, и выразительнее, чем у некоторых советских граждан.

данок, вышедших замуж за чехов. Так и не востребованные Великой Родиной тшебовцы принимали подданство Чехословакской республики — тут и становились ценным работниками «на поприще науки, искусства, в культурной и хозяйственной жизни». А музей Тшебовской гимназии сегодня... в Лос-Анджелесе. Надо знать, что русские эмигранты дважды торопливо покидали Чехословакию. Первый раз — в конце тридцатых годов, когда фашистская Германия расчленила страну, а Прага стала именоваться главным городом «Протектората Богемия и Моравия», а второй — в сорок пятом, когда Советская Армия освобождала Чехословакию. Не подумайте только, что перебраться на территорию, освобожденную американцами, спешили люди, занятые сотрудничеством с нацистами. Нет, уходили самые трезвомышлящие, из тех, кто участвовал в междуусобной борьбе за Россию, а остальные встречали советских солдат...

Тшебовская гимназия к тому времени уже давно в полном составе переселилась в Прагу (расставание с Моравской Тшебовой было вызвано невозможностью по-прежнему сохранять «уголок России» в близком соседстве с Судетами, где нацисты чувствовали себя, как дома), и преподаватель русской истории Платон Васильевич Капецкий был среди тех, кто радостно встретил своих соотечественников. Всю войну он слушал сводки «Совинформбюро» и продолжал рисковать (не только местом в гимназии!) на уроках русской истории...

Двенадцатого мая Платона Васильевича пригласили идентифицировать рукопись Достоевского, и домой он не возвратился... А семье пришлось временно потесниться — уступить комнату двум советским офицерам. И до сих пор Ирина (в сорок пятом вместе с последними тшебовцами она доучивалась в своей гимназии, которой предстояло стать средней школой для советских детей) теряется в догадках: что побудило этих двух работников НКВД принять участие в судьбе ее отца? Мне, правда, рассказывали, что на русских балах в Праге не было равных гимназистке Ирине Капецкой... Так или иначе, но Ирина было сказано, что отец ее содержится в пересыльной тюрьме польского города Рацибужа и что начальник этой тюрьмы готов освободить гражданина Чехословакской республики Капецкого, если за ним приедет дочь. В ту же ночь оба «конвоира» доставили Ирину — для нее нашлась солдатская гимнастерка, но ремень, как она ни просила, не дали, по уставу ремень изымается у арестованных — в Рацибужскую тюрьму. Ирина повидала отца, однако освободить его, увы, не удалось — свой человек, начальник тюрьмы, в тот день куда-то отлучился, а к вечеру арестованных нежданно этапировали дальше — в Союз.

Борьба за спасение учителя русской истории Капецкого, в которой участвовал и чехословакий посол в Москве (дядя Ирины, Леонтий Васильевич Капецкий, — именитый филолог, создатель классического чешско-русского словаря — был вхож в правительство), осталась бы скорее всего безрезультатной, не окажись у Платона Васильевича такой дочери, как Ирина. Она и письмо писала «Его превосходительству генералиссимусу Сталину», и, подвигаясь переводчицей, искала участия у командования Советских войск и даже у посла нашего, Зорина. Ей сочувствовали, но помочь никто не мог, пока судьба не свела ее с Николаем Константиновичем Черкасовым, который приехал в Прагу на съемки. Ирина была переводчицей киногруппы и даже сама снялась в эпизоде, а Черкасов, собираясь домой, пообещал: «Я попробую по неофициальным каналам — меня любят...»

И Платон Васильевич, без суда и следствия (так подло четверть века спустя сводились счеты с ротмистром белой гвардии) отправленный в Соликамский лагерь, где урки, которых он увлекал рассказами о русской истории, спасали его от непосильной работы, вдруг был освобожден, слегка подлечен, подкормлен и в мае сорок седьмого возвращен в Прагу. Ирина вспоминает, как до глубокой ночи друзья, знакомые и просто соседи шли к ним в тот день с пакетиками — продукты еще выдавались по карточкам, но каждый нес хлеб, колбасу, масло...

Эта история, как видите, со счастливым концом, другие — печальнее. Советские органы, завладев эмигрантским архивом (судьба знаменитого «Пражского архива» — отдельная тема), бесцеремонно прочесывали «русскую Прагу», невзирая на то, что многие эмигранты уже являлись гражданами независимой Чехословакской республики.

Почти утерянные ныне лица — лица бескорыстных российских интеллигентов — запечатлены на старых фотографиях, украшающих кабинет Иржи Вацека, директора Сла-

вянской библиотеки, в которой собрана бесценная коллекция отдельных изданий и периодики по истории гражданской войны и эмиграции. То — первые сотрудники библиотеки, ее основатели. Один из них, библиограф Илья Голубь, был арестован нацистами и отправлен в Освенцим. Другой — Александр Гайманинский, который до войны заведовал украинским отделением, — был арестован в мае сорок пятого и отправлен в советский лагерь...

В мае сорок пятого библиотека лишилась и двух многолетних читателей — Александра Чхеидзе, романиста и пылкого проповедника учения Николая Федорова, и Николая Раевского. Возвратившись в Москву, я принесся внимательно перечитывать книгу Раевского «Портреты заговорили», изданную в 1974 году в Алма-Ате. В краткой аннотации указывается, что в новой книге «автор подводит итог своим пушкиноведческим исследованиям, начатым за рубежом и законченным на родине». А я выискивал в этой книге робкие полунаимечки, помогавшие восстановить судьбу самого автора, которого в светлый горячий ионийский день тридцать третьего года, когда он собирали белые грибы в дубовом лесу под Прагой, судьба столкнула с внучкой одного из братьев Наталы Николаевны Пушкиной, и та сообщила ему, что в Славакии еще живет племянница Натали, что помогло Раевскому найти в конце концов первый из «заговоривших портретов», но лишь в конце пятидесятых годов, собирая высокогорные растения на тяньшанских перевалах, он ощутил уверенность, что будет опубликован, если расскажет эту историю. И когда в главе «В замке Бродяны» Раевский вспоминает, как, сидя в старинном глубоком кресле, где когда-то сиживала генеральша Ланская, он рассказывает графу Вельсбургу, сыну ее племянницы, о прорыве Буденного к Перекопу, я догадываюсь наконец, что в сорок пятом пушкинисту Раевскому не простили, что он сражался на Перекопе с буденновцами...

Ирик Вацек рассказал мне, как в восемьдесят шестом году Николай Алексеевич Раевский, уже почти лишившийся зрения, получил наконец возможность приехать в Прагу и сразу поспешил в свою библиотеку...

Разыскать в Славянской библиотеке материалы о Тешебовской гимназии мне помогла библиограф Елена Мусатова. Она родилась в Праге, когда русские гимназисты уже оставили Моравскую Тешебову. И ее отец был схвачен в мае сорок пятого. К нему пришел невзрачный солдатик, попросил попить, отец разговорился с соотечественником, и, когда солдатик пригласил его погулять, чтобы продолжить разговор, отец надел пляжу, и они вместе вышли. Кто думал?.. Лишь бабушка развелась и сказала Лениной маме: «Ты его больше не увидишь». Так оно и случилось.

Среди потомков русских эмигрантов в Праге бытует удивительная история Ивана Васильевича Виноградова, участника Ледового похода Деникина, который, терзаясь, что проливал кровь в братоубийственной войне, принял сан. Приведу эту историю со слов Елены Мусатовой, допуская, что иные подробности — уже из жития святого...

Получив благословение пражского архиепископа Сергея, Иван Виноградов, который в свое время в России проучился один год в Духовной академии, поехал доучиваться в Париж и возвратился в Прагу отцом Исаакием. Служил до мая сорок пятого, когда был тоже «приглашен на прогулку» и оказался в Казахстане — в лагере. Но нашелся в органах добрый следователь, который посоветовал святому отцу писать патриарху Алексию, а тот, получив его прошение, обратился к Сталину, и сам Сталин распорядился освободить невинно осужденного. Начальник лагеря тут же выпустил отца Исаакия, но лишил одежду — совершенно голым. Так, обернувшись газетами, он ишел в Алма-Ату, где встал на паперти среди нищих, пока настоятель храма не взял его в клир. Вскоре патриарх Алексий вытребовал отца Исаакия в Москву, чтобы возвести его в епископский сан, но это оказалось не в его власти, и тогда патриарх дал отцу Исаакию приход в Ельце, где он служил до восемьдесят первого года, пока Господь не призвал его к себе.

Этот впечатляющий монстр объявился однажды утром на Староместской площади. Он имел четыре слоновьи ноги и круп старого мерина, который увенчивался куцей кабинкой. А на ягодицах было выведено: «Куда прешься?» Не менее забавные существа, воплотившиеся то в фанере, то в проволоке, разбрелись по окрестным дворикам. И на стенах двориков шла жизнь — стены были разрисованы, как и лица уличных музыкантов, которые в поисках звуков не сторонились и металлических баков для мусора.

Фестиваль «Староместские дворики» воплощал всю сладость и роскошь вновь обретенной свободы. Быть может, мои пражские впечатления поверхностны, но тем не менее уже спустя восемь месяцев после «Бархатной революции» я совершенно не ощущал ни обывательского страха в ожида-

нии завтрашнего дня (рынок здесь — не пугало, хотя решительная приватизация уже влекла немалые трудности), ни агрессивности — даже сдержанной — уличной толпы. Есть уверенность, что былие властители, которым предстоит держать ответ перед обществом, не уйдут от ответа, а мера возмездия определит закон, и только закон. Но в этом — уже осознающем себя правовым! — обществе ничего, увы, не поделаешь, если тот же Билик, которому было предъявлено заявление ТАСС от 21 августа 1968 года, утверждающее, что «партийные и государственные деятели Чехословакской Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословакому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами», не смог «припомнить», чтобы лично он просил этой «неотложной помощи», а в наших архивах куда-то запропастился (!!!) текст этого небезымянного обращения...

В тот год Ирина Капецкая уже носила фамилию мужа — Зеленкова, а муж ее был кандидатом в члены Пражского горкома партии, да и сама Ирина вступила в партию Дубчека. Платон Васильевич Капецкий готов был простить Советской власти свои лагерные мытарства, но не мог смириться с вторжением наших танков в Прагу: «Дураки безмозглы! Опозорили русский народ перед всем миром». Ирина и ее муж были изгнаны из партии и целиком разделили участь людей «Пражской весны». А сын Ирины, Миша, который в шестьдесят восьмом еще был школьником, с тех пор — даже с матерью — по-русски не говорит. В том августе советские танки проехали по всей семье Капецких. Оборвалась научная деятельность и брата отца, Леонтия Васильевича, — академический вахтер однажды встретил его такими словами: «Вы не сердитесь, пан профессор, но мне приказано не пускать Вас в Академию наук. Мне стыдно, и я уйду вместе с Вами — мне тоже здесь больше ничего делать».

В те дни, когда я был в Праге, там состоялась международная конференция «Мирный путь к демократии», в работе которой участвовали и многие советские диссиденты. Их самоотверженная правозащитная деятельность и предопределенная во многом происшедшие в нашем обществе изменения. Но если чехословакские диссиденты, как говорил на открытии конференции Вацлав Гавел, как раз и ведут сегодня свою страну к подлинной демократии, то Владимиру Буковскому, как и многим еще, до сих пор не возвращено советское гражданство, и он встречался со своими московскими единомышленниками в Праге.

Прилетел из Нью-Йорка и Владимир Дремлюга — один из той великолепной семерки, которая в августе шестьдесят восьмого вышла на Красную площадь с протестом против вторжения наших войск в Чехословакию. Дремлюга принял Дубчек, его осаждали мои чехословакские коллеги, но мы укрылись в холле фешенебельного отеля «Алкрон» и вдоволь наговорились.

Когда в шестьдесят восьмом Дремлюгу и его друзей увозили с Красной площади в каталажку, на плоскости Свердлова Володя ухитрился выскочить из машины и, отбежав на несколько метров, крикнул: «Свободу Дубчеку!». Но затеряться в толпе не захотел — ждал суда, где был намерен сказать публично все, что думал о партии и правительстве. А успел сказать лишь, что всю сознательную жизнь стремился стать гражданином, то есть человеком, который свободно и гордо выражает свои мысли, — но тут-то его и прервали... После освобождения, а ему влезли три года и еще три добавили в лагере, Дремлюга добился, чтобы ему дали возможность уехать в Америку, где пожелал жить в собственном доме, он сделал этот дом своими руками и вошел во вкус — теперь у него много домов. Американский миллионер Дремлюга, убежденный, что чем богаче человек, тем богаче и государство, намеревается открыть филиал своей фирмы в Праге. А почему не в Москве? Так Володя до сих пор не волен даже навестить своих московских друзей — дважды обращался за советской визой и оба раза получал отказ...

Максимилиан  
ВОЛОШИН

## РОССИЯ РАСПЯТАЯ



Поэт, художник, искусствовед и литературный критик, переводчик и мемуарист, Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) был еще и лектором. Впервые он выступил в этой роли в январе 1902 года в Париже, прочитав свой «Опыт переоценки художественного значения Н. А. Некрасова и А. К. Толстого» слушателям Высшей русской школы социальных наук. Начинаясь парадоксами лекция произвела фурор: прения по ней шли три недели! Таким же, а порой и более шумным успехом пользовались и другие публичные выступления Волошина. Лекция «Пути Эроса», прочитанная 27 февраля 1907 г. в Литературно-художественном кружке в Москве, породила в публике подозрения о существовании некоего «гнусного эротического сообщества». Вспоминая об этой лекции Волошина, Ходасевич назвал его великим любителем и мастером бесить людей. Ажиотаж вызвала лекция «Аполлон и мышь», прочитанная Волошиным в марте 1909 г. в Петербурге и в Москве. В январе 1911 г. поэт читает в ЛХК лекцию «Новые течения во французском экзотизме», а в Нижнем Новгороде — «Братья Карамазовы» и «Эдип». Лекция Волошина «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», прозвучавшая в зале Политехнического музея 12 февраля 1913 г., вызвала сотни (!) откликов (включая стихи и шаржи) в газетах и журналах того времени.

Лекция «Россия распятая», представлявшая свод волошинских стихов о революции, создавалась в несколько приемов. В декабре 1918 г. поэт читал ее в Севастополе; 16 марта 1919 г. эту лекцию анонсировал «Одесский листок». В воспоминаниях о генерале Н. А. Марксе (спасенном им от белогвардейского самосуда) Волошин упоминал, что читал «Россию распятую» летом 1919 г. в Екатеринодаре и в Ростове-на-Дону. По мере возникновения новых стихов лекция расширялась, и окончательный текст, предлагаемый читателям, датирован 17 мая 1920 г.

Напомним, что Крым в то время находился во власти генерала Врангеля, и Волошин при чтении демонстрировал не только смелость мысли, но и человеческое мужество: целый ряд его высказываний не мог понравиться идеологам Добровольческой армии. Еще 16 мая 1919 г. Волошин писал И. А. Бунину, что живет «с репутацией большевика», а 9 сентября 1920 г. прямо извещал А. Н. Иванову, что

«добровольческая контрразведка грозилась» его повесить. В одной из своих «Автобиографий» Волошин писал: «...Так как темой моей является Россия во всем ее историческом единстве, так как дух партийности мне ненавистен, так как всякую борьбу я не могу рассматривать иначе, как момент духовного единства борющихся врагов и их сотрудничества в едином деле, то отсюда вытекают следующие особенности литературной судьбы моих последних стихотворений: у меня есть стихи о революции, которые одинаково нравились и красным, и белым. Я знаю, например, что мое стихотворение «Русская Революция» было названо лучшей характеристикой революции двумя идентичными вождями противоположных лагерей (имена их умолчу).

...Эти явления — моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие. Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой...

С окончательным установлением Советской власти в Крыму текст лекции стал пороховым зарядом в Доме Поэта — и чем дальше, тем более опасным. Обнаружение его (так же, впрочем, как и многих других статей и стихов Волошина) могло окончиться трагически. Но поэт всегда был готов жизнью ответить за свои убеждения...

После его смерти в 1932 году эту эстафету приняла его жена Мария Степановна Волошина (1887—1976), бессменно хранившая архив мужа и в годы сталинского террора, и в годы гитлеровской оккупации Крыма. И вот теперь Волошин говорит с нами из нашего прошлого, из огня гражданской войны, как современник...

Только к сегодняшнему дню все стихотворения Максимилиана Волошина из лекции «Россия распятая» опубликованы в Советском Союзе: «Избранные стихотворения» (СР, 1988); «Средоточье всех путей...» (МР, 1989); публикации в журналах «Новый мир», № 2, 1988, «Родник», № 6, 1988, «Дружба народов», № 9, 1988, «Юность», № 10, 1988, и другие. Поэтому они опущены в настоящей публикации.

Владимир КУПЧЕНКО, Захар ДАВЫДОВ

Вам предстоит сегодня выслушатьцикл моих стихов о России. Это стихи, написанные во время Революции и отвечающие на текущие политические события. Но остерегусь называть мои стихи политическими. В наше время это понятие несет в себе нежелательный смысл.

Прилагательное «политический» подразумевает причастность к партии, исповедание тех или иных политических убеждений. Нас воспитывали на том, что долг каждого — принадлежать к определенной политической партии, что сознательный гражданин обязан иметь твердые политические убеждения.

Для правильных отправлений парламентарного строя и для политических выборов это действительно необходимо. На дне каждого политического убеждения заложен элемент личного желания или интереса, который разработан в программу, а сей придан характер обязательной всеобщности.

Один убежден в том, что он должен каждый день обедать и настаивает на одинаковых правах всех в этой области, другой убежден в своем праве иметь дом, капитал и много земли, но распространяет подобное право лишь на немногих ему подобных, третий хочет, чтобы все были чернорабочими, но имели бы время заниматься умственным трудом и искусствами в свободное время. Может быть, все эти разнородные желания, возведенные в чин убеждений, и утряслись бы как-нибудь с течением времени, но политические борцы в пылу борьбы слишком легко рассекают вопросы на «да» и «нет» и, обращаясь к мимо идущему, восклицают: «Или с нами, или против нас!», совершенно не считаясь с тем, что этот встречный может быть ни за тех, ни за других, а иногда и за тех, и за других, и что по совести его нельзя упрекнуть ни в том, ни в другом. В первом случае он будет просто незаинтересованным лицом, а во втором он окажется человеком, нашедшим синтез там, где другие видели безвыходные антагонии; и последнее вовсе не потребует даже сверхъестественной широты взглядов, т. к. большинство политических альтернатив отнюдь не безвыходно и самые непримиримые партии прекрасно уживаются при нормальном и крепком государственном строе и даже художественно дополняют друг друга.

Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений хотений и мнений, называемых политикой.

Но понятия современности и истории отнюдь не покрываются словом политика. Политика это только очень популярный и очень бесполковый подход к современности. Но следует прибавить, что умный подход к современности весьма труден и очень редок.

Если для лирического произведения поэту достаточно одной силы чувства и яркости впечатления, то для стихотворения, написанного на темы текущей современности, этого отнюдь не достаточно.

Необходимо осознание совершающегося. Каждый жест современности должен быть почувствован и понят в связи с действием переживаемого акта, а каждый акт — в связи с развитием всей трагедии.

И актер, и зритель могут быть участниками политического действия, ничего не зная о содержании последующего акта и не предчувствуя финала трагедии, поэт же должен быть участником замыслов самого драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развертывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очищительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии. Гибель героя для него так же драгоценна, как его торжество.

Поэтому положение поэта в современном ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических партий.

Поэт, отзывающийся на современность, должен совмещать в себе два противоположных качества: с одной стороны аналитический ум, для которого каждая новая группировка политических обстоятельств является математической задачей, решение которой он должен найти независимо от того, будет ли оно согласовываться с его желаниями и убеждениями, с другой же стороны — глубокую религиозную веру в предназначность своего народа и расы. Потому что у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами — представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества. Первое — это логика развития драматического действия, которой подчиняется сам драматург, а второе — это причастность творческому замыслу Драматурга.

Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Художественное слово и особенно слово

ритмическое не выносит той условной, поверхностной, газетной правды, разговорной правды, в которой изживается нами каждый текущий миг. Для того, чтобы увидеть текущую современность в связи с общими течениями истории, надо суметь отойти от нее на известное расстояние. Обычно оно дается временем. Но, чтобы найти соответствуещую перспективную точку зрения теперь же — в текущий миг, поэт должен найти ее в своем мировоззрении, в своем представлении о ходе и развитии мировой трагедии.

Вот требования, которые мы предъявляем к поэту, который берется писать о современности. Отвечают ли мои стихи о России этим требованиям, хотя бы в малой мере, судить не мне, а вам. Но предполагаю, что вам небезынтересно будет, если я в виде комментарий и предпосылок к моим стихам расскажу о некоторых впечатлениях и о том порядке мыслей, которые позволяли мне взглянуть на текущую революционную действительность до известной степени со стороны.

Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни. Первого марта Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова<sup>1</sup>. И выставка открылась.

На выставке было много народа. Собрались скорее, чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. И едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка — последний смотр уходящим помесничьим идиллиям русской жизни.

Ко мне подошел известный московский адвокат<sup>2</sup> и попросил составить взвывание о памятниках искусства, отдающих под охрану народа. Когда взвывание было написано и скреплено многими подписями, он отвел меня в сторону:

— «Хотите, покажу вам нечто весьма занимательное... В другое время не увидите. Только чур никому не говорить. Прихватим только Грабаря<sup>3</sup>... Это тут рядом через дому...».

Мы перешли через улицу — это было в Салтыковском переулке — и вошли во двор серого, мрачного, запущенного двухэтажного купеческого особняка, отделенного от тротуара забором и палисадником. Поднялись по черной лестнице, прикрытой деревянной галереей, и позвонили у двери, крытой драной клеенкой, из-под которой торчала мочала.

Нам отворил хозяин в сапогах бутылками, в жилете, с рубахой на выхлопку. Это был высокий старик с густыми седыми бровями, с длинной зеленою бородой, с бледно-голубыми светлыми, детскими, но в то же время жуткими — «распутинскими» глазами<sup>4</sup>.

— Грабарь... это что историю искусства написал. Цитал... Волошин? Не цитал, не знаю... — говорил он, сильно цокая, вводя нас в комнаты.

Квартира, в которую мы вошли, сбивала с толку своими странностями. Первая комната носила характер купеческой старовозетной гостиной... Мебель в чехлах, пыльный кокон обтянутой коленкором люстры, портреты, затянутые марлей от мух, непромытые стекла, — все носило характер странного запустения. Только один угол комнаты, где стоял круглый стол, покрытый красной клетчатой скатертью, с неугасимым самоваром, был жилым. Дальше вел лабиринт комнат, коридоров, перегородок, где во всех углах можно было усмотреть логова — неприкрытые тюфяки с красными подушками и со смятыми лоскутчатыми одеялами.

И посреди всей этой странной, почти нищенской обстановки были собраны такие сокровища, что Грабарь так и ахнул:

— Да здесь их на миллионы собрано... куда вы нас завели?

— Тс... я вам хотел сюрприз сделать. Это один из моих клиентов. Это беспоповская молельня. Он сам удивительный знаток иконописи. Тут и он, и его отец, и дед из рода в род собирали. Вы с ним поговорите-ка об иконах, — прошептал адвокат.

По всем стенам и перегородкам, разделявшим комнаты, сверху донизу, во много рядов были развесаны иконы. Все это были древние драгоценные иконы цвета слоновой кости, киновари и золота, новгородского, московского и строгановского письма: чины, Спасы, Успенья...

— Да мне всю мою «Историю живописи» заново переделывать придется,— воскликнул Грабарь, когда мы с тоненькими восковыми свечками, взбираясь по приставным лестницам, рассматривали их по темным углам. Хозин действительно оказался знатоком и у них с Грабарем тотчас же разгорелся горячий разговор, и тот, воодушевляясь, вел нас по более укромным закоулкам, хвастаясь потаскными сокровищами. Только мимо некоторых он проходил, роняя с небрежностью:

«Ну, эти смотреть не стоит — это совсем новенькие: времена Алексея Михайловича...»<sup>5</sup>.

При этом в тоне его слышалось и конфузливо извинение, как у владельца галерей старых мастеров, который торопится поскорее провести знатока-посетителя мимо случайно затесавшегося портрета кисти современного плохонького живописца.

Это глубокое пренебрежение к искусству времен первых Романовых, как к непростительной новизне, наивно высказанное в тот самый день, которым заключалась история династии, было поразительно. Я не преувеличу, если скажу, что изо всех впечатлений, полученных в дни февральской Революции, оно было самым глубоким и плодотворным. Оно сразу создавало историческую перспективу, отодвигая целое трехсотлетие русской истории в глубину и позволяя осознать всю историю дома Романовых и Петербургский период, как отживший исторический эпизод.

Следующее, еще более глубокое впечатление пришло через несколько дней.

На Красной площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции<sup>6</sup>.

Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группа демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций».

Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись на панертах и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели дневнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее — человеке Божьем.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзлось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, простиравшей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всех Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени.

Когда я возвращался домой, потрясенный понятым и пророченным, в уме слагались строфы первого стихотворения, внушенного мне революцией. Вот оно в окончательной своей форме:

«Москва»

[...]

Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода, была найдена: этой точкой зрения была старая Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько вразрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших мне друзьях они возбуждали глубочайшее негодование.

В эти же дни — в первые числа марта — среди русских писателей производилась анкета на тему: Республика или Монархия? У меня нет под руками точного текста моего ответа, в свое время появившегося в упомянутой брошюре, но смысл его был таков:

Каждое государство вырабатывает себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат с чужого плеча, никогда не придется нам по фигуре. Для того, чтобы совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный исторический опыт, которого у нее нет совершенно, благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдет через ряд социальных экспериментов, оттягивая из как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически, и исторически желательно для нее. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернется на свои старые исторические

пути, то есть к монархии: видоизмененной и усовершенствованной, но едва ли в сторону парламентаризма.

Должен прибавить, что этот прогностик был мне дан в те дни, когда Ленин еще не успел вернуться в Россию и угроза большевизма еще не намечалась.

Первая часть моих тогдашних предположений осуществилась, в осуществлении второй я не сомневаюсь.

Эпоха Временного правительства психологически была самым тяжелым временем Революции. Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. Между тем, обреченная на гибель русская интеллигенция торжествовала Революцию, как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были воплощением и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени — были нестерпимою ложью. Правда — страшная, но зато подлинная, обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская Революция выявила свой настоящий лик, тайно назревший с первого дня ее, но для всех неожиданный.

Как это случилось?

Недоразумение началось значительно раньше. Если нам удастся отрешиться от круга интеллигентских предрассудков, в котором выросли все мы — родившиеся во вторую половину XIX века, то мы должны признать, что главной чертой русского самодержавия была его революционность: в России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революцию сверху, стараясь административным путем перекинуть Россию на несколько столетий вперед, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насилиственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского Приказа. Так было во времена Грозного, так было во времена Петра.

Но революционное самодержавие нуждалось в кадрах помощников и всегда стремилось создать для своих нужд служилое сословие: то Опричнину, то дворянство. Петр, наскоро сколотив дворянство для своих личных текущих нужд, в то же время озабочился созданием другого, более устойчивого класса, который мог бы впоследствии обслуживать революционное самодержавие. Для этого им был заброшен в русское общество невод Табели о рангах и его улов создал разночинцев. Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя и выкристаллизовалась русская интеллигенция.

Но XIX век принес с собою вырождение династии Романовых, — фамилия, которая в сущности изжила свое цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Гольштейнского, Вюртембергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николая I и Александра III все же более примикивали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первого самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая как раз созрела к тому времени.

Таким образом, тот именно класс народа, который был вызван к жизни самой монархией для государственной работы, был ею же отвергнут, признан опасным, подозрительным и нежелательным. В государстве, всегда испытывавшем нужду в людях, образовался тип «лишних людей». И в их рядах вошли, естественно, все наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени.

Таким образом, правительство, перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя. В этом ключ к истории русского общества второй половины XIX века. И все мы — поскольку мы причастны духовно русской интеллигенции — все мы несем в себе последствия этой ссоры и недоразумения этого разлада.

Когда наступила разруха семнадцатого года, революционная интеллигенция принуждена была убедиться в том, что

она плоть от плоти, кость от костей русской монархии и что, свергнув ее, она подписала этим самым свой собственный приговор. Т. к. бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием. Но раз сами стены рушились — она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать. Строить новые стены пришли другие, незванные, а она осталась в стороне.

В сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действия был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра. Престол петербургской империи был склонен Петром на фигуру и на весь <рост> медного исполина. Его занимали карлики.

Вы знаете, конечно, что спиритические явления основаны на том, что медиум, спораживая свою волю и гася сознание своей личности, создает внутри себя духовную пустоту и тогда те духи, те сущности, которые всегда теснятся и кишают вокруг человека, устремляются в распахнутые двери и начинают творить бессмыслицами и бесполезные чудеса спиритических сеансов. Духи эти, разумеется, духи не высокого полета: духи-звери, духи-идиоты, духи — самозванцы, обманщики, шарлатаны. Это же происходило в последние годы старого режима, когда в пустоту державного средоточия ринулись Распутин, Ильиноры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего дворца всенародным бессовским шабашем семнадцатого года, после которого Петербург сразу опустел и вымер согласно древнему заклятию последней московской царицы: «Петербурху быть пусту!»<sup>7</sup>.

Эту сторону Петербурга, или вернее Петрограда, потому что перменой имени было отмечено начало рокового спиритического сеанса, я пытался выявить в следующем стихотворении:

«Петроград»  
[...]

Но в то время, когда в Петербурге шли эти бесы пляски, Россия, как государство, еще не имела права заниматься исключительно своими внутренними делами: вплетенная в напряженную борьбу Великой Европейской войны, которую она сама же отчасти и вызвала, она не была предоставлена самой себе. Тут-то и обнаружилась вся государственная беспочвенность русской интелигенции. Она не смогла убедить народ в том, что он принимает из рук царского правительства государственное наследство со всеми долгами и историческими обязательствами, — не смогла только потому, что вней самой это сознание было недостаточно глубоко. Мне памятно, как в марте на собрании московских литераторов Валерий Брюсов, предлагая резолюцию, говорил: «Мы должны сказать Франции, Бельгии и Англии: Франция! Бельгия! Англия! Не рассчитывайте больше на нашу помощь — боритесь сами за свою свободу, потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию»..

Поэтому я далек от мысли возлагать всю ответственность за Брестский мир на одних большевиков. Для них он был только ловким политическим ходом, и история показала, что они были правы. Но это нисколько не снимает тяжелой моральной ответственности со всего русского общества, которое несет теперь на себе все заслуженные последствия его. В день начала Брестских переговоров я написал стихотворение

«Брестский мир»  
[...]

Эти слова относятся к определенному историческому моменту и вызваны порывом негодования. В них нет необходимости исторической перспективы и понимания. Потому что в эти дни Россия являла зрелице беспримерного бескорыстия: не сознавая своей ответственности перед союзниками, сю отчасти вовлеченными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в ее имперский состав — к Польше, Украине, Грузии, Финляндии — и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собирающимся в течение веков, неправедным, как ей казалось, путем, земли, права, сокровища. С этой точки зрения она казалась уже не одержимой, а юродивой, и деяния ее рождали не негодование, а скорбное умиление и благоговение. Это чувство внушило мне стихотворение:

«Святая Русь»  
[...]

Когда в октябре 17-го года с русской Революции спала интелигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отживших эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвые; казалось, навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью.

Прежде всего простили черты Разиновщины и Пугачевщины и вспомнилось старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барбароссе, заключен внутри горы и ждет знака, когда ему вновь «судить русскую землю». Иногда его встречают на берегу Каспийского моря и тогда он расспрашивает: продолжают ли его предавать анафеме, не начали ли уже в церквях зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолетки и самоплавки»?

Эти вопросы, столь напоминающие совершившееся теперь, и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землей темными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму

«Стенькин суд»

[...]

Наравне с Разиновщиной еще более жуткой загадкой ближайшего, может быть завтрашнего, дня, вставала Самозванщина на фоне Смутного времени. Мне показалась заманчивой и благодарной идея написать все Смутное время, как деяния одного и того же лица, много раз убиваемого, но неизбежно воскресающего, неистребимого, умножающегося, как темная сила в былинках о том, как перевелись витязи на святой Руси, как единое царствование зарезанного Дмитрия-царевича, начинавшегося его убийством в Угличе и кончавшегося казнью другого младенца, царевича Ивана — сына Марии, повешенного у Серпуховских ворот в Москве в 1613 г. в царствование первого из Романовых.

«Дмитрий император»

[...]

Все эти стихи были написаны в последние месяцы 1917 года. Между тем волна всесобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые формы. Началось разложение Черноморского флота. Когда я в первый раз при большевиках подъезжал из Коктебеля к Феодосии, под самым городом меня встретил мальчиком, посмотрел на меня, свистнул и радостно сообщил: «А сегодня буржуев резать будут!» Это меня настолько заинтересовало, что, приехав на два дня, я остался в городе полтора месяца. Феодосия представляла в эти дни единственное зрелице: сюда опоражнивалась Трапезундская армия, сюда со всех берегов Черноморья стремились транспорты с войсками и беженцами, как в единственный открытый порт.

Наш древний град — богоспасаем —  
Ему же имя «Дар богов» —  
В те дни стал социальным раем:  
С анатолийских берегов  
Солдаты навезли товару  
И бойко продавали тут  
Орехи — сто рублей за пуд,  
Турчанок — пятьдесят за пару.  
На том же рынке, где рабов  
Славянских продавал татарин.  
Наш мир культурой не состарен  
И торги рабами вечно нов.  
Хмельные от лихой свободы  
В те дни спасались в нем народы:  
Затравленные пароходы  
Врывались в порт, тушили свет,  
Причаливали, швартовались,  
Спускали сходни, выгружались  
И шли захватывать Совет.  
Пестрели бурки и халаты,  
И пулометы, и штыки,  
Румынские большевики  
И трапезундские солдаты,  
«Семерки», «Тройки», «Румчород»<sup>8</sup>,  
И «Центрслуг», и «Центрфлот»,  
Полки одесских анархистов  
И анархистов-коммунистов,  
И анархистов-террористов —  
Специалистов из громил.  
В те дни понятия так смешались,  
Что Господа буржуй молил,  
Чтобы Совет их охранил,  
Чтобы у власти продержались  
Остатки большевицких сил...

Положение было у нас настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией порядка. Во главе Совета стоял портовый рабочий — зверь зверем, — но когда пьяные матросы с «Фидониси» потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожиданной государственной мудрости: «Здесь буржуи мои и никому чужим их резать не позволю», установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйствственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфоломеевской ночи.

В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собою тяжело раненных военнопленных. Совет устроил банкет — не военнопленным, умиравшим от голода, а турецкому посольству. Произнисились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили: «Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи... Социальная республика... Да здравствует Третий Интернационал!»

После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и теми же словами:

«Мы видим, слышим, понимаем... и обо всем, что видели и слышали с отменным чувством передадим Его Величеству — Султану».

Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное возвзвание: «Товарищи! Анархия в опасности: спасайте анархию!»

Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление: «Революционные танц-классы для пролетариата. Со спиртными напитками».

Анархия была раздавлена. Но помню еще одну запоздалую партию анархистов, прибывшую из Одессы, уже занятой немцами. Они выстроились на площади с огромным черным знаменем, на котором было написано: «Анархисты-Тerrorисты». Вид они имели грозный, вооружены до зубов, каждый с двумя винтовками, с ручными гранатами у пояса. Одна знакомая по какой-то совершенно непонятной интуиции подошла к правофланговому и спросила: «Sind Sie Deutsche?» — «О, ja, ja! Wir sind die Treuende!» \*

Через несколько дней германские войска заняли город.

Таковы были комические и бытовые гримасы тех дней, но они только углубляли трагические впечатления и патетические переживания тех дней, которые я старался передать в стихотворении:

«Молитва о городе»

[...]

Среди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое: это тип красногвардейца и тип матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в 19-м году, при втором нашествии большевиков, но наблюдены и задуманы они были тою весной.

«Красногвардеец». «Матрос».

«Спекулянт». «На вокзале»

[...]

И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России, в ее предназначность:

«Из бездны». «Родина»

[...]

Память неволько искала аналогий судьбам России в истории падений и разрушений других империй и останавливалась, конечно, на Риме.

В половине шестого века, одного из самых темных и печальных веков, которые переживало человечество, был один изумительный по смыслу и значению момент. Рим, уже не однажды разграбленный варварами, но еще сохранивший нетронутыми свои стены, здания и храмы, был на сорок дней совершенно оставлен своим народонаселением. Это было после вторичного взятия Рима готским королем Тотией. Это было моментом перелома истории Рима. До этого он управлялся последними остатками сенаторских фамилий. Во время этого бегства они исчезают бесследно и, когда население Рима возвращается на свои пепелища, то власть естественно переходит в руки римского епископа — папы. Эти сорок дней безлюдья и запустенья отделяют императорской Рим от Рима папского, который постепенно вырастает из развалин и вновь подымается до мирового владычества, на этот раз духовного.

\* «Вы немец?» — «О, да, да! Настоящие немцы!» (нем.)

Избрание Патриарха <sup>9</sup> в октябрьские дни в Москве, когда окончательно были смыты и унесены последние остатки царской власти, невольно приводило сознание к этой исторической аналогии и внушило идею стихотворения:

«Пресуществление»

[...]

В русской революции прежде всего поражает ее нелепость:

Социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса.

Потому что нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского мильярдера.

Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачаточном состоянии, то с началом Революции он перестал существовать совершенно, т. к. всякая фабричная промышленность у нас прекратилась.

Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией. Совершенно ясно, что тут дело идет вовсе не об переделе земель, а об нормальной колонизации великой русской и великой сибирской низменности, колонизации, которая идет уже в течение тысячелетий, которой исчерпывается вся русская история и которую нельзя разрешить одним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель. С другой же стороны, дело идет о переведении сельского хозяйства на более высокую и интенсивную степень культуры, что и тоже неразрешимо революционным путем.

В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем, именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения.

На наших глазах совершается великий исторический абсурд.

Но... Credo, quia absurdum! \* В этом абсурде мы находим указание на провиденциальные пути России.

Темны и неисповедимы

Твои последние пути

И не допустят с них сойти

Сторожевые серафимы.

Социальная революция грозит Европе, а не нам. В Европе столетиями подготовлены горючие и взрывчатые материалы для катастрофы. Из нее нет выхода, и она может окончиться полной и безвозвратной гибелью всей европейской культуры.

В психологическом отношении Россия представляет собою единственный выход из того тупика, который окончательно определился и замкнулся во время Европейской войны.

Как повальные болезни — оспа, дифтерит, холера, предотвращаются или ослабляются предохранительными прививками, так Россия — социально наиболее здоровая из европейских стран — совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революции, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезни в Европе. Этот кризис, вероятно, наступит там очень скоро, будет ужасен, но благодаря России европейская культура, быть может, переживет его благополучно.

С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такою полнотой веры, что сами удостаивались получить знаки распятия на руках и на ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такой полнотой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что, сама не будучи распята, приняла свою плотью стигмы социальной революции. Русская Революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание.

«Русская Революция»

[...]

Мы вправе рассматривать совершающуюся революцию,

\* Верю, потому что невероятно (лат.)

как одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении.

Особая предназначность России подтверждается также той охраняющей силой, которая бдит над нею в самые тяжелые эпохи ее истории и спасает ее, вопреки ее собственным намерениям и устремлениям.

Лишь только чужеземная рука касается ее жизненных средоточий, немедленно рождается неожиданный ответный удар, который редко исходит из сознательной воли самого народа, а является разрядом каких-то стихийных, охраняющих ее сил. Татары, поляки, Карл XII, Наполеон — все в свое время испытали его. Так те, кто прикасался к библейскому Ковчегу Завета, бывали поражены ударом молнии.

Последней испытала его Германия. Большевизм под этим углом зрения является нервным разрядом, защитившим Россию от германского завоевания. Явление тем более поразительное и грозное, что Германия сама совершенно сознательно ввела эти трихины в организм Российской империи.

Россия с изумительной приспособляемостью вынашивает в себе смертельные эссеции ядов, бактерий и молний. Союзники поступают благородно, когда остерегаются вмешиваться во внутренние дела России и не хотят принимать активного участия в нашей гражданской войне. Англичане в тысячу раз правы, когда, боясь прикоснуться к нам, протягивают нам пищу и припасы на конце шеста, как прокаженным.

Я был в прошлом году в Одессе, когда французы, неосторожно прикоснувшись к больному органу, немедленно почувствовали признаки заразы в своем теле и принуждены были позорно бежать, нарушая все свои обещания, кидая снаряды, танки, амуницию, припасы, и потом долго лечились, выжигая и вырезая зараженные места<sup>10</sup>.

В эти дни сложились стихи, которые хотелось им крикнуть, как предупреждение:

«Неопалимая купина»  
[...]

Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий: с одной стороны, безгранична, анархическая свобода личности и духа, выражаясь во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же — необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдерживать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением Империи.

С одной стороны — Толстой, Кропоткин, Бакунин, с другой — Грозный, Петр, Аракчеев.

Ни от того, ни от другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнепорные стены тигеля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой.

Равнодействующей этих двух сил для России было самодержавие. Первый политический акт русского народа — призвание варягов — символически определяет всю историю русской государственности: для сохранения своей внутренней свободы народ отказывается от политических прав в пользу приглашенных со стороны наемных правителей, оставляя за собой право критики и невмешательства.

Все формы народоправства создают в частной жизни тяжелый и подробный контроль общества над каждым отдельным его членом, который совершенно несовместим с русским анархическим индивидуализмом. При монархии Россия пользовалась той политикой свободы частной жизни, которой не знала ни одна из европейских стран. Потому что политическая свобода всегда возмещается ущербом личной свободы — связью партийной и общественной.

При старом режиме запрещенным древом познания добра и зла была политика. Теперь, за время революции, пресытившись вкусом этого вожделенного плода, мы должны сознаться, что нам не столько нужна свобода политических действий, сколько свобода от политических условий. Это мы показали наглядно, предоставив во время революции все более ответственные посты и видные места представителям других рас, государственно связанных с нами, но обладающими иным политическим темпераментом.

Поэтому нам нечего пенять на евреев, которые как народ, более нас склонный к политической суете, заняли и будут занимать первенствующее положение в русской государ-

ственной смуте и в социальных экспериментах, которым будет подвергаться Россия.

Насколько путь самодержавия является естественным уклоном государственного порядка России, видно на примере большевиков. Являясь носителями социалистической идеологии и борцами за крайнюю коммунистическую программу, они прежде всего постарались ускорить падение России в ту пропасть, над которой она уже висела. Это им удалось и они остались господами положения. Тогда, обернувшись сами против тех анархических сил, которыми они пользовались до тех пор, они стали строить коммунистическое государство.

Но только лишь они принялись за созидательную работу, как, против их воли, против собственной идеологии и программы, их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой империи. Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной: выборное начало уступило место централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское бумагопроизводство удешевилось, взятки и подкупность возросли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государственным мятежом и стачечников стали беспощадно расстреливать, на что далеко не всегда решалось царское правительство, армия была восстановлена, дисциплина обновлена и, в связи с этим, наметились исконные пути московских царей — собирателей Земли Русской, причем принципы Интернационала и зовы к объединению пролетариата всех стран начали служить только к более легкому объединению расплодившихся областей Русской империи.

Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же, как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же, как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем, так же, как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским Приказом и Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет никакой существенной разницы. Отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как «самодержавие, православие и народность» недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не сможем дать себе отчета, в каком веке и при каком режиме мы живем.

Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и об неизбежности государственных путей России, о том ужасе, который представляет собою русская история во все века. Сквозь дыбу и застенки, сквозь молодецкую работу заплечных мастеров, сквозь хирургические опыты гениальных операторов выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства в церковь, во взысканный Град Божий, в наш сказочный Китеж — в Град Невидимый — скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях.

Воистину вся Русь — это Неопалимая Купина, горящая и несгорающая сквозь все века своей мученической истории.

«Китеж»  
[...]

Пламя, в котором мы горим сейчас, — это пламя Гражданской войны. Кто они — эти беспощадно борящиеся враги? Пролетарии и буржуи? Но мы знаем, что это только маскарадные псевдонимы, под которыми ничего не скрывается. Каковы же их подлинные имена? Что разделяет их? На это я пытался дать ответ в стихотворении:

«Гражданская война»

[...]

Молитва поэта во времена гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев.

Первоначальный и основной знак братства — это братство Каина и Авеля. Братобойство лежит в самой сущности братства и является следствием ревности к Богу, ревности к своей правде. Ведь то, что проявляется войною и ненавистью здесь, на земле, с духовной перспективы является высшим слиянием.

Мир строится на равновесиях. Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение и гибель одной из партий грозит провалом и разрушением всему зданию.

Гражданская война говорит только о том, что своды русского царства строятся высоко и крепко, но что точка взаимной опоры еще не найдена. Вспомним, как вдохновенные до дерзости своды храма святой Софии трижды рушились прежде, чем их удалось связать наверху, но раз связанные, они стоят века, несмотря на все землетрясения, потрясавшие Царьград.

Один из обычных оптических обманов людей, безумных политикой, в том, что они думают, что от победы той или иной стороны зависит будущее. На самом же деле будущее никогда не зависит от победы принципа, т. к. партии, сами того не замечая, в пыле борьбы обмениваются лозунгами и программами, как Гамлет во время дуэли обменивается шпагой с Лаэртом. Борьба уподобляет противников друг другу, согласно основному логическому закону тождества противоположностей.

Большевики принимают от добровольцев лозунг «За единую Россию» и, в случае своей победы, поведут ее к единодержавию. В случае воинной победы добровольцев России все же придется изгнать большевизм до последнего волокна.

Большевизм нельзя победить одной силой оружия, от бесноватости нельзя исцелиться путем хирургическим. Если Москва и Петербург будут завоеваны — он уйдет внутрь — в подполье. Развавленный силой, он будет принимать только новые формы, вспыхивать в новом месте и с новой силой.

Великая русская равнина — исконная страна бесноватости. Отсюда в древности или в Греции оргические культуры и дionисийские поступления; здесь с незапамятных времен бродит хмель безумия.

Свойство бесов — дробление и множественность.

— «Имя мne — легион!» отвечает бес на вопрос об имени. Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а стадо увлекает пастухов вместе с собою в бездну.

Перегонять бесов из человека в свинью, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека — это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей Русскую землю.

«Русь глухонемая»

[...]

Какое же конкретное историческое будущее ожидает Россию, независимо от исхода борьбы раздирающих ее партий?

Это будущее определяется не внутренними, а внешними обстоятельствами.

С половины XV века судьбы Восточной Европы определялись нависшей над христианским миром угрозой турецкой опасности. Возникновение Турецкой империи создало на востоке два щита: Австрои и Россию. Эти два конгломерата стран и народов сплавились ее огнем.

Первое осознание своей политической миссии возникло в Москве немедленно после падения Византии — и Русь Ивана III, только что высвободившаяся из-под татарского ига, без всякого перерыва стала готовиться к пятивековой перемежающейся борьбе с Турцией, наметив себе целью Царьград и проливы.

То, что сила, сцепившая разнокалиберную лоскунную империю Габсбургов в единое целое, лежала только в турецкой опасности, видно из того, что Австроия окончила свое существование не только в один год, но в один месяц с Турцией.

Факт падения Турции сопровождался в России тем же расцеплением государственных областей, что и в Австроии: самостоятельность Украины, отделение Грузии — двух стран, последних, которых мусульманская угроза толкнула отдаваться добровольно под защиту России, является характерным симптомом этого же порядка.

Австроия распалась безвозвратно, а если у нас есть надежда на то, что самостоятельность русских окраин будет преодолена, то потому только, что перед Европой встает на Дальнем Востоке древней исторической угрозой призрак монгольской опасности, который потребует новой имперской спайки племен, насыщающих великую русскую равнину и Сибирь.

На этом основывается наше предположение, что Россия будет единой и останется монархической, несмотря на теперешнюю «социалистическую революцию». Им ничто, по существу, не мешает ужиться вместе.

Социализм тщетно ищет точки опоры, чтобы перевернуть современный мир. Теоретически он ее хотел найти во всеобщей забастовке и в неугасимой революции. Но и то, и другое не скала, а трясина, и то, и другое — анархия, а социализм стущенно государственен по своему существу. Он неизбежной логикой вещей будет приведен к тому, что станет искать

ее в диктатуре, а после в цезаризме. Более смелые теоретики социализма поняли уже это. Так Жорж Сорель<sup>11</sup>, автор «Essais sur La Violence»\*, продвинувшись еще левее синдикалистов, стал роялистом. Монархия с социальной программой отнюдь не есть абсурд. Это политика Цезаря и Наполеона III. Прудон, поддерживая последнего в первые годы империи, был логичен, как всегда. Все очень широкие демократические движения, ведущиеся в имперском и мировом масштабе, неизбежно ведут к цезаризму. Для русского же самодержавия, только временно забывшего революционные традиции Петра, отнюдь не будет неприемлема самая крайняя социалистическая программа. Я думаю, что тяжелая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому приведет ее еще и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной.

Эти пути представляются мне неизбежными для России северной, простирающейся от Петербурга до Байкала. Но я далеко не уверен, что южная Россия последует за нею, ибо предвижу возможное разделение их путей.

Мирная конференция мелко искромсала всю среднюю Европу на небольшие национальные государства, вопреки исторической логике и законам экономического сцепления. Этим она, конечно, только подготовила материал для будущих имперских образований и размельчила пищу для грядущего завоевателя царства.

Славянским государствам, образовавшимся на развалинах Австроийской и Русской империй, рано или поздно придется соединиться под угрозой германской опасности. Мне представляется возможным образование Славии — славянской южной империи, в которую, вероятно, будут втянуты и балканские государства, и области южной России.

Славию я предполагаю республиканской и федеративной, по крайней мере вначале, т. к. отдельным государствам будет легче объединиться на этой почве. Славия будет тяготеть к Константинополю и проливам и стремиться занять место Византийской империи.

Невольно напранивается аналогия между средневековой Германской Священной Римской империей и этой будущей славянской восточновизантийской федерацией.

Византия — это пол-Европы. Славянство может родиться только через проливы. Эту мысль я пытался развить в стихотворении:

«Европа»

[...]

Несмотря на мои заявления об аполитичности моих стихотворений и моего подхода к современности, я не сомневаюсь, что у моих слушателей возникнет любопытствующий вопрос: «А все-таки чего же хочется самому поэту: социализма, монархии, республики?». И я уверен, что люди добровольческой ориентации уже решили в душе, что я скрытый большевик, т. к. говорю о государственном строительстве в Советской России и предполагаю ее завоевательные успехи, а люди социалистически настроенные, что я монархист, т. к. предсказываю возвращение России к самодержавию. Но я действительно ни то, ни другое. Даже не социал-монархист, которых я предсказывал только что.

Мой единственный идеал — это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему — вся крестная, страстная история человечества.

Я не могу иметь политических идеалов потому, что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь — путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический рай или через капитализм — все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух.

Я равнодушен к приветству и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, так же как спикер Труасский святой Лу приветствовал Аттилу:

«Да будет благословен приход твой, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя!».

Поэтому я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами переживаемые.

\* «Очерки о насилии». (фр.)

А над моей размыканной и окровавленной родиной я могу произнести только одну молитву: это  
«Заклятие о русской земле»  
[...]

Коктебель, 17 мая 1920 г.

### Примечания

- <sup>1</sup> Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — художник.  
<sup>2</sup> По-видимому, Онисим Борисович Гольдовский (ок. 1856—1921), московский юрист и журналист.  
<sup>3</sup> Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) — художник, искусствовед.  
<sup>4</sup> В стихотворном наброске «Повесть временных лет» (1921) Волошин называет имя этого купца-коллекционера: Егор Егорьевич Егоров.

<sup>5</sup> Алексей Михайлович, 2-й царь из дома Романовых (1629—1676), царствовал с 1645 г.

<sup>6</sup> Этот парад состоялся 12 марта 1917 г.

<sup>7</sup> Согласно легенде, царица Авдотья (Евдокия Федоровна Лопухина, 1668—1721), первая жена Петра I, насилино постриженная в монахини, прокляла новую столицу.

<sup>8</sup> Румчород — Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских, матросских и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа.

<sup>9</sup> Титул патриарха, упраздненный Петром I в 1721 г., был восстановлен в Соборе русской православной церкви 5 ноября 1917 г.

<sup>10</sup> Революционные настроения, все усиливавшиеся в войсках интервентов под влиянием большевистской агитации, стали причиной их эвакуации из Одессы в конце апреля 1919 г.

<sup>11</sup> Сорель Жорж (1847—1922) — французский публицист. Под влиянием его идей был Б. Муссолини.

Публикация и примечания

Владимира КУПЧЕНКО и Захара ДАВЫДОВА

## «ГОСПОДИ, ВОТ ПЛОТЬ МОЯ...»

«Усобица» Максимилиана Волошина, — может быть, единственный в своем роде лирический дневник, мужественное и достоверное свидетельство очевидца великой народной драмы, который, подобно многим русским интеллигентам, подтвердил справедливость слов А. А. Блока: «Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего...» Однако людям сегодняшним необходимо прежде заглянуть в страницы вокрекающих книг, словно в разверстую бездну гражданской войны, бессмысленно жестокой и кровавой усобицы, поглотившей навсегда столько прекрасных сердец, заглянуть в эту бездну — ужаснуться и отпрянуть, чтобы никогда более не приближаться даже к краю ее. Именно ради этого, мы вправе предположить, и строил М. Волошин свою книгу о войне и революции «Неопалимая купина». Прошлое ощущается в осмыслиении — без этого не может совершенстваться и продолжаться жизнь.

Некоторые из предлагаемых читателю глав вышли в сборниках М. Волошина («Советская Россия», 1988 г., и «Московский рабочий», 1989 г.), другие — в журнале «Родник» (№ 7, 1988 г.).

Москву и вновь сковать Россию,  
Другие, разнудав стихию,  
Хотят весь мир пересоздать.  
В тех и других война вдохнула  
Гнев, жадность, мрачный гнев разгула,—  
А вслед героям и вождям  
Крадется хищник стаей жадной,  
Чтоб мощь России неоглядной  
Размыкать и продать врагам,  
Сгноить ее пшеницы груды,  
Ее бесчестить небеса,  
Пожрать богатства, скжечь леса  
И высосать моря и руды.  
И не смолкает грохот битв  
По всем просторам южной степи  
Средь золотых великолепий  
Конями вытоптаных жнитв.  
И здесь и там между рядами  
Звучат один и тот же глас:  
«Кто не за нас, тот против нас!  
Нет безразличных! Правда — с нами!»

Коктебель. 22 ноября 1919.

## II. Северовосток

Расплясались, разгулялись бесы  
По России вдоль и поперек.  
Рвет и кружит снежные завесы  
Выстуженный северовосток.  
Ветер обнаженных плоскогорий,  
Ветер тундр, полесий и поморий,  
Черный ветер ледяных равнин,  
Ветер смут, побоищ и погромов,  
Медных зорь, багровых окесов,  
Красных туч и пламенных годин.  
Этот ветер был нам верным другом  
На распутье всех лихих дорог.  
Сотни лет мы шли навстречу вылогам.  
С юга вдали на северовосток.  
Войте, вейте снежные стихии,  
Заметав дреиние гроба:  
В этом ветре вся судьба России —  
Страшная, безумная судьба.  
В этом ветре гнет веков свинцовых,  
Русь Малют, Иванов, Годуновых,—  
Хищников, опричников, стрельцов,  
Свежевателей живого мяса,  
Чертогона, вихря, свистопляса:  
Былы царей и явь большевиков.  
Что менялось? Знаки и заглавья —  
Тот же ураган на всех путях:  
В комиссарах — дух самодержавья,  
Взрывы революции — в царях.  
Вздеть на виску, выбить из подклетья  
И швырнуть вперед через столетья,  
Вопреки законам естества,—  
Тот же хмель и та же тряпин-трава.

## УСОБИЦА

(Цикл о терроре)

### I. Гражданская война

Одни восстали из подпольй,  
Из ссылок, фабрик, рудников,  
Отравленные темной волей  
И горьким дымом городов.  
Другие из рядов военных,  
Дворянских разоренных гнезд,  
Где проводили на погост  
Отцов и братьев убиенных.  
В одних доселе не потух  
Хмель незапамятных пожаров,  
И жив разбойный древний дух  
И Разиных, и Кудеяров.  
В других — лишенных всех корней —  
Тлетьворный душ столицы Невской,  
Толстой и Чехов, Достоевский —  
Надрыв и смута наших дней.  
Одни возносят на плакатах  
Свой бред о буржуазном зле,  
О светлых пролетариатах,  
Мещанском рае на земле.  
В других весь цвет, вся гниль империй,  
Все золото, весь тлен идей,  
Блеск всех великих фетишней  
И всех научных суеверий.  
Одни идут освобождать

Ныне ль, даве ль, все одно и то же:  
Волчьи морды, машкеры и рожи,  
Спертый дух и одичалый мозг,  
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,  
Пьяный лик осатанелых тварей,  
Жгучий визг шпицрутенов и розг.  
Дикий сон военных поселений,  
Фаланстер, нарядов и равнений,  
Павлов, Аракчеевых, Петров,  
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,  
Замыслы неистовых хирургов,  
И размах заплечных мастеров.  
Сотни лет тупых и зверских пыток —  
И еще не весь развернут свиток  
И не замкнут список палачей.  
Бред разведок, ужас Чрезвычаек,  
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик —  
Не видали времени горечь.  
Бей в лицо и режь нам грудь ножами,  
Жги войной, усобыем, мятежами —  
Сотни лет навстречу всем ветрам,  
Мы идем по ледяным пустыням —  
Не дойдем и в снежной выноге сгинем  
Иль найдем поруганный наш храм,  
Нам ли весить замысел Господний?  
Все поймем, все вынесем любя —  
Жгучий ветр полярной преисподни  
Божий бич, приветствуя тебя!

Коктебель. 31 июля 1920.

### III. Бойня

Отчего, встречаясь, бледнеют люди  
И не смеют друг другу глядеть в глаза?  
Отчего у девушек в белых повязках  
Восковые лица и круги у глаз?  
Отчего под вечер пустеет город?  
Для кого солдаты оцепляют путь?  
Зачем с таким лязгом раснахивают ворота?  
Сегодня сколько? Полтораста? Сто?  
Куда их гонят вдоль черных улиц,  
Ослепших окон, глухих дверей?  
Как рвет и крушит восточный ветер  
И жжет, и режет, и бьет плетьми?  
Отчего за Чумной по дороге к свалкам  
Брошен скомканный кружевной платок?  
Зачем уронен клочок бумаги,  
Перчатка, пательный крестик, чулок?  
Чье имя написано карандашом на камне?  
Что нацарапано гвоздем на стене?  
Чей голос грубо оборвал команду?  
Почему так сразу стихли шаги?  
Что хлестнуло во мраке так резко и четко?  
Что делали торопливо и молча потом?  
Отчего уходя затянули песню?  
Кто стонал так долго, а после стих?  
Чье ухо вслушивалось в шорохи ночи?  
Кто бежал, оставляя кровавый след?  
Кто стучался и бился в ворота и ставни?  
Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним?  
Отчего пред рассветом к исходу ночи  
Причитает ветер за карантином:  
«Носят ведрами спелые грозды,  
Валят ягоды в глубокий ров...  
Ах, не грозды носят — юношей гонят  
К черному точилу — давят вино.  
Пулеметы дробят их кости и кольем  
Протыкают яму до самого дна...  
Уж до края полно давило кровью,  
Зачернели терновник и полынь кругом,  
Прохватит морозом свежие грозды,  
Зажелтеет плат, заиндевеют волоса».  
Кто у часовни Ильи Пророка  
На рассвете плачет, закрывая лицо?  
Кого отгоняют прикладом солдаты:  
«Не реви: собакам собачья смерть».  
А она не уходит, и все плачет, и плачет,  
И отвечает солдату, глядя в глаза:  
«Разве я плачу о тех, кто умер?  
Плачу о тех, кому долго жить?»

Коктебель. 18 июля 1921.

### IV. Террор

Собирались на работу ночью. Читали.  
Допесенья, справки, дела.  
Торопливо подписывали приговоры.  
Зевали, пили вино.  
С утра раздавали солдатам водку.  
Вечером при свече  
Вызывали по спискам мужчины, женщины,  
Сгоняли на темный двор.  
Снимали с них обувь, белье, платье,  
Связывали в тюки.  
Грузили на подводу, увозили.  
Делили кольца, часы.  
Ночью гнали разутых, голых.  
По оледенелым камням  
Под северовосточном ветром  
За город, в пустыри.  
Загоняли прикладом на край обрыва,  
Освещали ручным фонарем.  
Полминуты рокотали пулеметы.  
Доканчивали штыком.  
Еще недобитых валили в яму,  
Торопливо засыпали землей,  
А потом с широкой русской песней  
Возвращались в город домой.  
А к рассвету пробирались к тем же оврагам  
Жены, матери, псы.  
Разрывали землю, грызлись из-за кости,  
Целовали милую плоть.

Симферополь. 26 апреля 1921.

### V. Красная Пасха

Зимою вдоль дорог валялись трупы  
Людей и лошадей, и стая псов  
Въедались им в живот и рвали мясо,  
Восточный ветер выл в разбитых окнах,  
А по ночам стучали пулеметы,  
Свистя, как бич, по мясу обнаженных  
Мужских и женских тел. Весна пришла  
Зловещая, голодная, больная.  
Глядело солнце в мир незрячим оком.  
Из скатых чресел рождались недоноски,  
Безрукие, безглазые... Не грязь,  
А сукровица поползла по скатам.  
Под талым снегом обнажались кости,  
Подснежники мерцали, точно свечи,  
Фиалки пахли гнилью, ландыш — тленем.  
Стволы дерев, обглоданных конями  
Голодными, торчали непристойно,  
Как ноги трупов. Листья и трава  
Казались красивыми, а зелень злаков  
Была опалена огнем и гноем.  
Лицо природы искажалось гневом  
И ужасом,  
А души вырванных насищественно из жизни вились в ветре,  
Носились по дорогам в пыльных вихрях,  
Безумили живых могильным хмелем  
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,  
Плодили мицне, панику, заразу...  
Зима была в тот год Страстной неделей,  
И красный май сплелся с кровавой Пасхой.  
Но в ту весну Христос не воскресал.

Симферополь. 21 апреля 1921.

### VI. Терминология

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,  
«Списывали в расход» —  
Так изменялись из года в год  
Бытia и речи оттенки.  
«Хлопнуть», «грабить», «отправить на шлётку»,  
«К Духонину в штаб», «разменять» —  
Проще и хлеще нельзя передать  
Нашу кровавую трепку,  
Правду выпытывали из-под ногтей,  
В шею вставляли фугасы,  
«Шили погоны», «кроили лампасы»,  
«Делали одиорогих чертей».

Сколько понадобилось лжи  
В эти проклятые годы,  
Чтоб разъять и поднять на вожи  
Армии, классы, народы!  
Всем нам стоять на последней черте.  
Всем нам валяться на вшивой подстилке,  
Всем быть распластанным —  
с пулей в затылке  
И со штыком в животе.  
Симферополь. 29 апреля 1921.

## VII. Голод

Хлеб от земли, а голод от людей:  
Засеяли расстрелянными; всходы  
Могильными крестами проросли:  
Земля иных побегов не взрастила.  
Сидя прятали, скучали, отымали,  
Налоги брали хлебом, отбирали  
Домашний скот, посевное зерно:  
Крестьяне сеять выезжали ночью  
Голодные и поползли червями,  
По осени вдоль улиц поползли.  
Толпа на хлеб полилась по базарам.  
Вора валили на землю и били —  
Ногами по лицу. А он краюху,  
В грязь пряча голову, старался заглотнуть.  
Как в воробьев, стреляли по мальчишкам,  
Сбирающих просыпь зерен на путях,  
И уличные отроки валялись  
С орешками в окоченевшей горсти.  
Землю тошило трупами, лежали  
На улице, смердели у мертвцевких,  
В разверстых ямах гнили на кладбищах,  
В оврагах и на свалках, костики  
С обрезанной мякотью валялись.  
Глодали псы отрызенные руки  
И головы. На рынке торговали  
Дешевым студнем, тошной колбасой.  
Баранина была в продаже — триста,  
А человечина по сорок.  
Душа была давно дешевле мяса.  
И матери, зарезавши детей,  
Засаливали впрок. «Сама родила —  
Сама и съем. Еще других рожу...»  
Голодные любились и рожали  
Багровые орущие куски  
Бессмысленного мяса без суставов,  
Без пола и без глаз. Из смрада, язвы,  
Из ужаса поветрия рождались,  
Но бред больных был менее безумен,  
Чем обыденница постелей и котлов.  
Когда же сквозь зимний сумрак закурилась  
Над человечьим гноищем весна,  
И пламя побежало языками  
Вшири по полям и ввысь по голым прутьям,  
Благоуханье показалось оскорблением,  
Луч солнца — издевательством. Цветы — концунством.

Коктебель. 13 января 1923.

## VIII. На дне преисподней

Памяти А. Блока и Н. Гумилева

С каждым днем все диче и все глупе,  
Мертвеннее цепенеет ночь.  
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит,  
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.  
Темен жребий русского поэта:  
Неисповедимый рок ведет  
Пушкина под дуло пистолета,  
Достоевского на эшафот.  
Может быть, такой же жребий выпу, —  
Горькая детоубийца — Русь?  
И на дне твоих подвалов стину  
Иль в кровавой луже поскользнулся,  
Но твоей Голгофы не покину,  
От своих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,  
Но судьбы не изберу иной:  
Умирать так умирать с тобой,  
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!  
Коктебель. 12 января 1922.

## IX. Готовность

С. Дурылин

Я не сам ли выбрал час рождения,  
Век и царство, область и народ,  
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье  
Совести, огня и вод?  
Апокалиптическому зверю  
Вверженный в зияющую пасть,  
Павший глубже, чем возможно пасть,  
В скрежете и смраде — верю!  
Верю в правоту верховных сил,  
Расковавших древние стихии,  
И из недр обугленной России  
Говорю: «Ты прав, что так судил.  
Надо до алмазного закала  
Прокалить всю толщу бытия.  
Если дров в плавильной печи мало,  
Господи, вот плоть моя!»  
Феодосия. 24 октября 1921.

## X. Потомкам

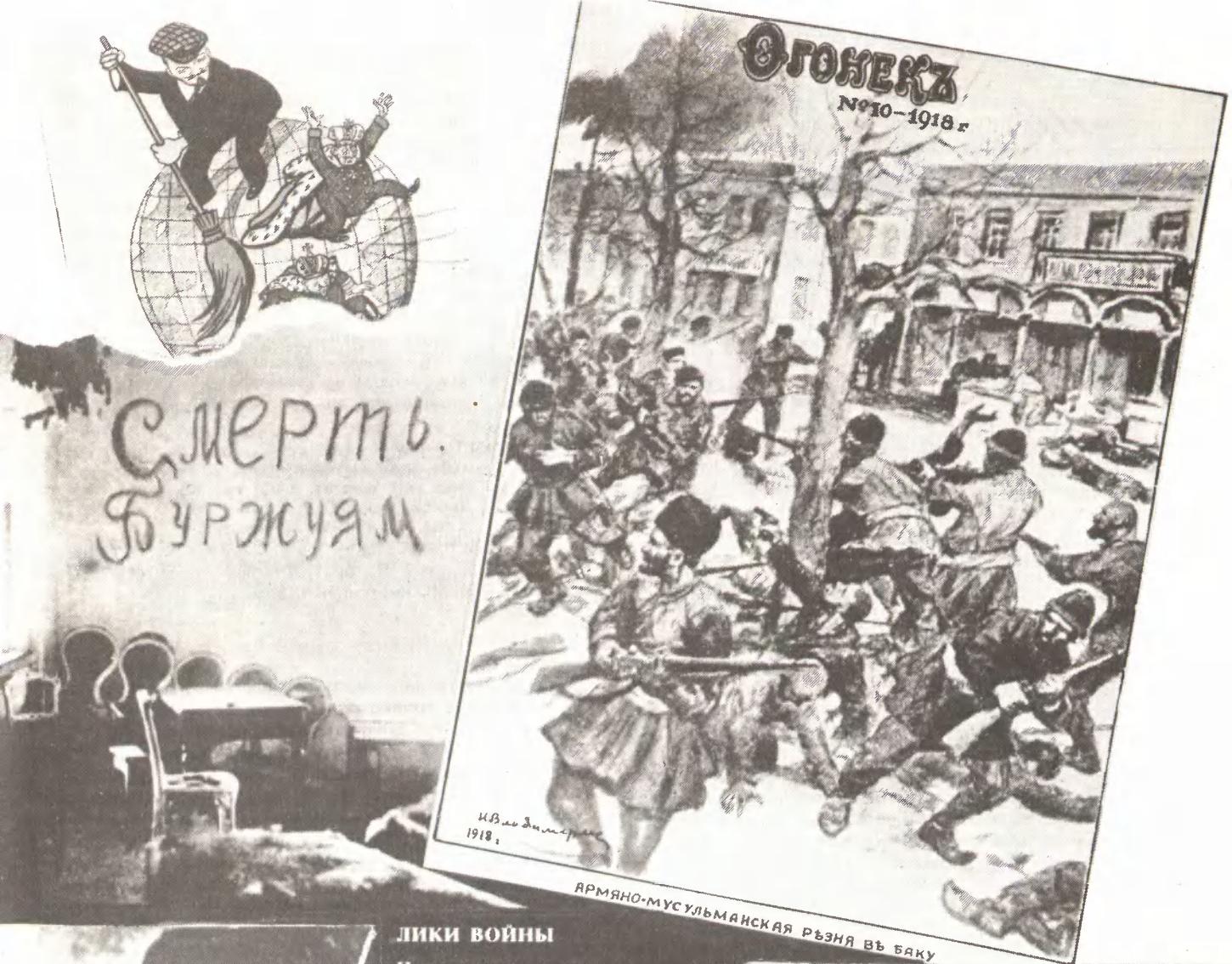
Кто передаст потомкам нашу повесть?  
Ни записи, ни мысли, ни слова  
К пим не дойдут: все знаки сложет хлам  
И выест кровь слепые письмена.  
Но, может быть, благоговейно память  
Случайно стих изустно сохранит.  
Никто из вас не ведал то, что мы  
Изжили до конца, вкусили полной мерой:  
Свидетели великого распада,  
Мы видели безумье целых рас,  
Крушенье царств, косматые светила,  
Прообразы Последнего Суда.  
Мы пережили Илиады войн  
И Апокалипсисы революций.  
Мы вышли в путь в закатной славе века,  
В последний час всемирной тишины,  
Когда слова о зверствах и о войнах  
Казались всем неповторимой сказкой,  
Но мрак, и брань, и мор, и трус, и глад  
Застигли нас посереди дороги:  
Разверзлись хляби души и недра жизни,  
И нас слизнул почной водоворот.  
Стал человек один другому — дьявол;  
Кровь — спайкой душ. Борьба за жизнь — законом,  
И долгом — месть.

Но мы не покорились:  
Ослушники законов естества,  
В себе самих укрыли наше солнце,  
На дне темниц мы выносили силу  
Неодолимую любви. И в пытках  
Мы выучились верить и молиться  
За палачей. Мы поняли, что каждый  
Есть пленный ангел в дьявольской личине.  
В огне застенков выплавили радость  
О преосуществлены человека,  
И никогда не грезили прекрасней  
И пламенней его последних судеб.  
Далекие потомки наши, знайте,  
Что если вы живете во Вселенной,  
Где каждая частица вещества  
С другою слита жертвенной любовью,  
И человечеством преодолен  
Закон необходимости и смерти,  
То в этом мире есть и наша доля!  
Симферополь — Феодосия. 21 мая 1922.



СОВРЕМЕННЫЕ КРУГИ ДАНТОВА АДА ВЪ ПЕТРОГРАДЪ И РОССИИ.  
Охваченные горемъ и нуждой





Гайто  
ГАЗДАНОВ

# ВЕЧЕР У КЛЭР

Роман



...Я приезжал в Кисловодск каждое лето и всегда заставал там Виталия, до тех пор пока меня не отделили от Кавказа движения различных большевицких и антибольшевицких войск, происходившие на Дону и на Кубани. И только за год до моего отъезда из России, во время гражданской войны, я опять приехал туда и снова увидел на террасе нашей дачи согнувшуюся в кресле фигуру Виталия. Он состарился за это время, поседел, лицо его стало еще более мрачным, чем раньше.

— Я встретил в парке Александру Павловну (это была его жена), — сказал я ей, здороваясь. — У нее прекрасный вид.

Виталий хмуро на меня посмотрел:

— Ты помнишь пушкинские эпиграммы?

— Помню.

Он процитировал:

Тебе подобной в мире нет.

Весь свет твердит, и я с ним тоже.

Другой, что год, то больше лет.

А ты, что год, то все моложе.

— У тебя очень недовольное выражение, Виталий.

— Что делать? Я, брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию?

— Да.

— Глупо делаешь.

— Почему?

Я думал, что он скажет «эти идиоты». Но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил:

— Потому что добровольцы проигрывают войну.

Мысль о том, проигрывают или выигрывают войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и, если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придавалось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственных войск, не знают законов социальных отношений.

— Там, — сказал он, оживляясь, — там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия — крестьянская страна, или тебя не учили этому в твоей истории?

— Знаю, — ответил я.

Тогда Виталий продолжал:

— Россия, — говорил он, — вступает в полосу крестьянского этапа истории, сила в мужике, а мужик служит в красной армии.

У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным; белая армия — это армия мещанская и полуинтеллигентская:

— В ней служат кокайнисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки, — резко говорил Виталий, — неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах.

— Ты все всегда ругаешь, — заметил я. — Александра Павловна говорит, что это твоя *profession de foi*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Букв.: «исповедание веры» (фр.); здесь — изложение взглядов.

— Александра Павловна, Александра Павловна,— с неожиданным раздражением сказал Виталий.— *Profession de foi*. Какая глупость! Двадцать пять лет со всех сторон и почти ежедневно я слышу это бессмысличное возражение: «Ты все ругаешь». Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь: «Ты все ругаешь». Кто ты — мужчина или тетя Женя? Я Александру Павловну упрекнул за то, что она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает, и она мне тоже сказала, что я все, по обыкновению, ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава Богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь браню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми,— сказал Виталий, поднимая голову,— что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии, или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература — девять десятых никуда не годится. Так бывает всегда; чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает? — Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил: — Сколько тебе лет?

— Через два месяца будет шестнадцать.

— И черт несет тебя воевать?

— Да.

— А почему, собственно, ты идешь на войну? — вдруг удивился Виталий.

Я не знал, что ему ответить, замялся и наконец неуверенно сказал:

— Я думаю, что это все-таки мой долг.

— Я считал тебя умнее,— разочарованно произнес Виталий.— Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам.

— Почему?

— Послушай, мой милый мальчик,— сказал Виталий с неожиданной мягкостью.— Постарайся разобраться. Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича.

— Конец смутного времени,— пробормотал я.

— Да, конец смутного времени. Вот тебе и пригодилась гимназия.— И Виталий принял излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории — эти слова показались мне неожиданными, я все не мог забыть, что Виталий — офицер драгунского полка,— подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии, и что такое положение если и не всегда неподгрешимо, то часто оказывается приложим к различным социальным явлениям.— Они рождаются, растут и умирают,— говорил Виталий,— и даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова?

— Помню,— сказал я.— Я помню, как они возникают; и кроме того, я сейчас вспоминаю их красные изгибы, окруженные белой пеной моря, это очень красиво; я видел такой рисунок в одной из книг моего отца.

— Процесс такого же порядка происходит в истории,— продолжал Виталий.— Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные — это те, что растут.

— Хорошо, допустим, что это так,— сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение,— но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых?

— Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть?

— Хотя бы,— сказал я, хотя думал совсем другое.

— Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы.

— И кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге.

— Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных,— если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и — героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии,— если автор будет на стороне красных.

Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые.

— Это гимназический сентиментализм,— терпеливо сказал Виталий.— Ну, хорошо. Я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве.

— Что же ты думаешь?

Он вздохнул:

— Правда на стороне красных.

Вечером он предложил мне пойти вместе с ним в парк. Мы шагали по красным аллеям, мимо светлой маленькой реченьки, вдоль игрушечных гротов, под высокими старыми деревьями. Становилось темно, речка всхлипывала и журчала; и этот тихий шум слит теперь для меня с воспоминаниями о медленной ходьбе по песку, об огоньках ресторана, который был виден издали, и о том, что, когда я опускал голову, я замечал свои белые лестные брюки и высокие сапоги Виталия. Виталий был более разговорчив, чем обыкновенно, и в его голосе я не слышал обычной иронии. Он говорил серьезно и просто.

— Значит, ты уезжаешь, Николай,— сказал он, когда мы углубились в парк.— Слышишь, как речка шумит? — перебил он себя внезапно. Я прислушался: сквозь ровный шум, который доносился сначала, слух различал несколько разных журчаний, одновременных, но непохожих друг на друга.— Непонятная вещь,— сказал Виталий.— Почему этот шум так меня волнует. И всегда, уже много лет, как только я слышу его, мне все кажется, что до сих пор я его не слыхал. Но я хотел другое сказать.

— Я слушаю.

— Мы с тобой, наверное, больше не встретимся,— сказал он.— Или тебя убьют, или ты заедешь куданьку к черту на кулички, или, наконец, я, не дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в одинаковой степени возможно.

— Почему так мрачно? — спросил я. Я никогда не умел представлять себе события за много времени вперед, я едва успевал воспринимать то, что происходило со мной в данную минуту, и потому все предположения о том, что, может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил мне, что в молодости он был таким же; но пять лет одиночного заключения, питающие его фантазию только мыслями о будущем, развили ее до необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны, и изощренное его воображение точно предчувствовало ту неуловимую психологическую оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта, естественного для человека его возраста; и это давало

сму ту, на первый взгляд почти непостижимую, возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не пользовался ею, потому что был презрительно-равнодушен к судьбе даже близких своих родственников; и его доброта и снисходительность объяснялись, как мне казалось, этим, почти всегда одинаковым и безразличным, отношением ко всем.

— Я очень любил твоего отца,— сказал Виталий, не отвечая на мой вопрос,— хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он был, пожалуй, прав. Я и тебя люблю,— продолжал он.— И вот перед твоим отъездом я хочу сказать тебе одну вещь, обрати на нее внимание.

Я не знал, что Виталий мне хочет сказать; в мое отношение к нему как-то не вмешалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне что бы то ни было: он предпочитал всегда бранить меня за мое непонимание чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по его словам, ничего не смыслил; и однажды он чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина, а в другой раз он сокрушенno качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго; он презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеке с ухватками пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского телеграфиста.

— Послушай меня,— говорил между тем Виталий.— Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все это не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни, что самое большое счастье на земле — это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни.

— Хорошо,— сказал я.— Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?..

— Смысл? — удивился Виталий.— Смысла действительно нет, да он и не нужен.

— Этого не может быть. Есть закон целесообразности.

— Нет, мой милый, смысл — это фикция, и целесообразность тоже фикция. Смотри: если ты возмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движения; но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты увидишь, что с точки зрения достижения этой цели, и только этой цели, такой акт не имеет смысла, потому что одновременно с ним и по тем же, казалось бы, причинам произошли другие события, вовсе не предвиденные, и все совершенно изменили.

Он посмотрел на меня; мы шли меж двух рядов деревьев, и было так темно, что я почти не видел его лица.

— Слово «смысл»,— продолжал Виталий,— не было бы фикцией только в том случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не всегда оказывается непогре-

шимым даже в примитивных, механических науках, при вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты хочешь, чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля.

— А смысл жизни?

Виталий вдруг остановился, точно его задержали. Было совсем темно, сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город оставались далеко внизу; слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она казалась мне синей, хотя теперь, в темноте, глаз должен был видеть ее черной, но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела; и тогда, вечером, я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше вспомнить контуры горы, а синева ее была уже готова в моем воображении — вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий; и опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху.

— Смысл жизни? — печально переспросил Виталий, и в его голосе мне послышались слезы, и я не поверил себе; я думал всегда, что они неизвестны этому мужественному и равнодушному человеку.

— У меня был товарищ, который тоже спрашивал меня о смысле жизни,— сказал Виталий,— перед тем как застрелиться. Это был мой очень близкий товарищ, очень хороший товарищ,— сказал, часто повторяя слово «товарищ» и как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь, много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном воздухе пустынного парка.— Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он все спрашивал: «Зачем нужна такая ужасная бессмыслица существования, это сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем, то это хорошо — к чему это? Зачем до этого доживат? Ведь от смерти мы не уйдем, Виталий, ты понимаешь? Спасения нет». «Нет! — закричал Виталий.— Зачем,— продолжал он,— становиться инженером, или адвокатом, или писателем, или офицером, зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и трусость?» Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь. Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю.

В тот день мы вернулись домой очень поздно; и когда солнечная горничная подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел сквозь жидкость на электрическую лампочку и долго смеялся, не говоря ни слова. Потом он пробормотал насмешливо: «Смысл жизни!» — и вдруг нахмурился, потемнел и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи.

Когда спустя некоторое время я уезжал из Кисловска с тем, чтобы, добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно-равнодушное выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливо. Мне же было жаль покидать его, потому что я его искренно любил, а окружающие его побаивались и не очень жаловали. «Каменное сердце»,— говорила о нем его жена. «Жестокий человек»,— говорила тетка. «Для него нет ничего свято-го»,— отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом, размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что

так бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом, и ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что вряд ли мы потом еще встретимся, мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с ним как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал. Но Виталий держался очень официально; и когда он щелчком пальцев сбросил пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться так, как я хотел сначала, было бы нелепо и *ridicule*<sup>1</sup>. Он пожал мне руку, и я уехал. Была поздняя осень, и в холодном воздухе чувствовались печаль и сожаление, характерные для всякого отъезда. Я никогда не мог привыкнуть к этому чувству; всякий отъезд был для меня началом нового существования. Нового существования и, следовательно, необходимости опять жить ощущью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие, нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям, которые одни сильно занимали меня. Затем мне было еще жаль покидать города, в которых я жил, и людей, с которыми я встречался, потому что эти города и люди не повторятся в моей жизни; их реальная, простая неподвижность и определенность раз и навсегда созданных картин так была не похожа на иные страны, города и людей, живущих в моем воображении и мною вызываемых к существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и создания, над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание, и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне; но уже исчезал Кисловодск, и звуки, доносиившиеся с его вокзала, тонули в железном шуме поезда; и когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей; на улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину извозчика, который взbrasывал вперед локти рук, державших вожжи, беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дерганье рук и ног игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед отправкой моей на фронт; я проводил время в том, что посещал театры, и кабаре, и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я должен был уехать, я встретил Щура, моего гимназического товарища; он очень удивился, увидав меня в военной форме.

— Уж не к добровольцам ли ты собрался? — спросил он.

И когда я ответил, что к добровольцам, он посмотрел на меня с еще большим изумлением:

— Что ты делаешь, ты с ума сошел? Оставайся здесь, добровольцы отступают, через две недели наши будут в городе.

— Нет, я уже решил ехать.

— Какой ты чудак! Ведь потом ты сам будешь жалеть об этом.

— Нет, я все-таки поеду.

Он крепко пожал мне руку:

— Ну, желаю тебе не разочароваться.

— Спасибо, я думаю, не придется.

— Ты веришь в то, что добровольцы победят?

— Нет, совсем не верю, потому и разочаровываться не буду.

Вечером я прощался с матерью. Мой отъезд был для нее ударом. Она просила меня оставаться, и нужна

была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать — без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня.

— Судьба отняла у меня мужа и дочерей, — сказала мне мать, — остался один ты, и ты теперь уезжай. — Я ничего не ответил. — Твой отец, — продолжала мать, — был бы очень огорчен, узнав, что его Николай поступает в армию тех, кого он всю жизнь не любил.

— Дядя Виталий мне говорил то же самое, — ответил я. — Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома.

— А если мне привезут твой труп?

— Нет, я знаю, меня не убьют. — Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, медленно открывая и закрывая глаза, как человек, который приходит в себя после обморока. Я взял в руки чемодан; одна застежка его зацепилась за полу моего пальто, и, видя, что я не могу ее отцепить, мать вдруг улыбнулась; и это было так неожиданно — потому что она редко улыбалась, даже тогда, когда другие смеялись, и, конечно, зацепившаяся пола пальто никогда бы не могла рассмешить ее, — и столько в этой улыбке было разных чувств — и сожаления, и сознания невозможности устранить мой отъезд, и мысль об одиночестве, и воспоминание о смерти отца и сестер, и стыд перед подступающими слезами, и любовь ко мне, и вся та долгая жизнь, которая связывала мать со мной от моего рождения до этого дня, что Екатерина Генриховна Воронина, присутствовавшая при нашем прощании, вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Когда наконец за мной закрылась дверь и я подумал, что, может быть, никогда больше не войду в нее и мать не перекрестит меня, как только что перекрестила, я хотел вернуться домой и никуда не ехать. Но было слишком поздно, та минута, в которую я мог это сделать, уже прошла; я был уже на улице; я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жизни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня; мне уже не оставалось там места — и я точно исчез для самого себя. Много времени спустя я вспомнил еще, что в тот вечер шел снег, засыпая улицы. А через два дня путешествия я был уже в Синельникове, где стоял бронированный поезд «Дым», на который я был принят в качестве солдата артиллерийской команды. Был конец тысячи девяносто девятнадцатого года; с той зимы я перестал быть гимназистом Соседовым, перешедшим в седьмой класс, перестал читать книги, ходить на лыжах, делать гимнастику, ездить в Кисловодск и видеть Клэр; и все, что я делал до сих пор, стало для меня только видением памяти. Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности; и подобно тому, как дома и в гимназии значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значения, были для меня особенно важны, так и во время гражданской войны бои и убитые и раненые прошли для меня почти бесследно, а запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне. Самое лучшее мое воспоминание, относящееся к этому времени, заключалось в том, как однажды меня послали на наблюдательный пункт, обстреливали неприятельские батареи, и снаряды пролетали над деревьями с необыкновенным воем и гудением, какого никогда не бывает, если снаряд летит над полем. Дул ветер, верхушка дерева раскачивалась; маленькая белка с быстрыми глазами, что-то жевавшая теми смешными, частыми движениями челюстей, которые свойственны только грызунам, вдруг заметила меня,

<sup>1</sup> Смешно (фр.).

очень испугалась и мгновенно перепрыгнула на другое дерево, расправив свой желтый пушистый хвост и на секунду повиснув в воздухе. Далеко-далеко стояла батарея, обстреливавшая лес, и я видел только тусклое красное пламя коротких вспышек, вырывавшихся из орудий при каждом выстреле. Шумели листья от ветра, внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнец — и вдруг умолкал, словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно, и все звуки доходили до меня так ясно, и в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябила вода, что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка, и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую.

На войне мне впервые пришлось столкнуться с такими странными состояниями и поступками людей, которых я, наверное, никогда не увидел бы в других условиях, и прежде всего наблюдать самую ужасную трусость. Она никогда не вызывала, однако, во мне ни малейшего сожаления к тем, кто ее испытывал. Я не понимал, как может плакать от страха двадцати пятилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: «Ой, Боже ж мой, ой, мамочка!» — и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие. Я не понял, почему его страх вдруг передался офицеру, командовавшему площадкой, человека вообще очень храбому, который закричал механику: «Полный ход назад!» — хотя никакой новой опасности не представлялось, и снаряды неприятельской артиллерии продолжали все так же ложиться вокруг бронепоезда. Я не мог бы сказать, что во время боев мне никогда не приходилось испытывать страха, но это было такое чувство, которое легко подчинялось рассудку; и так как в нем не было никакого сладостраствия или соблазна, то преодолеть его было нетрудно. Я думал, что, помимо этого, сыграло роль еще и другое обстоятельство: в те времена — так же, как и раньше, и потом — я по-прежнему не владел способностью немедленного реагирования на то, что происходило вокруг меня. Эта способность чрезвычайно редко во мне проявлялась и только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием; но преимущественно то были вещи, в известной степени неподвижные и вместе с тем непрерменно отдаленные от меня; и они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участии или опасностей, мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение. Многих это душевное смятение всецело захватывало — как трусивых, так и храбрых. Но особенно чувствительны были простые люди, крестьяне, сельские рабочие; у них и храбрость и страх выражались сильнее всего и доходили до равной степени отчаяния — в одних случаях спокойного, в других — безумного, как будто это было одно и то же чувство, только направленное в разные стороны. Те, которые

были очень трусивы, боялись смерти потому, что сила их слепой привязанности к жизни была необычайно велика; те, которые не боялись, обладали той же странной жизненной силой, потому что только душевно сильный человек может быть храбрым. Но это загадочное могущество облекалось в разные формы, которые были так несхожи между собой, как жизнь паразитов и тех, на чей счет они кормятся. И потому, что, с одной стороны, все, кого я знал и видел из прежних моих наставников и знакомых, внушили мне всю жизнь презрение к трусости и долг мужества, и я никогда в этом не сомневался — и, с другой стороны, в силу недостаточного моего ума, который не мог постигнуть душевного состояния трусов, и недостаточно богатых чувств, в которых я мог бы найти подобные состояния, — я относился к ним с отвращением, особенно усилившимся в тех случаях, когда трусивыми были не солдаты, а офицеры. Я видел, как один из них во время сильного боя вместо того, чтобы командовать пулеметами, забился под груду тулупов, лежавших внутри площадки, заткнул пальцами уши и не вставал до тех пор, пока сражение не кончилось. Другой раз второй офицер пулеметной команды тоже лег на пол, закрыв лицо ладонями, и, хотя была зима и железный пол был очень холоден, — едва не прилипали пальцы, — он пролежал так около двух часов и даже не простудился, наверное, потому, что сильнейшее действие страха создавало ему какой-то мгновенный иммунитет. Третий раз, когда над базой — так назывался поезд, в котором жили солдаты и офицеры, приехавшие с фронта для смены, потому что было две смены: одна — на передовых линиях, другая — в тылу; они чередовались каждые две недели, и, кроме этого, вся нестроевая часть, то есть солдаты, работавшие на кухне, офицеры, занимавшие административные и хозяйственные должности, жены офицеров, писаря, интенданты и около двадцати женщин, числившихся прачками, судомойками и уборщицами офицерских вагонов; это были женщины случайные, подобранные на разных станциях и соблазненные комфортом базы, теплыми вагонами, электричеством, чистотой, обильной пищей и жалованьем, которое они получали взамен нетрудных своих обязанностей и требовавшейся от них прежде всего чисто женской благосклонности, — когда над базой, стоявшей как всегда на сорок верст в тылу, появился неприятельский аэро-план и начал сбрасывать бомбы, поручик Борцов, фельдфебель бронепоезда, посмотрел на небо, торопливо перекрестился и полез на четвереньках под вагон, не стесняясь того, что окружающие видели это. Тогда же из одного вагона выскочил артельщик Михутин, хитрый мужик и вор, никогда не бывавший в бою, он спрыгнул с подножки вагона и, не оглядываясь по сторонам, побежал по полю, достиг водокачки и быстро в ней скрылся. Ни одна из сброшенных бомб в базу не попала, как этого и следовало ожидать; вообще же единственная бомба, причинившая вред, разрушила часть той самой водокачки, на которой сидел Михутин. Его, правда, не ранило, но сильно побило кирпичами: толстое лицо его, с брюзгливым свиным выражением, было в синяках, одежда была выпачкана белой известкой, и, когда он вернулся в таком виде к себе, его подняли на смех, что, впрочем, его совершенно не устыдило, так как чувство страха было в нем непобедимым. Другой солдат, Тиянов, широкоплечий мужчина, свободно крестившийся двухпудовой гирей, был настолько боязлив, что, выехав впервые на фронт и услыхав отдаленные выстрелы пушек, он спрыгнул с полуторасаженной высоты площадки вниз и хотел бежать обратно, в базу, но не мог из-за вывихнутой ноги; вывих ноги он очень обрадовался, так как его действительно отправили в тыл. Он же как-то во время обстрела — ему пришлось все-таки

ездить на фронт — упал в обморок и лежал с бледным лицом, не шевелясь; но когда я случайно взглянул в его сторону, а он этого не ожидал, я увидел, как он быстро открыл глаза, посмотрел вокруг и сейчас же закрыл их. Но наряду с такими людьми я знал иных. Полковник Рихтер, командир бронепоезда «Дым», лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника, он даже не обернулся, лицо его оставалось неподвижным, и я не заметил решительно никакого усилия, которое он должен был сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Старший офицер артиллерийской команды поручик Осипов, сойдя однажды с площадки, чтобы осмотреть позиции, и выйдя в поле, попал между двух цепей пехотных солдат: с одной стороны лежала цепь красных, с другой — белых. Обе, не зная, кто это такой — красные приняли его за белого, белые — за красного, — стали по нем стрелять, и мы видели с площадки, как столбки пыли каждую секунду прыгали рядом с его ногами. Он все так же продолжал идти вперед, не обращая на пули никакого внимания, затем вернулся назад: одна пуля слегка оцарапала ему руку. Солдат Филиппенко во время боя пел тихие украинские песни, пытался заводить неторопливый разговор с другими и печально удивлялся, когда в ответ слышал ругательства: он не понимал ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха.

— Ты не боишься, Филиппенко? — спрашивал его командир.

— А чего бояться? — удивленно говорил Филиппенко. — Боязно ночью на кладбище, вот-то боязно. А днем не боязно.

Но одним из самых смелых людей, каких я когда-либо видел, был солдат Данил Живин, которого все звали Данько. Он был добродушный, худой, маленький человек, большой любитель посмеяться и хороший товарищ. Он был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений, служил во всех армиях гражданской войны — у красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде сэра Саблина, просуществовавшем всего несколько дней. Его служба на бронепоезде была прервана тем, что он попал в плен к Махно вместе со всей командой, находившейся в тот раз на фронте. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр.

Мост длиной в версту и три четверти был занят с одной стороны махновцами, с другой — белыми. На обоих его концах стояли устремленные друг на друга пулеметы. Данько, попавший на сторожевой пост со стороны махновцев, решил вернуться на бронепоезд. Он отоспал в землянку подчаска, взял свой пулемет на плечи и пошел в сторону добровольцев, которые тотчас же открыли ожесточенную стрельбу. Данько, невзирая на это, продолжал двигаться, точно шел не по узкому пространству, пронизываемому десятками пуль в секунду, а по спокойному российскому большинству, ведущему откуда-нибудь из Тулы в Орел. Его подчасок, обеспокоившись такой неожиданной стрельбой, выбежал из землянки и, увидев уходящего Данько, тоже принял палить в него из второго пулемета. Данько перешел мост, даже не будучи ранен. Его арестовали белые, и какие-то глупые пехотные офицеры — два штабс-капитана — приняли его за шпиона и хотели расстрелять. Данько разразился страшными ругательствами с упоминанием Господа Бога и апостолов; это бы ему не помогло, если бы с пло-

щадки бронепоезда, стоявшего неподалеку, не пошли узнать, в чем дело. И поручик Осипов увидел оборванного Данько, оравшего на пехотных офицеров и хватавшегося то за револьвер, то за винтовку. После вмешательства бронепоездного офицера его отпустили, сказав, что такого недисциплинированного солдата они еще не видели.

— Я... вашу дисциплину! — закричал Данько.

— Как же ты, Данько, не испугался? — спрашивали его уже после того, как он был преодолен и накормлен и сидел у печи теплушке, куря папиросу из табака Стамболи.

— Кто не испугался? — отвтил Данько. — О, я очень испугался.

В другой раз Данько, отправившийся на разведку, опять угодил в плен, потому что пришел в деревню, занятую красными, вошел в избу, начал балагурить с хозяйкой и поинтересовался тем, есть ли в деревне большевики или, может быть, нету — за несколько секунд до неожиданного появления трех красноармейцев. Данько не успел даже схватиться за винтовку. Его обезоружили, заперли в сарай, приставили к сараю стражу и Данько приговорили к высшей мере наказания. И все-таки через три дня, отыскав базу своего бронепоезда, успевшую уехать за шестьдесят верст, Данько явился как ни в чем не бывало. Я присутствовал при его разговоре с командиром. «Ты где был, Данько?» — «А в плену». — «Как же ты попал в плен?» — «Красные арестовали». — «И они тебе ничего не сделали?» — «Ни, они хотели меня расстрелять». — «А ты что?» — «А я убежал». — «Как же тебе удалось?» — «Убил часового и убежал». — «И не поймали тебя?» — «Ни», — сказал Данько, — я шико бежал, — и рассмеялся. Мне же мысль о том, что Данько мог убить часового, казалась странно не соответствовавшей его характеру. По-видимому, это было для него просто необходимо, и, конечно, инстинкт самосохранения заглушил в нем возможность размышления — следует ли убивать часового или нет, — и, если бы не этот инстинкт, Данько давно не было бы в живых. Он был очень молод и несерьезен, как говорили про него солдаты; он рассмешил однажды всю команду бронепоезда, гоняясь за маленьким белым поросенком, которого он где-то купил; он долго бежал за ним, кричал на него и пытался накрыть его шапкой; он свистел, размахивал руками на бегу, и мы следили за ним до тех пор, пока и он, и поросенок не скрылись с глаз. Вечером он вернулся, ведя за веревку свинью, на которую он ухитрился выменять поросенка. Над ним шутили и говорили, что за время долгой погони Данько поросенок успел вырасти. Данько смеялся, держа в руках шапку и потупившись. Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек.

— Данько, ты поехал бы на Северный полюс? — спрашивал я.

— А там интересно?

— Очень интересно, и много белых медведей.

— А, ни, — сказал он, — я медведей боюсь.

— Почему же ты их боишься? Они тебя к высшей мере не приговорят.

— А они укусят, — ответил Данько и засмеялся.

Он не мог отыскнуть говорить мне «вы».

— Данько, — объяснял я ему, — ты такой же солдат, как и я. Почему ты мне говоришь «вы»? Ты можешь ведь разговаривать со мной, как с Иваном (это был его приятель).

— Не могу, — отвечал Данько, — совестно.

Этот Иван, умный хохол, спокойный и храбрый солдат, спросил меня как-то:

— Что такое Млечный Путь?

— Почему это вас вдруг заинтересовало?

— А меня солдаты спрашивают: «Иван, что там

в небе, как молоко?» Я говорю: «Млечный Путь». А что такое Млечный Путь, не знаю.

Я объяснил ему как мог. На следующий день он опять подошел ко мне:

— А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности?

— Она определяется специальными математическими терминами,— говорил я.— Не знаю, будут ли они вам понятны.— И я привел ему формулу длины окружности.

— Ага,— подтвердил он с довольным видом.— А я вас нарочно пытал, думал, может, не знает. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать.

Он был прекрасным рассказчиком; и в среде так называемых интеллигентных людей я не видел никого, кто бы мог с ним сравняться. Он был очень умен и наблюдателен и обладал творческим даром создавать смешное из того, в чем другой не нашел бы его — без чего юмор всегда бывает несколько вял. Я не помнил рассказов Ивана, в которых он проявлял свой удивительный имитаторский талант; и потому, что искусство его было легким и мгновенным, оно трудно поддавалось запечатлению; и теперь я вспоминал лишь то, как он передавал свой разговор с красивым генералом, когда в батарею, которой командовал в те времена Иван, прислали плохих лошадей.

— Я ему говорю,— рассказывал Иван,— товарищ командир, разве ж то кони? Кони ходят и очень удивляются, что они еще не подошли. А он отвечает: «Благодарю верховную власть, что не все у меня такие командиры капризные, как те бабы». А я говорю: «Вот вы, не дай Бог, товарищ командир, погреете, так мы вас на тех конях хоронить будем, чтоб не очень тряслся».

Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей; и в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли, они смеялись надо мной за то, что я говорил «идти за водой». «За водой пойдешь, не вернешься»,— насыщенно замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем. Однажды командир площадки сказал мне, чтобы я пошел в деревню и купил свинью.

— Должен вас предупредить,— сказал я,— что я свиней никогда не покупал, такого случая в моей жизни еще не было, и, если моя покупка окажется не очень удачной, вы уж не будьте в претензии.

— Что ж,— ответил он,— ведь свинью покупать — это вам не бином Ньютона какой-нибудь. Мудрость тут невелика.

И я отправился в деревню. Во всех избах, куда я заходил, на меня смотрели с недоверием и усмешкой.

— Нет ли у вас свиньи продажной? — спрашивал я.

— Кого? Свиньи? Ни, свиньи нема.

Я обошел сорок дворов и вернулся на площадку ни с чем.

— У меня создалось впечатление,— сказал я офицеру,— что эта разновидность млекопитающих здесь неизвестна.

— А у меня создалось впечатление, что вы просто не умеете покупать свиней,— ответил он.

Я не стал спорить, и тогда Иван, присутствовавший при этом разговоре, предложил свои услуги.

— Идемте со мной,— сказал он мне,— и зараз свинью купим.

Я пожал плечами и опять пошел в деревню. В первый же избе — той самой, где мне сказали, что свиньи

нет,— Иван купил за гроши громадного борова. Перед этим он поговорил с хозяевами об урожае, выяснил, что его дядька, живущий в Полтавской губернии, ближайший друг и земляк зятя хозяина, похвалил чистоту избы — хотя изба была довольно грязная,— сказал, что в таком хозяйстве не может не быть свиньи, попросил напиться, и кончилось это тем, что нас накормили до отвала, продали свинью и проводили за ворота. «Вот вам и бином»,— сказал я командиру, вернувшись. И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, у меня ничего не выходило; они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренно этого хотел. На бронепоезде у нас преобладали, однако, люди, уже обтершиеся и получившие известный лоск: железнодорожные служащие, телеграфисты. Солдаты наши очень франтили, носили «вольные» брюки, что считалось вольнодумством, а некоторые унизывали пальцы кольцами и перстнями таких гигантских размеров, что поддельность их ни у кого решительно не вызывала ни малейших сомнений. Самое большое количество драгоценностей носил первый из бронепоездных негодяев, бывший мясник Клименко. Все свободное время он находился в состоянии напряженного внимания: левая рука его не переставала крутить усы, а правую он держал в воздухе, поближе к глазам, чтобы лучше видеть блеск своих колец. О его дурных качествах узнали после того, как он украл у своего соседа деньги, попался и когда командир сказал ему: «Ну, Клименко, выбирай: или я тебя под суд отдаю, и тебя расстреляют, как собаку, или я выстрою весь бронепоезд и перед фронтом дам тебе несколько раз по физиономии». Клименко стал на колени и просил, чтобы командир дал ему по физиономии. Клименко сказал: по морде. Это было сделано на следующее утро; и потом, у себя в вагоне, Клименко часто вспоминал это и говорил: «Я могу только смеяться с дурости командира»,— и действительно смеялся. Вторым негодяем считался бывший начальник какой-то маленькой железнодорожной станции, Валентин Александрович Воробьев. Как большинство пожилых уже негодяев, он был чрезвычайно благообразен: носил пышную бороду, которую бережно расчесывал; он был очень любезен в обращении, пел высоким голосом грустные украинские песни, и вместе с тем тип отъявленного мерзавца был доведен в нем до конца. Он мог подвести товарища под суд, мог, как Клименко, обокрасть своего же соседа и уж, конечно, в трудных обстоятельствах выдал бы всех. Когда я приехал на бронепоезд, он в тот же день украл у меня коробку с тысячью папирос. Кажется, этого человека очень любили женщины, он жил со всеми служанками и подметальщицами, которые находились в его подчинении, а когда одна из них отвергла его, он написал на нее донос, обвинив ее в социализме, хотя бедная женщина была неграмотной,— и ее арестовали и отправили куда-то по этапу; была зима, женщина эта уехала с двухлетней своей девочкой на руках. Глядя на Воробьева, я часто думал о том, почему женщины нередко отдают предпочтение негодяям: может быть, потому, говорил я себе, что негодяй более индивидуален, чем средний человек; в негодяе есть что-то, чего нет в других; и еще потому, что каждое, или почти каждое, качество, доведенное до последней своей степени, перестает рассматриваться как обыкновенное свойство человека и приобретает притягательную силу исключительности. И так как, несмотря на то, что прежняя моя жизнь кончилась, я еще не совершен но ушел от нее, и некоторые гимназические привычки еще оставались у меня, я был еще гимназистом, то мои мысли принимали особый оборот, заранее обрекавший их на бесплодность и несоответствие первона-

чальным соображениям, которые, таким образом, служили мне только предлогом для возвращения моей фантазии в ее излюбленные места. Женщины любили плачей; и исторические преступления, совершенные сотни лет тому назад, до сих пор не утеряли для них своего волнующего интереса; и почему не предположить, что Воробьев — это миниатюра грандиозных преступлений? Но это было нелепо и не походило ни на что. Воробьев занимался тем, что воровал в соседних товарных составах сахар и мануфактуру, а однажды ухитился, маневрируя ночью на паровозе, увести из поезда генерала Трясунова, командующего фронтом, новенький желтый вагон второго класса. Но вечерами, лежа на своей койке с побледневшим от пьянства лицом и мутными, печальными глазами, он все сокрушался о том, что волею судеб вынужден принимать участие в гражданской войне.

— Боже мой! — говорил он чуть ли не со слезами. — Какая обстановка! Расстрелянные, повешенные, убитые, замученные. Да я-то тут при чем? Кому я какое зло сделал? За что все это? Господи, мне бы домой; у меня жена, ребятишки маленькие спрашивают: где папа? А папа сидит тут, под виселицами. Что я детям скажу? — кричал он. — Где мое оправдание? Одно вот утешение: приедем в Александровск, приду к жене ночью, неожиданно. Скажу: заждалась, милая? А я вот он.

И, действительно, в Александровске Воробьев побывал у жены и вернулся умиротворенным. Но когда мы отъехали верст сорок и простояли на маленькой станции трое суток, он опять загрустил:

— Боже мой, какая обстановка! Расстрелянные, повешенные. За что? — опять кричал он. — Дети спросят: ты где был, папа? Что я им скажу? — Он умолк, вздохнул и потом сказал задумчиво: — Вот приедем в Мелитополь, пойду к жене, снова буду дома. Что, скажу, заждалась, милая? А я вот он.

— А ваша жена уже в Мелитополе? — спросил я.

Он поглядел на меня невидящими, пьяными глазами, в которых стояло выражение умиления и благодарности:

— Да, милый друг, в Мелитополе.

Но, и уехав из Мелитополя, он продолжал мечтать, как приедет к жене, на этот раз уже в Джанкой.

— У тебя, брат, жена прямо клад, — говорили ему с насмешкой. — Не жена, а Богородица бездесущая. Как же это она в Александровске, и в Мелитополе, и в Джанкое? И везде детишки и квартира. Здорово ты устроился.

И тогда Воробьев привел объяснение, которое, по-видимому, казалось ему совершенно достаточным. Всех остальных оно очень удивило.

— Дети, — сказал он, — да ведь я железнодорожник.

— Ну так что же?

— Чудаки, — изумился Воробьев. — Видно, службы железнодорожной не знаете. В каждом городе жена, дорогие, в каждом городе.

Третий негодяй был Парамонов, студент, которого незадолго до моего поступления легко ранили в ногу. Он, собственно, зла никому не причинял, но каждый день часа за два до докторского обхода он втирал себе в рану масло, не давая ей таким образом заживляться, и поэтому он считался раненым бесконечно долго и не ездил на фронт. Все видели и знали, как он поступает, но относились к нему с молчаливым презрением и презрительностью, и ни у кого не хватало духа сказать ему, что так делать нехорошо. Он всегда бывал один, с ним избегали разговаривать; он сидел обычно в своем углу и, украдкой поглядывая кругом, ел сало и хлеб — он был очень прожорлив. Он жил, как одинокое животное, присутствие которого тер-

пят, хотя оно и неприятно. Он был молчалив и враждебен ко всем; и когда проходили мимо его койки, он следил за проходившими настороженным и злым взглядом. Потом его куда-то откомандировали. Я вспомнил о Парамонове через несколько лет, уже за границей, когда видел умирающего филина, привязанного тугу замотанной тесемкой к дереву; едва привязан — заслышиав чьи-нибудь шаги, филин выпрямлялся, перья его топорчились, он медленно взмахивал крыльями и щелкал клювом; и желтые его глаза слепо и злобно смотрели перед собой. Были на поезде вруны, мошенники, был даже один евангелист, который пришел неизвестно откуда, поселился в нашем вагоне и жил безбедно и беззаботно, проповедуя не-противление злу. «Я до этой вашей винтовки никогда не дотрагивался и не дотронусь, — говорил он. — Грех». «А если на тебя нападут?» «Словом буду отражать». Но однажды, когда он принес себе обед — котелок с борщом и котелок с кашей, — а его у него потихоньку стащили, он пришел в ярость, схватил по странной случайности ту винтовку, к которой обещал не прикасаться, и наделал бы много бед, если бы его не обезоружили. Но самым удивительным человеком, которого я видел на войне, был солдат Копчик, внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени. Он ненавидел всякую работу, все делая с величайшим трудом и вздохами, хотя был совершенно здоров и силен. Солдаты недолюбливали его за постоянное увиливание от нарядов: им приходилось многое за него делать. Он всегда жил, как-то скрываясь, полный боязни перед тем, что его вдруг заставят грузить в вагоны муку, или носить воду, или чистить картофель. Он изредка проходил вдоль базы, и тотчас же его небритый подбородок, слезящиеся глаза и вся фигура в обтрепанном и грязном френче и таких же штанах исчезали, и уже через минуту его с собаками не сыскали бы. На фронт он старался не ездить по той же причине, по какой прятался в базе: там тоже нужно было работать; но если в тылу была еще возможность уклониться от этого, то на площадке, в бою, это становилось немыслимым. Лень этого солдата была в нем неизмеримо сильнее, нежели страх смерти, потому что смысла опасности он до конца не понимал, а то, что работа мешала ему жить в праздности и мечтать — что он любил больше всего на свете, — это он знал превосходно. Я не представлял себе такого случая, когда Копчик вдруг мог бы проявить хоть часть своей огромной энергии, уходившей на придумывание способов уклониться от всякого труда и на долгое лежание под вагоном, как он это делал в жаркую летнюю погоду. Я не знал, способен ли Копчик совершить хоть ничтожный поступок, но который бы каким-нибудь образом показал, что он думает, чем он живет и что составляет предмет его долгих размышлений, наполняющих обычное его безделье. И вот однажды на площадке во время сильного боя, когда Копчик со страданием в глазах вытаскивал снаряды из их гнезд и подавал их к орудию и каждый снаряд сопровождал жалобным вздохом, а после пятого сказал: «Спина разболелась, тяжелые очень снаряды», — неприятельская граната разорвалась над нашим орудием; раненный в живот, наводчик упал на пол, и пушка перестала стрелять. В мгновенно наступившем замешательстве никто не знал, что делать, и только Копчик, который увидел, что больше ему покамест работать не придется, облегченно вздохнул, похлопал рукой горячую еще пушку и изменившейся, почти подпрыгивающей, походкой подошел к раненому. Кровь заливалась пол, смертельная, последняя тревога была на лице раненого.

— Ты не помрешь, — сказал ему Копчик среди общего молчания. Вдалеке, с равными промежутками времени, раздались четыре пушечных выстрела. — По-

смотри, какой ты здоровый,— спокойно продолжал он,— кровь у тебя очень красная, а который человек больной, у того она синяя.

— Сердце не выдержит,— сказал наводчик.

— Сердце? — переспросил Копчик.— Это неправильно. Сердце у тебя крепкое, а если бы было слабое, тогда, конечно, не выдержало бы. Вот я тебе расскажу про слабое сердце. Пошел я раз коней купать, вижу, недалеко сидит водяной и очень грустный.— Наводчик с усилием посмотрел на Копчика.— А ну-ка, думаю, дай пугнү. И пугнул. Как крикну: «Ты чего, борода, здесь делаешь?» Он и помер с испугу, потому что сердце у него слабое, не человеческое, вот какое сердце. А у тебя сердце очень крепкое.

Но, не доехав до базы, наводчик умер; и когда через три дня я, проходя по полотну, увидел из-под вагона свалявшиеся волосы Копчика, у меня стало странно на душе и смутно, и я поскорее от него отвернулся: было в этом солдате что-то нечеловеческое и нехорошее, что я хотел бы не знать. Но мое внимание отвлекла ссора главной кухарки офицерского собрания, поменявшегося в особом пульмановском вагоне, с бронепоездным чистильщиком сапог, пятнадцатилетним красивым мальчишкой Валей, который, будучи любовником этой немолодой и хромой женщины, изменил ей не то с прачкой, не то с судомойкой; она при всех ругала его за это нецензурными словами, и три солдата, стоявшие неподалеку, смеялись от всего сердца. Романы со служанками отнимали у офицеров и наиболее предприимчивых солдат довольно много времени; служанки быстро поняли себе цену и заважничали; и одна из них, крупная ярославская баба Катюша, не хотела знать никого и не внимала никаким уговариваниям до тех пор, пока ей не платили вперед. Бронепоездной рассказчик сальных анекдотов, поручик Дергач, жаловался на нее всем окружающим.

— Нет, господин поручик,— гордо говорила Катюша.— Я теперь задаром ни с кем не сплю. Дайте мне кольцо с вашей руки, я с вами спать буду.

Дергач долго колебался. «Вы понимаете,— рассказывал он,— это кольцо — священный подарок моей невесты». Но любовь, как он говорил, превозмогла, и нет теперь кольца у поручика Дергача, разве что другое купил.

<...> Было много невероятного в искусственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пулеметов: они двигались по полям Южной России, ездили верхом, мчались на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей артиллерией, умирали и шевелились и, умирая, тщетно пытались наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то своим, не божественным смыслом. И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, со зерцателями и бездельниками,— эти люди сильнее, чем все другие, страдали от неправильности и неестественности происходящего и скорее, чем другие, погибали. Так погиб, например, бронепоездной парикмахер Костюченко, молодой солдат, пьяница и мечтатель. Он кричал по ночам, ему все снились пожары, и лошади, и паровозы на зубчатых колесах. Целыми днями, с утра до вечера, он точил свою бритву, покрививая и смеясь сам с собой. Его начинали сторониться. В один прекрасный день, брея утром командира бронепоезда, в присутствии которого солдату не полагалось разговаривать, он вдруг запел скроговоркой пляшущий мотив с неожиданно обрывающимися звуками, характерными для некоторых солдатских песен:

Ой, ой!

Подхожу я к кабаку,

Лежит баба на боку,  
Спит.

Он голосил, не переставая привычными механическими движениями брить сразу покрасневшие щеки командира. Потом он отложил бритву в сторону, сунул два пальца в рот и пронзительно засвистел, затем опять схватил бритву и изрезал занавески на окне. Его вывели из купе командира и долго не знали, что с ним делать. Наконец решили — и втолкнули его в пустой товарный вагон одного из тех бесчисленных поездов, которые везли неизвестно зачем и куда трупы солдат, умерших от тифа, и подирыгающие тела больных, не успевших еще умереть. Больные лежали на соломе, деревянный пол с многочисленными щелями трясясь и уносился вместе с ними, и, куда бы ни ехал поезд, они все равно умирали; и после суток путешествия тела больных делали только те мертвые движения, которые происходили от толчков поезда — как происходили бы с тушами убитых лошадей или околевших животных. И Костюченко увезли в пустом вагоне; никто не узнал, что с ним потом стало. Я представлял себе в темноте наглоухо закрытой теплушке его блестящие глаза и то непостижимое состояние его смутного ума, где-то вдали мерцающего сознания, которое бывает у сумасшедших. Но случай Костюченко был последним, относящимся ко времени нашего пребывания в прифронтовой полосе, потому что после долгой зимы и синих ледяных зеркал Сивашей и этого постоянного вида песчаной дамбы с черными шпагами — от красных огней семафоров, от пузатых водокачек с замерзшей водой, которые мы видели, проводя дни и недели «на подступах к Крыму», после Джанкоя, где долго стояла наша база, — мы уехали в глубь страны. Мы долго стояли в Джанкое с темными домами, где ютились какие-то офицерские Мессалины, давно оставшиеся без мужей и приходившие к нам в вагоны пить водку, есть бифштексы, принесенные из вокзального буфета, и, насытившись, с икотой утомленной жадности беспокойно ерзать по сиденьям купе, и быстрыми незаметными движениями расстегивать потерянные платья, и потом плакать, кричать от страсти, и через две минуты опять плакать, но уже умиленными, более прозрачными слезами, и жалеть, как они говорили, о прошлом; и сожаление их вдруг окрашивало в небывалые, праздничные цвета глухую жизнь в провинции, замужем за пехотным капитаном, пьяницей и игроком; им казалось, что они не понимали тогда своего бедного счастья и что их жизнь была хорошей и приятной; они не владели, однако, искусством воспоминания и все всегда рассказывали в одних и тех же словах, как в ночь под Пасху они ходили с зажженными свечами и как звонили колокола. До войны и бронепоезда я никогда не видел таких женщин. Они говорили с военными словечками и выражениями и держались развязно, особенно после того, как утоляли голод, хлопали мужчин по рукам и подмигивали им. Знания их были изумительно скучны; страшная душевная нищета и смутная мысль о том, что жизнь их должна была бы идти иначе, делали их неуравновешенными; и по типу своему они больше всего походили на проституток, но проституток с воспоминаниями. Только одна из этих женщин, которые теперь неотделимы для меня от грязного бархата диванов, от джанкоеких керосиновых фонарей и аккуратных ломтиков маринованной селедки, подававшейся к вину и водке, — Елизавета Михайловна, была непохожа на своих подруг. Как-то случалось всегда так, что она приходила к нам, когда я спал, это бывало или часов в девять утра, или часа в два ночи. Меня будили и говорили: «Проснись, неудобно, пришла Елизавета Михайловна», и это соединение имен на минуту пробуждало меня; и через некоторое время получилось так, что Елизавета Ми-

хайловна — это неведомая спутница моих снов: «Елизавета Михайловна» — слышу я и сплю, и опять слышу: «Елизавета Михайловна». Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красивым ртом и смеющимися глазами; и на желтоватой коже ее лица будто плясали синеватые искры. Она была похожа на иностранку. Я бы никогда не узнал о ней ничего, если бы однажды, проснувшись, не услыхал ее разговора с одним из моих сослуживцев, филологом Лавиновым. Они говорили о литературе, и она нараспив читала стихи, и по звуку ее голоса было слышно, что она сидела и покачивалась. Лавинов был самым образованным среди нас: любил латынь и часто читал мне записки Цезаря, которые я слушал из вежливости, так как совсем недавно учил их в гимназии и, как все, что вынужден был учить, находил скучными и неинтересными; но с любовью к лаконичному и точному языку Цезаря у Лавинова соединялось пристрастие к меланхолической лирике Короленко и даже некоторым рассказам Куприна. Больше всего, впрочем, он любил Гаршина. Однако, несмотря на такой странный вкус, он всегда прекрасно понимал все, что читал, и понимание его превышало его собственные душевные возможности; и это придавало его речи особенную неуверенность; знания же его были довольно обширны. Он говорил своим низким голосом:

— Да, Елизавета Михайловна, вот как приходится. Нехорошо.

— Да, нехорошо.

Так разговор продолжался довольно долго — все о том, что хорошо или нехорошо. Казалось, что у них нет иных слов. Но Елизавета Михайловна не уходила; и по ее тону было слышно, что в ответ на каждое «хорошо» или «нехорошо» Лавинова в ней происходит нечто важное и вовсе не имеющее отношения к этому разговору, но одинаково значительное и для нее, и для Лавинова. Так бывает, что когда тонет кто-нибудь, то над ним на поверхности появляются пузыри; и тот, кто не видел ушедшего в воду, заметит только пузыри и не придаст им никакого значения; и между тем под водой захлебывается и умирает человек, и пузырями выходит вся его долгая жизнь со множеством чувств, впечатлений, жалости и любви. То же происходило и с Елизаветой Михайловной: «хорошо» или «нехорошо» были только пузырями на поверхности разговора. Потом я услыхал, как она зашлакала и как Лавинов говорил с ней дрожащим голосом; затем они оба ушли. Больше она к нам не приходила, и только незадолго до отъезда я видел ее с Лавиновым на вокзале; я сидел за столом против них и обедал, и, когда я съел четвертый пирожок, Елизавета Михайловна засмеялась и сказала, обращаясь к Лавинову:

— Ты не находишь, что у твоего спящего коллеги, когда он бодрствует, прекрасный аппетит?

Лавинов глядел на нее стеклянными от счастья глазами и на все вопросы отвечал утвердительно. Елизавета Михайловна была чисто одета; вид у нее был уверенный и доволеный. И теперь, когда она была, по-видимому, счастлива, я вдруг ощущил сожаление, точно было бы лучше, если бы она оставалась такой, как раньше, когда я видел ее сквозь сон, просыпаясь, и засыпая, и слыша это соединение имен: Елизавета Михайловна; оно не переставало оставаться именем женщины, но стало для меня одним из моих собственных состояний, помещавшихся между темными пространствами сна и красивым бархатом диванов, который появлялся передо мной, как только я открывал глаза.

После Джанкоя и зимы в моей памяти возникал Севастополь, покрытый белой каменной пылью, не-подвижной зеленью Приморского бульвара и ярким

песком его аллей. Волны бьются о плиты пристаней и, отходя, обнажают зеленые камни, на которых растет мох и морская трава; она бессильно полощется в воде, и ее свисающие стебли похожи на ветви ивы; на рейде стоят броненосцы, и вечный пейзаж моря, мачт и белых часк живет и шевелится, как везде, где было море, пристань и корабли и где теперь возвышаются каменные линии домов, построенных на желтом песчаном пространстве, с которого склынулся океан. В Севастополе яснее, чем где бы то ни было, чувствовалось, что мы доживаем последние дни нашего пребывания в России. Приплывали и отплывали пароходы, уходили с берега английские и французские матросы, и их корабли скрывались в море — и, казалось, возвращаться отсюда назад в Россию невозможно; казалось, море всегда было входом в нашу родину, которая находилась далеко от этих мест, на картах тропических стран с прямыми деревьями и ровными квадратами зеленой земли; и то, что мы считали родными сухой зной Южной России, безводные поля и соленые азиатские озера, было только заблуждением. Однажды я убил из винтовки нырка; он долго качался на волнах и должен был, казалось, вот-вот подплыть к берегу, но прибрежное течение снова относило его, и я ушел только тогда, когда стемнело и нырок стал не виден. С таким же бессилием и мы колебались на поверхности событий; нас относило все дальше и дальше — до тех пор, пока мы не должны были, оставив зону российского притяжения, попасть в область иных, более вечных влияний и плыть без романтики и парусов на черных угольных пароходах прочь от Крыма побежденными солдатами, превратившимися в оборванных и голодных людей. Но это случилось несколько позже; а весной и летом тысяча девятьсот двадцатого года я скитался по Севастополю, заходя в кафе, и театры, и удивительные «восточные подвалы», где кормили чебуреками и простоквашей, где смуглые армяне с олимпийским спокойствием взирали на пыянные слезы офицеров, поглощавших отчаянные алкогольные смеси и распевавших неверными голосами «Боже, царя храни», которое звучало одновременно неприлично и грустно, давно утеряло свое значение и глохло в восточном подвале, куда из петербургских казарм докатилось музыкальное величие прогоревшей империи; оно скользило по закопченным стенам и застревало между грузинскими грудями нарисованных голых красавиц с широкими крупами, лошадиными глазами и необыкновенно ровными деревянными струями табачного дыма, выходившего из их кальянов. Вся грусть провинциальной России, вся вечная ее меланхолия наполняла Севастополь. В театрах одесские артистки с аристократическими псевдонимами пели грудными голосами романсы, которые совершенно независимо от их содержания звучали чрезвычайно печально; и они пользовались большим успехом. Я видел слезы на глазах обычно нечувствительных людей; революция, лишив их дома, семьи и обедов, вдруг дала им возможность глубокого сожаления и на миг освобождала от грубы, военной оболочки их давно забытую, давно утерянную душевную чувствительность. Эти люди точно участвовали в безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впервые увидели, что и у них есть биография и история их жизни, потерянное счастье, о котором раньше только читали в книгах. И Черное море представлялось мне как громадный бассейн вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя — как древняя стена плача. Жаркие воздушные волны перекатывались через город — и вдруг принимался дуть ветер, поднимая рыбь на воде и еще раз напоминая о неминуемом отъезде. Уже говорили о заграничных паспортах, уже начинали укладывать вещи; но некоторое время спустя броненосец опять посыпал на

фронт, и мы уезжали, оглядываясь на море, ныряя в черные туннели и вновь возвращаясь к тем враждебным российским пространствам, из которых с таким трудом выбрались прошлой зимой. Это было последнее наступление белой армии: оно продолжалось недолго, и вскоре опять по замерзающим дорогам войска бежали на юг. В те месяцы судьба армии меня интересовала еще меньше, чем раньше, я не думал об этом; я ездил на площадке бронепоезда мимо выжженных полей и желтых деревьев, мимо рощ, сопровождавших рельсы; а осенью меня отправили в командировку в Севастополь, немного изменившийся, потому что было уже начало октября. Там я чутко не утонул, переплывая на дрянном катере с северной стороны бухты в южную во время бури, и, пробыв в Севастополе несколько дней, я отправился обратно на бронепоезде, который еще был в моем воображении таким, каким я его оставил; в самом же деле он давно был захвачен красноармейскими отрядами, база его тоже досталась им, команда его разбежалась, и только три десятка солдат и офицеров кое-как отступали вместе с остальными войсками: они поместились все в одной теплушке и тряслись в ней; мутно глядя на красные стены и не вполне еще поняв, что нет теперь ни бронепоезда, ни армии, что убит Чуб, наш лучший наводчик, что умер Филиппенко, которому оторвало ногу, что остался в плену Ваня-матрос, умевший очень замысловато ругаться, и что вся хозяйственная часть во главе с артельщиком Михутиным, состоявшая из индюка, одной живой свиньи, телят и лошадей, тоже не существует в том прекрасном зоологическом виде, к которому они привыкли. Лапшин, один из моих товарищей, не расстававшийся и в теплушке со своей мандолиной и игравший то «Похоронный марш», то «Яблочко», беззаботно говорил:

— Если погибли индюк и свинья, не выдержав этого поворота колеса истории, то нам уж и подавно... Нам только ехать да ехать...

Многие остались, не желая отступать, кое-кто отправлялся назад на север, в красную армию, а на одном из встречных поездов они увидели Воробьеву в железнодорожной фуражке с красным верхом; он медленно уезжал, грозил кулаком и протяжно кричал: «Сволочи! Сволочи!» — точно ехал на плоту, сплавляя по реке лес и напрягая голос именно так, как надо напрягать на реке или на озере.

Поезд, в котором я ехал навстречу отступающим войскам, остановился на маленькой станции и не пошел дальше. Никто не знал, почему поезд стоит. Потом я услыхал разговор какого-то офицера с начальником состава. Офицер быстро говорил:

— Нет, вы мне скажите, почему мы стоим, нет, я вас спрашиваю, какого черта мы тут застряли, нет, я, знаете, этого не потерплю, нет, вы мне ответьте...

— Нельзя дальше ехать: у нас в тылу красные, — отвечал второй голос.

— В тылу — это не впереди. Если бы было впереди, тогда действительно нельзя было бы ехать. Ведь не назад же вам двигаться, не в тыл, поймите вы, черт возьми...

— Я состав не пущу.

— Да почему?

— В тылу красные.

После этого послышались ожесточенные ругательства, и затем начальник состава сказал плачущим голосом:

— Не могу я ехать, в тылу красные.

<...> Едва начинало светать. Звенели и сыпались стекла, дул ветер; базу бронепоезда усиленно обстреливали из пулеметов. «Буденовцы! — плакала крестьянка. — Буденовцы!» Неподалеку от нас тяжело бухали шестидюймовые орудия морской батареи,

отвечающие на обстрел красной артиллерией. Я вышел на площадку вагона и увидел в полуверсте от базы серую массу буденовской кавалерии. В воздухе стоял стон и грохот от стрельбы. Близко послышался звук полета снаряда среднего калибра, и по звуку легко было определить, что снаряд попадет в наш или в соседний вагон; и по тому, как замолкла баба, бессознательно подчиняясь ощущению душевной и физической тишины, предшествующей минуте страшного события, я понял, что она, не знающая ничего о тех различных тонах жужжания гранат, по которым артиллеристы слышат, куда приблизительно попадет разрыв, почувствовала страшную опасность, угрожавшую ей. Но снаряд попал в соседний вагон, набитый ранеными офицерами; и из него сразу понеслась целая волна криков, как это бывает в концерте, когда дирижер быстрым движением вдруг вонзает палочку в правое или левое крыло оркестра, и оттуда мгновенно рвется вверх целый фонтан звона, шума и трепета струн. Шестидюймовые орудия, не переставая, посыпали снаряд за снарядом прямо в черную массу людей и лошадей, и в столбах, поднимаемых разрывами, мелькали какие-то черные куски.

<...> Еще через день блуждания между бесчисленными вагонами, товарными составами и обозами я нашел тех сорок человек, которые продолжали называться бронепоездом «Дым», хотя бронепоезда больше не было. Армия таяла с каждым часом; обозы ее гремели по мерзлой дороге, армия скрывалась на горизонте, и ее шум и движение уносились с сильным ветром. Это происходило шестнадцатого и семнадцатого октября, а в двадцатых числах того же месяца, когда я сидел в деревенской избе, недалеко от Феодосии, и ел хлеб с вареньем, запивая его горячим молоком, в комнату с возбужденным и улыбающимся лицом вошел мой сослуживец Митя-маркиз. Его называли так потому, что, когда его однажды спросили, какая из всех прочитанных им книг понравилась ему больше всего, он сказал, что это роман неизвестного, но, несомненно, хорошего французского писателя, и роман назывался «Графиня — ницца». Я читал этот роман, потому что Митя возил его с собой; главными действующими лицами там были особы титулованные; Митя не мог без волнения читать такие книги, хотя сам был уроженцем Екатеринославской губернии, не видел ни одного большого города и о Франции не имел решительно никакого представления, но слова «маркиз», «граф» и особенно «баронет» были исполнены для него глубокого значения, и поэтому его прозвали маркизом. «Джанкой взят», — сказал Митя-маркиз с радостью, которую всегда испытывал даже в тех случаях, когда сообщал самые печальные новости; но всякое крупное событие пробуждало в нем счастливое чувство того, что он, Митя-маркиз, опять остался невредим; и раз уж начали происходить такие важные вещи, то, значит, в дальнейшем предстоит что-то еще более интересное. Я помнил, что в самых тяжелых обстоятельствах, если даже кто-нибудь был убит или смертельно ранен, Митя-маркиз говорил с оживлением и часто дыша, чтобы скрыть свой смех: «А Филиппенко ногу оторвало», «А Черноусов в живот ранен», «А поручик Санин в левую руку: прямо судьба!» «Взяли Джанкой, значит, плохо дело», — сказал Митя. Джанкой действительно находился по эту сторону укреплений, уже в Крыму. Джанкой: керосиновые фонари на перроне, женщины, приходившие в наш вагон, бифштексы из вокзального буфета, записки Цезаря, Лавинов, мои сны — и во сне Елизавета Михайловна. Мимо деревни один за другим прошли четыре поезда по направлению к Феодосии. Через несколько часов путешествия мы тоже были уже там: был вечер, и нам отвели квартиру в пустом магазине, голые полки которого служили

нам постелью. Стекла магазина были разбиты, в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров; и казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники, и в их словах есть несомненная и печальная значительность, которой не было у нас самих; но эхо возвышало наши голоса, делало фразы более протяжными; и, слушая его, мы начинали понимать, что произошло нечто непоправимое. Мы с ясностью услышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха. Мы видели, что мы уедем; но мы понимали это только как непосредственную перспективу, и наше воображение не уходило дальше представления о море и корабле.

Когда я стоял на борту парохода и смотрел на горящую Феодосию — в городе был пожар, — я не думал о том, что покидаю мою страну и не чувствовал этого до тех пор, пока не вспомнил о Клэр. «Клэр», — сказал я про себя и тотчас увидел ее в меховом облаке ее шубы; меня отделяли от моей страны и страны Клэр вода и огонь; Клэр скрылась за огненными стенами.

Долго еще потом берега России преследовали пароход: ссыпался фосфорический песок на море, прыгали в воде дельфины, глухо вращались винты и скрипели борты корабля; и внизу, в трюме, слышалось всхлипывающее лепетание женщин и шум зерна, которым было гружено судно. Все дальнее и слабее виделся пожар Феодосии, все чище и звучнее становился шум машин; и потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России и что мы плывем в море, окруженные синейочной водой, под которой мелькают спины дельфинов, и небом, которое так близко к нам, как никогда.

«Но ведь Клэр француженка, — вспомнил вдруг я, — и если так, то к чему же была эта постоянная и напряженная печаль о снегах и зеленых равнинах и о всем том количестве жизней, которые я проводил в стране, скрывшейся от меня за огненным занавесом?» И я стал мечтать, как я встречу Клэр в Париже, где она родилась и куда она, несомненно, вернется. Я увидел Францию, страну Клэр, и Париж, и площадь Согласия; и площадь представилась мне иной, чем та, которая изображалась на почтовых открытках — с фонарями, фонтанами и наивными бронзовыми фигурами; по фигурам непрестанно бежит и струится вода и блестит темными сверканиями, — площадь Согласия вдруг предстала мне иной. Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя, и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натыкаясь на незримую воздушную стену — воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России. На пароходе отбивали склянки, их удары сразу напомнили мне бухту в Севастополе, покрытую множеством судов, на которых светились огоньки, и в определенный час на всех судах звучали эти удары часов — на одних глухо и надтреснуто, на других тупо, на третьих звонко. Склянки звенели над морем, над волнами, залитыми нефтью; вода плескалась о пристань, и ночью Севастопольский порт напоминал мне картины далеких японских гаваней, заснувших над желтым океаном, таких легких, таких непостижимых моему пониманию. Я видел японские гавани и тоненьких девушек в картонных домиках, их нежные пальцы и узкие глаза, и мне казалось, что я угадывал в них ту особенную смесь целомудрия и бесстыдства, которая заставляла путешественников и авантюристов стремиться к этим желтым берегам, к этому монгольскому волшебству, хрупкому и звонкому, как воздух, превратившийся в прозрачное цветное стекло. Мы

долго плыли по Черному морю; было довольно холодно, я сидел, закутавшись в шинель, и думал о японских гаванях, о пляжах Борнео и Суматры, и пейзаж ровного песчаного берега, на котором росли высокие пальмы, не выходил у меня из головы. Много позже мне пришлось слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, как звук задрожавшей пилы, который я запомнил еще с того времени, когда мне было всего три года; и тогда, в приливе внезапного счастья, я ощутил бесконечно сложное и сладостное чувство, отразившее в себе Индийский океан, и пальмы, и женщины оливкового цвета, и сверкающее тропическое солнце, и сырье заросли южных растений, скрывающих змеиные головы с маленькими глазами; желтый туман возник над этой тропической зеленью и волшебно клубился и исчезал, — и опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст, переносил меня в Петербург с замерзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала в далекий ландшафт островов Индийского океана; Индийский океан, как в детстве, в рассказах отца, раскрывал передо мной неизведанную жизнь, поднимающуюся над горячим песком и проносящуюся, как ветер, над пальмами.

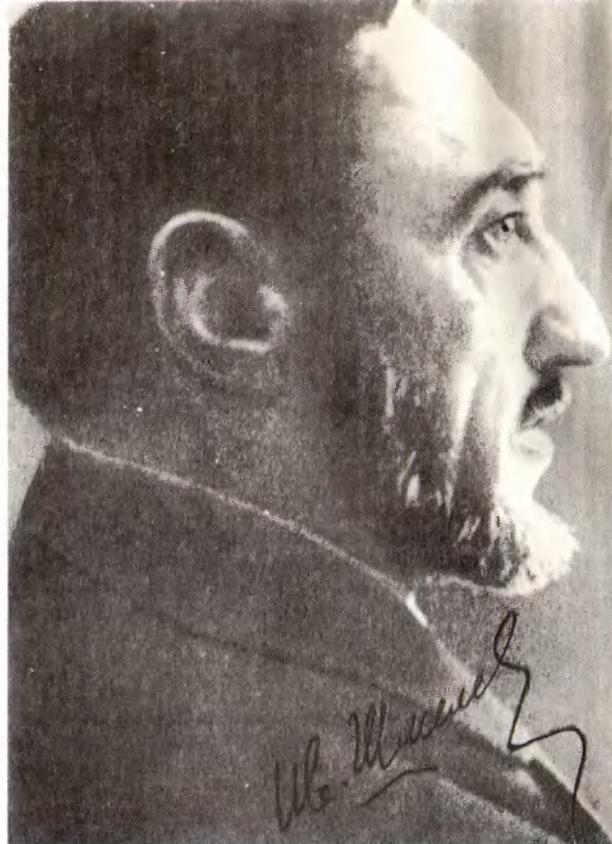
Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь; и уже на пароходе я стал вести иное существование, в котором все мое внимание было направлено на заботы о моей будущей встрече с Клэр во Франции, куда я поеду из старинного Стамбула. Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываюсь и сменяясь другими; но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня, и, когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и заглушенее, — что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой снявшими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались не видны; и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол, и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр.

Париж, июль 1929 г.

Подготовка текста и публикация  
Ст. НИКОНЕНКО.

Иван ШМЕЛЕВ

## РАССКАЗЫ



### Про одну старуху

Рассказ бывалого человека

#### О тьме и просветлении

I.

**Настоящий художник не «занимает» и не «развлекает»: он овладевает и сосредоточивает.**

**Доверившийся ему читатель сам не замечает, как он попадает в некий художественный водоворот, из которого выходит духовно заряженным и, может быть, обновленным. Он очень скоро начинает чувствовать, что в произведениях Шмелева дело идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о жизни и о смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о священных предметах; и притом, что самое удивительное, не просто о судьбе описываемых персонажей (с которыми «что-то», «где-то», «когда-то» случилось), а о собственной судьбе самого читателя, необычайным образом настигнутого, захваченного и вовлеченного в какие-то события.**

...Создания Шмелева рождаются из сердца. ...Человек с холодным сердцем и мертвым чувством никогда не будет художественно жить вместе со Шмелевым.

...Заглавия Шмелева всегда символически существенны и центральны: они выражают главное содержание художественного предмета. Таково, например, заглавие «Про одну старуху», где под «старухой» разумеется не только «этота старуха», но еще Россия-Родина-Мать, брошенная своим сыном и погибельно борющаяся за своих внучат, за грядущие поколения: это нигде не выговорено в рассказе, символ не раскрывается в виде науки; напротив, эта символика таится поддонно, молчаливо, но она зрела в душе автора и медленно зреет в душе читателя, который в конце рассказа переживает весь ужас этого прозрения.

Иван ИЛЬИН

...Как мы с ней тогда на постоялом ночевали, она мне про свое все жалилась. Да и после много было разговору...

В то лето я по всяким местам излазил, не поверишь... Да тифу этого добивался... а он от меня бегал! Кругом вот валятся,— а не постигает! Самовольно с собой распорядиться совесть не позволяла, так на волю Божию положил... Да, видно, рано еще... не допито. Потом один мне монах в Борисоглебске объяснил:

— Два раза Господь тебя от смерти чудесно сохранил — вот ты и должен помнить, а не противляться! А за свою настойчивость обязательно бы своего добился, каждому дана свобода, да, значит, раньше уж сыпняк у тебя был, застраховал!..

В самую эпидемию ложился, в огонь!.. И где я не гонял тогда, с места на место, как вот собака чумелая! А думают — спекулянт, дела крутит... Правда, многие меня знаяли, как, бывало, дела вортел... а теперь один, как перст, гнездо разорено... По России теперь таких!.. Какие превращения видал... — не поверишь, что у человека в душе быть может: и на добро, и на зло. А то все закрыто было. Большое превращение... на край взошли!..

Так вот, про старуху... А про себя лучше не воротишься.

Из Волокуши она, Любимовского уезду, за Костромой... а я-то ярославский, будто и земляки. Да в каждой губернии таких старух найдется. Ну, от войны да смуты ей, пожалуй, что всех тяжелей досталось. Махонькая была, сухенькая, а одна ломила — и по дому, и в поле. Легкая была на ногу, кость да жилка, и годов уж за шестьдесят. Невестка неделями от спины валялась, трое ребятишек, мелочь,— все на одной старухе. И характером настойчивая была, сурьезная. Сын, Никешка, спяну побьет когда... — да чтобы она соседям!.. Поплачет перед печкой с чугун-

ками — слезой-то и вытекет. И жену-то он доконал, побилшибко на масленой, у кума из-за блинов скандал затеял да в полынью с санями и угодил... привез полумертвую — на въезде и бросил, в казенку западобилось. Калекой с того и стала.

Как старуху-то я за Тамбовом встретил — совсем уж и не узнать,шибко заслабела, и в голове уж непорядки, от расстройства. Да и все... — спокою ни у кого нет. Про себя скажу: во скольких уж я делах кружился, и все в голове, бывало, держу... а с семнадцатого года стал путать. А как два раза пистолет приставляли, и гнездо все напи.. Ну, сурьезная была старуха, горбом возила. К господам Смирновым на поденщину бегала — полы помыть, пополоть, на сенокос там... У господ Смирновых делянки снимал я прежде... — имение какое было, сколько народу от них кормилось!.. — ну, деревню ее хорошо знаю, Волокуши, — округ по лесам работали. И на маслобойку гоняла посуду мыть — там ей снятым молочком пластили, а она творожком внучат питала, — и грибы грибникам сушила, и на патошином картошку корзинами таскала, а сей патошкой выплачивали... И патошиников хорошо знал, Сараевых, царство небесное... — товар у них брал, глюкозу, в Иваново на красильни ставил... Как все налажено-то было, спокон веку!.. Ну, сказать, неправда была... а все будто и утряхивалось, коромысло-то ходило, и у каждого надежда — Господь сыщет... Ну, а где правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законе правда, а в человеке. Теперь вот правда!..

При сыне волом работала, а как Никешку на войну забрали, все на нее и свалилось. Сумела обернуться, паек солдатский исхлопотала, надел сдала, огород да покос оставила, лошадку удержала — картошку на патошний возить. И еще туфли, чуни, плела на лазареты. Эти чуни, скажу вам, по тем местам я распространил, со Звенигородского уезду, — многие кормились стали, понравились. Ну, и она плела, по ночам, глаза проравала. А сын раз всего только и написал, как в госпитале лежал, — сулился домой с гостицами. Свое помню: мои двое... пропорщики были, скорого обучения... — месяц, бывало, письма не получашь, и то надумаешься!.. А жили мы в достатке, и домик в Ярославле, и в Череповце мучное дело налажено — и то какое беспокойство! А тут одна старуха за все про все. Так и не показался. Справки ей Смирновы наводили — ответили так, что в плену. А потом товарищ его в дом писал, что убит в бою, — через год уж. Ну, поплакала — и опять, крутись...

А тут и пошло самое-то крутило, смута... Господ Смирновых описали в комитет, выдали старухе пять пудов ржи, да хомут еще, да зеркало. Просила коровку на сирот, а ей — телка! Понятно, ей обидно, плакалась:

— Куды мне хомут, у меня свой хомут!..

— А ты не завистуй, — говорят, — мы тебе зерькало какое дали, всего увидишь!

Вот и поговори. А чего старуха может!

— У меня, — говорит, — кормильца убили...

— Ну, что ж, что убили... такую уж присягу принимай!..

Все и разговоры.

А как стали танцить-то, комбединые-то эти, как пошли верететь — опять старуху отшили: пожаловали ведерко патки с сараевского завода да овцу. А на патошином восемнадцать коров было, глядеть страшно! Слышил старуха — бабенке одной пегую определили, а бабенка молодая, вдовая, без детей, с Ленькой она гуляла, с куманистом главным... Старик один так их величал, очень значительно! Кума-нисты... Ну, понятно, обидно: гуляющей кобыле корову дали, а на сирот — овцу! Вот и пошла старуха к Леньке Астапову. Рассукин-то сукин был!.. Я его самолично за виски

трепал, как он у меня струмент унес, — лес мы тогда сводили. Знала, понятно, и старуха, какой сукин сын, вор был, и мужики столько его лупили... ну, а все, думается, совести-то, может, у него осталось... А дело такое было... это тоже знать нужно.

С войны он загодя еще сбег и у смирновского лесника укрывался... — он потом того лесника на расстрел присудил, в город угнали, что уж там — неизвестно. Будто народный лес продавал! Во какой, сукин сын! Ходила старуха по грибы да на Леньку в чащах и напоролась! Заяви она кому следует — сейчас бы его полевым судом, как дизелтира!.. Ну, он ее, конечно, застращал: сплю! Да еще магарычу с нее затребовал: махорки да самогону принеси, а то обязательно сплю! Въелся в ее, как клещ! Ну, напугалась, доставила ему, глупая... а он будто еще и нехорошо с ней сделал... В лесу, чего кто увидит! А лесник-то про все его подвиги потом рассказывал. Во какой, сукин сын!..

Ну, пошла она к Леньке... — а уж он так тогда поднялся — шапку, смотри, держи! Все полномочия сму, коту, от ихней власти, сам все делил-теребил по именам да заводам и всякие пустые слова умел без пути городить... Такого-то образования в остроге сколько угодно — дери-крой! Ну, приходит к нему в вольость, в победный их комитет... — а прозывается бе-дный! — про обиду свою уж и не вспоминает, нужда-то уже все стирает, в ноги им повалилась:

— Призрите на сироток... ваше благородие!..

Во-от как! Она сама всю эту историю рассказывала, слушать неприятно. И было это для нее как знак судьбы... По народу бы теперь походить-послушать... — поймешь, какая эта тайна — жизнь, чего показывает... Я так соображаю, что либо народу гибель, либо, если выбьется из этой заразы, должен обязательно просветить: всех посетил Господь гневом. Ну, пала перед ним:

— Вовсе уж помираем, оголодали... заработать не-где, сами знаете, все казенное стало... Хоть самую плохонькую коровчонку определите, с патошного-то, по вашему закону!..

— Нет у нас плохоньких — все первый сорт!

Ну, в легкий час угодила. Сначала было заломался:

— А ты кто такая?.. что-то я вас, гражданка, не по-мню!..

Ну, объяснила:

— Да Пигачовы-то мы, сироты... с Волокуш, крайний двор...

Признал. Надел шапку свою баранью, со звездой, палец поднял:

— Пиши ей, — подручному своему адъютанту, Ваське... своякову сыну старухину, — пиши ей мандат по моему указу, что вот по ее бедности от народной власти определяю от кулаков-кровопийц Сараевых с завода корову... Как твое фамилие?..

Старуха говорит опять:

— Да, чай, сами знаете... Пигачовы мы...

— Мало чего, — говорит, — знаю, а мне требуется!..

Ну, форсунапустил. Имя как?.. Минительно уж тут ей стало — допрос такой строгий, и все записывают? Думаться стало — не смеются ли уж над ней... Тут он ей и присудил:

— За твою верность нашей власти даю тебе корову! Можете выбирать любую!

У ней и ноги ушли — не ждала! Сейчас ее на завод — выбирай! Тут она прямо заробела. Я сараевских коров очень хорошо знал — одна к одной, не коровы, а го-ры! По четыре сотенки были, как слоны! А сами знаете, какие у мужиков коровенки... — коза! А семеро еще коров стояло. Как увида-ла... — стоят горами, не подойдешь! И уж сдали, понятно, от ихнего ухода, а огромадные. На цепях, на каждой бляха

с кличкой, с номером... А Ленька над ней куражится:

— Выбирайте, гражданка Пигачова, какая на вас смотрит... Властью народной приказываю тебе — выбирай! Мандат тебе от меня на вечное владение...

А они все будто одинаки,— до чего громадные! И страшно-то ей, и бедность-то одолела...— а тут такое счастье, не передохнешь! А он-то ее дурачит, ломается:

— Желаете эту, самую огромадную... первая самая корова?! Ради твоей бедности... и пущай все знают, как мы...

И действительно, ведет к ней невиданную корову — сам ее помню, голландской породы, черно-белая, пегая, рожки, правда, не очень велики, а лик строгий... Потому я помню, что у Сараевых ее торговал, только не продали. Ведерная корова была, по пятому телку. Старуха в ноги упала, уж и себя не помнит,— и крестится-то, и плачет... Первую ведь коровку за всю-то жизнь заводит...— бедно уж очень жили. И как раз под масть, черная с белым, в хозяина-покойника...

— Может,— говорит,— смесишься?..

Ну, не верит! А он над ней командует-мудрует, как... главнокомандующий какой:

— От моего имени, полномочие по дикрету! Веди смею, никто не имеет права отобрать!.. У нас строго. Вывели ей корову на дорогу, поставили.

— Постерегите, кормильцы...— говорит,— к куме забегу на минутку, богословлюсь...

Ну, тут же оборотилась, с вербочкой со святой бежит — крестится, платок съехал... Те гогочут, народ высыпал, смотрит... а старуха уж ничего не видит, не слышит — ногнала в Волокуши, домой к себе. Бежит — ног под собой не чует. Четыре версты простигала — не видала. А корова идет строго, шаг у ней мерный, бочища...— старуха близко и подойти опасается. То с краю забежит, то с головы оглянется. Морда страшная, ноздря в кулак, подгрудок до земли, ну и вымя... котел артельный!.. а глаза...— во какие, строгие, глядеть страшно, будто чего сказать могут! Тогда еще ей, старухе-то, будто чего-то в сердце толкнуло... Подогнала к Волокушам,— место глухое, елки...— ка-ак она затруби-ит!..— по лесу-то как громом прокатило! Глазища на старуху уставила, прямо в нее мычит, жаром дышит, ноздрями перебирает, сонит,— страшно старухе стало. А зимой дело было, уж заполдни. Народ по избам, старухин-то двор с краю,— никто этого дела не знает. Снег, да лес, да она с коровой страшнейшей этой. Ну, ворота отворила, загоняют... А та не желает в ворота... неуловимая, понятно, к такому постою, да и пуганая, что ли... петух пугается! Рогом на петуха, бодаться-брыкаться... ни-как в ворота не хочет! Измаялась с ней старуха, смокла. А невестка пластом лежит, не может. Ребяченки повыскакали — визжать... А та еще пуще упрямится, хвостом стегает, к дороге воротит, в снегу увязла... Прыгала-прыгала за ней старуха, валенок утопила, задвохнулась...— ни-как! И плачет, и закрецивает...

— Красавка-Красавка... Господи-Сусе, помоги...

Ни-как. Стоит — снег обнюхивает, сопит, боками водит... Покликала уж старуха соседа. Старик бедовый был, завистовал, что патошники, бывало, ей помогали. Ну, вышел — бобыль он был. Рада уж старуха, что народу-то никого, еще не прознали, деревня-то лесовая, в один порядок... И уж так-то ей хотелось корову во двор поскорей втащить — народ то ненавистует, испортят еще с дурного глазу...

Ну, старик, как водится,— корову принимать, помогать... Старуха корочку ей сует — нет! Так морду прочь и воротит. Стал старик веником ее кронить-осинять, окрецивает-махает... А она к этому обычна, пожалуй, непривычна — пуще напугалась! Задом бить принялась — так снег и полетел! Как стару-

ха ни исхитрялась голову-то ей в ворота направить,— никак! Да еще рогами норовит... А тот все веником! Старуха уж стала ему кричать:

— Не пужай веником... нескладный!..

Он ей свои резоны:

— Я,— кричит,— ее не пужаю!.. А коль она намоленой воды пужается... уж не от меня это, а чего-то ее не допускает!..

Загнул ей... А она уж и донпрежде заробела-надумалась...

— Да чего ж,— говорит,— не пущает-то... Господи-Сусе?..

— Ну, уж это нам неизвестно, а... Господь уж, значит, не богословляет...

А сам на нее глядит, будто чего и знает!

— И масть-то вон у ней такая... гробовая!.. Да ты,— говорит,— сама-то на глаза-то ей погляди... ну?!.. Каки глаза-то у ей?!.. А?!.. Сле-зы у ей на глазах-то... с чего такое?!..

Действительно...— на глазах-то, глядит, слезы!.. И такое воспаление в глазах-то — ну, кровь живая!.. Совсем заробела тут старуха...

— Да с чего ж такое... у ей... сле-зы-то?!

А он ее опять тревожит:

— Ну... нам это неизвестно, чего там она чувствует... а знак от ее имеется!.. Ну, ладно,— говорит,— скажу тебе, только никому, смотри, не сказывай до времея... а то нас с тобой заканятелят...

Тут он ей и открыл глаза!

— Кро-овь на ней, потому! Обоих патошников... И Миколай Иваныча, и Степан Иваныча... убил Ленька!.. в лесу вчера расстрелил! Прибегал с час тому Серега Пухов, от кума... шепнул!.. За дровами ездил, сам видел...— обой лежат в овражке, за болотцом, снежком запорошило... По приказу ихнему убил и не печать приложил, по телевону! Тебе-то, понятно, не сказывают, а мне-то уж известно!..

Так старуха и села в снег! А Бедовый — его и по деревне так величали, хорошо его знало... яд-мужик!..— пуще ее дробит:

— Ну и дал тебе на сирот Ленька-сволота не молчко, а кровь человеческую!.. Коровка-то вот и чует — слезы-то у ей к чему... Чего она тебе в дом-то принесет?! Го-ре!!.. Господь-то и предостерегает от греху-то! Хрещенской воде силу не дает... когда это видало?!

Так и отшиял старуху, застращал. А она была божественная, хорошая жизнь. А тут уж и народ признал, со дворов набегли, пуще ее дробят...

— Это он на смех ей... с себя отвести желает, пугает... И чего только окаянные удумают!.. Сирот еще хотят пугать несмыщленых!..

Да как принялись все корову дознавать — всего в ней и досмотрели! И глаза будто не коровьи, а... как у чиродея! И молоко-то теперь кровью у ней пойдет... и бочищи-то вон как раздуло!..— чего ни на есть — а в ней есть! А корова народа напугалась — пуще мотается! да как опять затруби-ит...— так и шарахнулись!

— Ма-тушки... во мык-то у ней!.. только что не скажет!..— как принялись тут бабы разбираться!..— в елках-то как ходят... позывает... жутъ!..

И в одно слово все:

— И ей уж не жить, посохнет от такого греха... и человеку через ее... го-ре задавит!..

Да так настрачили старуху, что и самим жуть, страшно стало.

— Теперь от ее на всех прокинется, не отчурасишься! В Потемкине тоже вон коров делили... да там барин хоть своей смертью кончился... и то бык чего начертил, троих мужиков изломал, а намедни все и погорели... А тут ...да тут и не развязешься!.. в глазах у ней кровь стоит!..

А старуха с перепугу плачет, руками от себя отводит...

— Да пущай... горе наше сиротское... — в голос прямо кричит, — пущай лучше сироты никогда молочка не увидят... ни в жись не приму такое!.. — А сама-то разливается!.. Еще давеча мне чегой-то, толкнуло... Сараевы-покойники все мне, бывалыча, на сирот чего помогали, а тут... да Господь с ней!..

И погнала старуха корову в волость. Пошла корова, как обмоленая, — диву дались!

— Во, пошла-то... гляди, хо-дом!.. — кричат вдогонь. — Господь-то как!.. Теперь пусти ее... она прямо к им наведет, к овражку... очень слюбодно!..

Пригнала старуха корову в волость к ночи уж... Ленька как раз на коне ей встретился — за спиной ружье, у боку пистолет. Известно, пьяный. Велел подручному своему дознать, какого ей еще рожна надо. Ну, сказала своякову сыну — ненадобна ей корова! Ленька на дыбы, в обиду: почему мандату не покоряется, дара от него не желает принимать? А та — ничего не скажу, а не нужна. Он на нее — с конем!..

— Чего, такая-сякая, брезговашь моей коровой?!

Тут она намек подала:

— Коль так не понимаешь, — скажу. Пускай мне корову при хозяевах отдаут, при Сараевых! Вели их привести, они третий день в заводе заперты... тогда приму!

— А не хочешь?.. — обложил ее всякими словами. — Кончились твои хозяева, теперь мы хозяева!.. А коровьего счастья не желаешь... — так вот тебе мой декрет: всей бедноте от меня порция, а старухе ни хе-ра!

Да бац!.. — и положил корову из пистолета в ухо!

Рухнула корова на все четыре ноги, а старуха от них п-устилась... — чисто ветром ее несло! А уж совсем темно стало. Мчит — ни зги не видать, дороги не слыхать... — и такой-то страх на нее напал — ужас! Гонит будто за ней корова страшная-гробовая... в спину ей храпит-дышит, жгет... А в ухо ей голос, голос:

Го-ре задавить!.. не быть живу!..

Добежала до Волокуши — себя не помнит. А ей все чудится: трубит по лесу, зычит-позывает!.. Вскочила в избу, на печь прямо забилась... А уж все спят, жуть... А корова будто и на печь к ней мордой страшной заглядывает, сопит-дышит!..

До бела света глаз не могла сомкнуть старуха — всю ночь проплакала-продрожала.

С того случая, через корову эту, она уж совсем заслабла. Сама сознавалась мне... Тоска напала, сердце сосет, места себе найти не может... — будто чего случится!.. В пролубь головой хотела, только вот сирот жалко.

А жизнь прямо каторжная пошла. Не пошло впрок чужое, да и его-то нешибко оказалось. Грабежи да поборы. А там и до церкви Божией добрались, ризу серебряную с Боголюбской сняли, увезли — будто на голодающих. А кругом свои голодающие, — никто ничего не понимает. Только уж под жабры когда прихватило, тогда поняли... — жуликам пошло счастье! Ленька, понятно, недолго поцарствовал — свои же мужики пришли, устерегли. А неурожай другой год, ни у кого хлеба не осталось. Урожай — неурожай, а им все подай — до мужика добрались. А глотку не раззевай, а то свинцовая примочка имеется, аптеки-то ихние известны, не забалуешь!.. Это тебе не податной инспектор, рассрочки-то...

Ну, вертелась-вертелась старуха на мякине... — телка давно проели и овечку проели, полушибок Никеш-

кин тоже за хлеб ушел, а заработка никаких ни у кого. Стали мужики за хлебом по чужим местам ездить, на Волгу да за Тамбов... Пошел разговор, что хлеба там горы, с царских годов лежат непочаты, а мужики там богатые, дают хлебом за ситчик да за одежду. Которые ездили — привозили. А то и безо всего, случалось, ворочались, страсти рассказывали: народ поморить хотят, землю для себя готовят... Стоят по местам заграды, хлеб у народа отымают, от правов отчуждают! Такой уж у них закон — отыматъ, народ под свое право покорить. Сперва, понятно, не верили, а потом узнали. Ну, закон-закон, а есть-то надо...

А уж и вовсе плохо стало у старухи: отдала казакин свой и щерстяную шаль верному человеку — на мучку выменять. Взял с нее половину промену, через две недели воротился, выдал два пуда муки, закаялся:

— Никаких бы денег с тебя не взял, измаялся! Там нашего брата из пулеметов бьют, у Танбова... Лесами сорок верст гнали на подводах, заград-то бы ихний миновать... беда! И по лесам каки-то разбандиты пошли, разувают-раздевают, понимаешь... крест ссымают! И каждый с вагону стаскивает, и везде упокойники по линии, вшивый этот тиф, понимаешь... всего набрался, не отчешусь!..

Поахала-поахала старуха... — казакин один восемь рублей стоил. К другим тыкалась — не берутся... А у нее двенадцать аршин ситчику лежало, от барыни Смирновой подарок, а там за два аршина, сказывают, пуд сеянки дают! Давал сий один за все два пуда — рыск беру! Удержалась. А тут привезли муки, говорят, так пошло ходко, до пуда за аршин доходит! Видит старуха — не миновать самой ехать: никто не берется, рыск. Только будто шибчей отыматъ стали. Как это так, хлеб — да отыматъ?! Ну, не верит — обманывают. Возьмут ситчик — и прощай, отняли — скажут. Стала она невестке говорить, за мукой не миновать ехать надо... Та и вызывается:

— Лучше я, маменька, съезжу... может, добрые люди пособят довезти, больную пожалеют... Для деток уж последние силы положу...

Ну, старуха и руками и ногами:

— Ты еще где поляжешь, не встанешь... и мука пропадет. А что я с ими на старости!.. изведусь тут, ждамши. Соседи тут без меня помогут, попрглядят, а я походней, может, как сумею, слезы мои пожалеют...

Ну и рыхнула. Ситчиком обмоталась, как ее обучили, лошадку на сапоги выменяла у живореза одного, за пуд муки оставила им припасу, да ведерко патки прихватила — уберегла. С товарами и пустилась.

## II

Поехала с двоими из села, попутчики, — и помогут, в случае, муку на вагон поднять. После Святой погода теплая. Сухариками запаслась, как на богоомилье.

Поехали... В Москве, на вокзале, как попали в переделку, на досмотр, — завертел старуху народ, кинулся бежать с чего-то, сшибли старуху, и патку ее опрокинули, и попутчиков она потеряла... Плачет на полу над паткой, оберегает, чтобы не ходили, в пригоршни с полу да в ведерко. А над ней смеются. Энти собрались, с звездой.

— Сгребай их, — кричат, — прямо полками у нас ходят... сахари их старуха!..

Ну, собрали... а фунтов пяток не добрали, на ногах растиаскали. А попутчиков нет и нет. Бог их знает, сами рады от нее отвязаться были... Указали ей, как на Рязанский дойти, рядом, через площадь. Там она суток трое на камнях провалаилась, пока билет выпра-

вила. Не дают билета! Покажь синева бумагу от волкома! Понятно, она ихних новых порядков не понимает: от какого Вол-кова?! Ну, растолковали, что, мол, от волостного комитета, за мукой едет, для сирот... А у ней была такая бумажка в чулке запрятана, да пропала — ночью кто-то у ней чулки облизал, нашаривал. Сиротами молила — никакого внимания. Тут один сердобол встрелся в ее дело, за три фунта патки бумагу ей написал, с печатью. Стала в вагон сажаться — опять сшибли, позаняли-набились, на вагоны понасели, а их стаскивают, в ружья паят для страху... А старуха осталась на асфальту, сидит — заливается. Стали ее с левольвером гнать, кричат... — вымести всех отседа, для порядку! Какой-то опять матрос вступился:

— По-вашему, сор это — вымести?! Я, — кричит, — всех вас застрелю!..

И те, понимаешь, пистолеты выхватили, стреляться! Так и сучится над старухой... Еще которые подскочили, тоже... за старуху вступаться...

— Нельзя так над стариинным человеком!..

Значит, ей уж Господь помогал... В голос плачет-заливается, своего добивается, понятно. Все ведь трудами какими нажито, последнее... Ну, тут ее взяли и подали в окошко, публике, — в двери-то уж никак!.. И патку ее туда, и мешок. А там скандалятся — куды вы ее нам на головы!.. Ну, затискали ее под лавку — все позанято, не продохнуть. Да так три дни и пролежала под лавкой, все молилась: «Господи-Суес, донеси!» И до ветру-то нельзя сходить, и до воды не доберешься... От духоты-то с ней обморок пошел — маленько очнется, а дыхнуть-то нечем, опять обморок. Стонала там, а кто услышит... всякому до себя только! И эти всю ее обленили, как муха! Сосед под лавкой оказался, сочувственный, дал ей водицы глотнуть из бычьего нузыря — лучше, говорит, не разбьется, не разольется. А вода-то протухлая оказалась, затончило старуху... А он ее пуще настращал:

— Третий раз, — говорит, — такую муху принимаю, езжу, не дай-то Бог! За мукой — что!.. а вот оттуда, когда с мукой!.. Народ жесточай, каждый себя оберегает, прямо за глотки рвут. А совсему у них рвут... Оттуда-то самая война и пойдет. Да в дороге-то слезать сколько надо, в обход, да ночью... а то начисто отбирают. Как хошь, так и выпутывайся!..

Он-то, конечно, от чистосердия, жалеючи... а у ней сердце совсем упало — Господи-Суес, донеси!..

Донесло ее за Тамбов, в места по тем временам самые хлебные. Куда люди, туда и она. С человеком одним разговорилась... — из людей бывалых. Ну, проникся в ее положение, не вовсе душу потерял. И деревни ее знали по своим делам прежним...

— Трафься, — говорит, — за мной, у меня этот струмент наложен.

Ну, вроде как довесок она стала. Он чайку попить пристал к лавочнику одному знакомому, — и она с ним. Поодаль, понятно, сторожит, виду не подает, а трафится. Ночевал он там, на постоялом, и она в сани под навесом забилась.

— Вых, — говорит, — ее уж не тревожьте, — хозяина предупредил, — с одних местов мы, у ней винчатки голодавшие и сына на войне убили.

Она ему, понятно, про свое объяснила досконально, про все горя свои. Щец с грибками похлебала — Христа-ради ей отпустили, из уважения. Ну, правда, она у ней патки фунтов пятачок забрал... Она, было, плакаться — дорого, мол, за щи-то да за ночевку, — а потом и говорит:

— Ну, ты, батюшка, может, в добавку пущи какие мне расскажешь, как бы походней с мукой...

Посмеялся:

— Ладно уж, укажу... Бог с тобой!

Ситчик ее поглядел, совет подал:

— Ситчик, баушка, хороший, Коншинского клейма, не продешеви. Фунта на два выше других в аршине!

Видит — полпуда лишку! Рассказал ей на село Загорово ход, тридцать верст.

— Там мало почато, и вроде как ярмонка стала. А мне, — говорит, — в другое место надо, за крупой...

В ноги ему старуха повалилась, а он тут ее маленько и порадовал. Вынимает некоторый капитал...

— Прими на сирот... да помяни, — говорит, — Симеона и Иоанна, воинов... в мухах и за отечество напрасную кончину от злодеев принявших...

Вот... и дает ей несколько денег.

— Тут, — говорит, — и за твою патку, расторговал... дорогу маленько оправдаешь. А меня извини, по делам мне нужно.

Духу-то ей и поднял. А насчет патки-то ее... — он ее, может, в помойку выкинул — всего там было. Обещалась на обедню подать, как домой вернется. И пошла ходом на Загорово-село.

Лесами пустилась, за народом. Идти весело, дорогу новую проломили-протоптали, — прямо через трущобу, по болотам. И везде, у водицы там, энти объявляются стали, перекущики-спекулянты: ситец, сапоги — рвут, мешочки с мукой наготове... Ну, по-остерегли старуху: у таких и мушки с речки купинь! А пески там тонкие, не отлишишь. И балаганы сбиты, к сторонке где поглуще, — «райки» называются... Кто уж каким рукомеслом занимался — всякий тут струмент пущен!.. Зазывают так ласково:

— Чайку попить с сахаринчиком не угодно ли?.. Бликов... помянуть кого?..

Наладили уж, по сезону. Сказать прямо — публичные номера! Мамаши эти... — на дачу приглашают... спекулянтов, и вообще... — девчонок, бабенок молодых заманивают на мучку да щец тарелочку... А народ-то голодный, затощал!.. Корчаги у них дымят, каша в котлах, колбаска горячая... — соблазн! И стражу свою содержут — во, какие котици за котлами снят, ободя на шеи гни! А народ устамиши, в голове не соображает... Насмотрелся я там, чего с жизнью-то поуделали, Гос-поди-и!.. И дурман пьют, и порошки дают нюхать... — хуже в тыщу раз этих... гнилых домов! Опоят-обчистят, а трясин там... кругом, концов не сыщешь. А кому искать?! Ночью костры горят, песни играют, воют... У того последние деньги вырезали, у того пашпорт вынули... А то конные налетят, окружат... — проверка!

— Есть спирт?.. оружие?!

Тут уж покоряйся, ни-ни! Как кому посчастливит, а то и по ище надают, и... не дай Бог. И калеченные всякие при дороге сидят, за ноги ловлют, причитают... слепые, обгорелые — с голодных местов подались. А их лают — когда вы только подохнете!.. Прямо мешком по морде хленут, — душу не трави! Каждому думается — на их место скоро. А то охрану предлагают нанять, матросы или там с ружьями, квиток выдают с бланком... — за десять фунтов муки доведут без убыtkу. Одни отымают, другие охраняют — одна шайка. А народ промежду тычется.

Ну, старуха на себя понадеялась. Пострацали: смотри, бабка, рыск берешь! Два раза ее шарили, штыком все спирт искали! Ведерко проткнули на смех — тряпкой законопатила. Мне потом про ее мытарства рассказывали, где мы-то с ней стояли... Она там пятеро суток на мучке у вокзала высидела... Сапоги один вертел — казенные, говорит, с клеймом! под расстрел за это!.. народное, говорит, с клеймом! под расстрел за это!.. народное, говорит, достояние... Ну, за слезы ее отдал, только испозорил! Всего довелось хлебнуть. Мужчина на елке удавился — деньги у него вырезали. Висит уж безо всего, посняли с него, понятно... бумажек рваных нашвырили ему к ногам.

на помин души, на погребение мертвого тела... И кто он и откуда,— неизвестно. И хоронить некому...

Повидала за дорогу...— за цельную жизнь, может, того не видала. И вот, добралась до Загорова — села...

### III

А тут леса кончились.

Глядит старуха — народ к канаве сбился, у межевого столба, а к столбу голый человек проволокой прикручен, а наместо лица черное пятно уж, а на груди билет прицеплен, объявление. Которые читали, говорят: «Застрелен за разбой и бандит!» Стал один рассуждать: «Столбов, мол, на всех не хватит, за разбой-то!» Ну, тут стали расходиться, напугались таких слов.

Смотрит старуха — на село-то никто не идет, а стали жить по канаве да по кустам. По грибы приехали будто на гулянки! Друг от дружки поодаль, стерегутся. А село на горке, версты две. Днем воспрещено строго: кого поймают — начисто отберут. А к ночи во — пойдет! Подневали-поспали, — темнеть стало. Сперва пошли мальчишки шнырять, в разведку. За ними — бабы, с мешочками, и все в украдку... а там и вожками стали наезжать. Глядит старуха — прямо, чудеса! Муку уж волокут, пересыпают, да шепотком все, будто чего воруют. На мосту у них верховой стоит — стерегет... то петухом закричит, то свистнет — у ихних мужиков свои знаки. Петухом ежели, можете не беспокоиться, врага нет... а как совой зальется...— все в траву головой, как от грому. Прямо...— представление веселое!..

Ждет старуха, трафится, как люди. Старики один на нее наступил — чего имеется? Патку попробовал — горькая! На сапоги нацелился, — помял — отложил. Ситчик?.. Старуха ему про кляймо...

— Нам,— говорит,— это без надобности, а чтобы вид был! У тебя вон скучный, а нам требуется веселого! Старухи наши теперь не пытятся, а хоронить — в сенце одеваем, в соломку обуваем!

Цену-то ей, стало быть, сшибает. По десять фунтов за аршин! Настрацал. А за сапоги — пуд! Мужик еще наскочил, сапоги примерил — даю полтора! За ситчик бабы ухватились, накинули...

— Веселенького бы, канареечного... а энто чего!

Ребята патку растаскивать, а темно... Старуха ситчиком обмотана, из пазухи конец высунула, на патку села, сапоги цепко держит. И куриная у ней слепота, понимаешь... ну, ничего не видит! А цены-то уж смекнула, да как бы не прошибиться... Безголовый тут один насыпался, всех отшил, очень самостоятельный оказался:

— Чего баушку мою заклевали... я у тебя покупатель!

Ну, патку забрал: за пустяк отдала старуха, только бы развязаться. Потом сапоги — за два пуда с половиной, прощевиала... ну, крест вынимал — из страдания даю только! Истомилась, а до зари досидела, фунтик вышранивала на аршин накинуть. Сделал безголосый по се, взял пять аршин за три пуда да пять фунтов. А из села уж и — никого, пропали на заре все, и верховой уехал.

Спать стали по кустам. Переволокла старуха муку поглупше, намаялась, наплакалась: мешки-то залатанные, текет мучка, а волочить-то эна еще куда, к Костроме! Прикинула — к семи пудам муки-то у ней выходит. Приткнулась на мешках,— четыре мешочка да ведерко, а не спится: как бы мешки-то не вспороли?.. И все-то у ней мука перед глазами, все сырьеплется! На стоянке потом рассказывала. И голод донял, мучку стала жевать,— сухарки-то уже доела. А уж день полный, морить стало, напекать... Храпят кои

по кустам, кои бродят. Подойдут к старухе — дивятся: то бедная вовсе была, канючила, а то вон — чисто крыса в лабазе! А она жалобится, понятно: пятеро ду-уш... весь дом променяли!.. Стали ее некоторые тревожить: «Не довезешь!» Она, понятно, волнуется,— куда с мукой теперь?.. Без мучки плохо, а теперь и с мучкой наплачешься... Расстроилась с устакту, разливается, не может никак уняться... голова-то уж у ней плохо соображает! А ее пуще дробят, завидуют:

— Теперь бабка как есть пропала!.. Не выдерется из муки... так и будет здесь на дачах жить, муку жевать... Ничего, лето теперь идет, тепло!..

Пить ей смерть хочется, с муками-то, а отойти не боится,— всякого есть народу! И речка вон, ... Ну, с травки росу сиурхнет, пальцы полижет...

Вполне стал народ подаваться, муку понесли, половокли. А старуха сидит. А ее дождем страшат, зависают. Ну, были и сурьезные. Видют — затруднение у старухи, не может головой понять, как ей сбираться: одурела...— сколько, может, ночей не спалши! — ну, совет подали: подводу поряди, за компанию кого подговори! Женщина одна набилась, молодая, тяжелая, с девчонкой тоже намыкалась, четыре пуда наменяла... и еще псаломщик пристал, чахоточный,— трех пудов осилить не мог, мотался. Вот и сговорились бедовать вместе. Псаломщику тоже на Москву ехать. Пшел он на село, муку им стеречь доверил. Приходит...

— До полпути берутся, а там перекладать... требуют четыре пуда! Аспиды, а не люди...

Старуха посчитала-посчитала...

— Сама переволоку, а двух пудов не дам!... Буду по мешочку подтаскивать, отложу — за другим схожу...

Рассчитала дня за три до машины дотащить. Ну, псаломщик ей привел резоны: мешки плохие, прорушились больше! Чего поделаешь,— решили торговаться. Пошла женщина с псаломщиком, старуха с девчонкой при муке осталась. По семь фунтов с пуда порядили, не вывернешься. Приехал мужик, старики ночной оказался. Стала ему старуха ситчиком предлагать,— муки-то жалко! — заломался:

— Куда мне твои два аршина, сопли вытират? Мне на рубаху пять требуется, лучше мукой давай!

Ну, оторвала ему пять аршин, он ей пудик присыпал. Ладно. Мука поехала, сами пеши пошли.

— Я,— говорит,— такой вас дорогой повезу,— волки не бегали! Никаких неприятностей не будет.

Да и посадил в болото. Пришлось стаскиваться, лошади-то помочь. Стал ругаться:

— Черт вас тут носит, спикулянтов... лошадь из-за вас зарезал! Что хотите — дальше не повезу!.. А жалеете — по два фунта с пуда набавляйте!..

Псаломщик, было, на него, грозить... А он шкворень из-под сенца вытащил и, ни слова не говоря, шину будто настукивает...

— Сымайте муку... колесо рассохлось!..

Это уж как они опять поклали... А чаща-глушь такая — ни в жись не выбраться! И Богом его страшали, и...

— Сымайте...— и все.

Дали. Ну, вывез на настоящую дорогу, до полпути. Тут они его, на народ-то, начали корить,— псаломщик все бумагу ему показывал-ругался... А он ворот-то отстегнул, и...— во всю-то грудь у него опухоль, и кровью сочится,— глядеть страшно.

— Рак завелся от неприятностей, а вас, чертей, все вожу! Вы вон кобелям московским возите, а на мне семеро душ, сын с войны калека... чего я стою?!

Не дай Бог, сколько я видел горя...— вспыло, не разберешься. И старики того загоровского я знал — правильный был, покуда жизнь с колеи не съехала... А тут нужда по нужде стегает!

Ну, с полпути уж мальчишку порядили, до машины. Опять старуха пудик отсыпала. Ну, увидала вагоны — закрестилась...

#### IV

А вагоны — мимо да мимо: полным набито, не сесть. На крышах сидят с мукой. Стали у станции, под акатником дожидаться, — как цыганы. Народу... — станом стоят, в день-то один поезд проходил. Четыре дня так просидели, — слабосильные все, не влезешь, — а от псаломщика только разговоры, — всякой шапки боится, настращен. При них семерых скинули из вагонов — упокойников... да ночью старику насмерть придавили, — муки на него пять пудов на голову сбросили в потемках. Кто — кто?!, а тут разберешь — кто!.. Наслушалась старуха, не упомнить ничего. Ночи не спала, не ела — не пила... Сидит у муки, плачет. Псаломщик вертелся-вертелся... нашел! Прибег-запыхался: еду! Солдаты партией ехали, а он к ним, значит... голос им доказал! Ну, они его с собой прихватили — песни им играть дорогой — и муку устроили. Потом женщину ту, с девчонкой, — а солидная уж была, родить ей скоро, — солдат здешний посадил...

Старуха и не видала, как дело-то у них вышло, — дремалось ей. А они разговор имели... Жалась бабенка, отплевывалась, а солдат, понятно, резоны ей...

— И неделю проваландаешься, а уж ты мне доверяешь... я деликатно посажу!..

Ну, ходила она с ним на полчасика, девчонку старухе подкинула.

— Пойду, — говорит, — у главного дознаюсь...

Ну, посадил. Приходил с товарищем, имущество ихнее забрали.

— Меня-то бы прихватили... — стала старуха простиаться: — бабу-то вон сажаешь...

А им смехи!..

— На полсотню годков просрочилась!

Видала от мешков, как их всаживали: один с пистолетом спереду шел и народ страцгал. Затиснули бабенку с девчонкой в теплушку, как клин вколачивали, с мужиками за грудки... одного отчаянного выхватили из вагону — рубаху исполосовали, а их всадили! Мужик на буфер потом вскочил, поехал без картуза, верхом... — в вагоне-то мука осталась, не кинешь!

Заприметила старуха того солдата, устремила, как близко он проходил...

— Сынок, помоги... бабу-то вон сажал!.. Возьми уж, чего требуется...

А тот над ней потешается, — куды ты мне сдалась, старая! Ну, которая публика тут жила до поезду, ливится, смех пошел, — старуха солдату навязывается, бесстыжая! Потом ей женщина одна растолковала. Заплевалась старуха: да куды ж люди-то подевались, Господи!.. Одна-то страмота!.. А ей читают нотацию:

— Во-как хлебушка-то теперь дается! Прежде вон, за монетку, и в бумажку завернут, дураки-то вот когда бывали... а как все умные стали...

Ну, разговор пошел... Вот один стариик и говорит:

— А чего окаянным будет, которые эти порядки удумали?! Народу сколько загублено через их... семерых вон свалили, как полешки, и в порткот не пишут!..

А ему говорят — мигают:

— Ты того спроси... в шапке красной вон идет!..

Ну, стариик, понятно, склонился. А там опять голос подается:

— Ба-альшие дела будут... теперь у каждого пропечатано, в свой в порткот записано!..

А сажаться надо. На пятый день опять поезд подошел. Старые все уехали, новые садятся, а старуха опять все ждет. Стала в голос причитать, а никто

не вступается. Ушел поезд. А народ смеется, которые отчаянные:

— Это они смерти твоей дожидаются, вот и не сажают... Им опосля тебя наследство-то какое будет!..

Солдат тот опять проходит:

— Сидишь?..

— Сижу, сынок... Возьми уж положенное, ослобони... у меня внучки голодные, сиротки...

В ноги ему повалилась. А с ним матрос стоял...

— Знаешь, — говорит, — чего я с ей сделаю?!... — матрос-то... а морда у него... — прямо, зверь! — Я — говорит — ее... в вагон беспременно посажу! Она, — говорит, — мне до смерти надоела, видеть ее не могу, как она передо мной ходит, мысли мутит! Давеча спать пошел, а она опять... возле сидит-скулит!.. Чего ты скулишь-воешь... третий день воешь, работать мне мешаешь?! Я тебя видеть не могу...

А старуха в ноги ему:

— Прости, сынок, Христа-ради... сирота я слабая, безнадежная... погибаю...

Пошел матрос от нее...

— Видеть, — говорит, — ее не могу!..

День прошел... Только поезду подходить, приходят двое каких-то, и матрос тот с ними...

— Забирайте ее канитель. Даешь им, бабка, полпуда, шут с ним!

Понесли они мешки, а он теребит: вставай, посадка сейчас тебе будет! В чувство ее привел. И ведь посадил! Понятно, матросу покоряются. Пальцем погрозил — «мать примите!» Только и всего. Пошел, не успела старуха и слова ему сказать. Втащили ее, дали mestечко в уголку. Отсыпала она полпудика. Поехали. Повалилась как мертвая, с устатку.

Проснулась — народ шумит, обязательно вылезить надо да лесом верст двадцать обходить, а то на главной заграждение — досмотр, отбирают, больше пуда не дозволяется. Старуха заполошилась, — да почему такое?! — А все в одно слово: обходить! В тихом месте сойдем, а то заградительный отряд, самый лихой. Со встречного поезда предупреждали, что стерегут! Вчера спекулянты с матросами ехали, с собственной охраной, — кровопролитный бой был, отбились и двоих ихних убили... Теперь, не приведи Бог, рвут!..

К ночи, на остановке поволокли мешки, посыпались из всего поезда. Стали мальчишки вскакивать, в «пассажира» наниматься, — на заграде, мол, пудик на себя покажут, а там соскочут, но только отсоветовали старухе: скакунов уж знают, не верют! Пришлось старухе нанять до подводы донести за мучку, а уж там все налажено, по пяти фунтов с пуда, до глухого перегона. Плачет, а дает. Поехали, цельный караван. И ночь уже. По местам у них верховые, где поверней сворачивать... Двое со звездой попались, — на откуп у мужиков, предостерегают: и мужики тоже стерегутся, — бывало, что и лошадей отымают. Завезли в леса, послали на малую станцию разведать, — страшную заставу-то обошли! А с малой прискакал верховой, говорит: в кустах хоронятся с пулеветом, на дальнюю надо подаваться! Мужики говорят: желаете — за пять еще фунтов повезем, а то прощайте... сами едва живы! Деваться некуда, согласились которые... Глядит старуха — мешочка-то уж и нет.

Доставили в глухое место... Случалось мне такими путями путать, навидался горя... Будто уж и не на земле живешь, чудно!.. Дебри, народ, как в облаве, мечется, кровное свое прячет... а кругом по весне-то сила соловьева, всю ночь свищут... даже в голове путается... Ну, сон и сон, страшный... Ну, сидят — ждут. Хлеба ни у кого. Развели костерки, катышков замесили из мучки — да в кипяток без соли. Продневали. Ночью, перед зарей, поезд подошел, — совсем

слободно. Народ-то округ бежит, лесами, два-три перегона, а поезд, почесть, пустой идет. В самом том поезде и тому человеку довелось ехать, вот что паткуюто на постоялом сей меняя...

Ну, посажались. И старухе пособили. Стали сей прикидывать, капиталы-то ее, в одно слово: боле четырех пудов нет! А к восьми было. Сидит-шепчет свое: «Господи-Сусе, донеси!» Теперь уже путь гладкий, аккурат до Москвы, а там только на Ярославский дотащит, рядом. Да как вспомнила про посадку, да, сказывают, в Москве-то опять досмотр, боле пуда не дозволяют... — забилась на мешках! Значит, душой-то уж поразбилась... Которые с ней ехали, сказывали: нас-то разстроила, плакамши... А тут еще гуляющая компания, с бубном, с гармоньми, солдатишки шлющие да матросы... Стали баб-девок называть в свой вагон, ручательство дают, что с ними нигде не отберут ни порошинки... просят с ими танцевать!.. Ну, пошли некоторые, муку поволокли... на свадьбу! При всем народе волоклись, платочки только насынули... Тронулись, а уж к заре дело, народ притомился, позатих. Синать теперь до самой Москвы можно, без опаски.

## V

В самый рассвет, перегона через два, — остановка... Досмотр! Перехитрили те-то, — впереди заставу перегнали! Ну, деться уж некуда, по всей линии с ружьями дежурят, — не убежишь. Гул-крик поднялся, из вагонов мешки летят, из ружьев налят... Стали кругом говорить — смерть пришла! Не умолиши. Самые тут отиетые, ничего не признают, кресты сымают... Называются «особого назначения»! Такая разстройка у всех пошла... — кто на крышу полез хорониться, которые под вагоны, мешки спускают, под себя суют, в саноги ссыплют, за пазуху... — дым коромыслом! А которые самогон держат, откупятся... А там — в бубен!.. Ну, ад-садом!.. Старуха, понятно, затряслась-обмерла, в мешки вцепилась, кричит:

— Убейте лучше... не дамся!..

Вы-ла... Я через сколько вагонов голос ее слыхал:

— Не да-а-ам!..

Вот и подошли. Пятеро подошли.

— Вылезай!.. Все вылезай!..

Глядеть: страсти. Морды красные, а которые зеленые, во патянулись!.. Губы дрожат, самые отчаянные. Тоже, не каждый отважится... Такие подобрались, — человечьего на них одни глаза, да и те, как у пса цепного, злю-щие! Весь характер уж новый стал, обломался. Ну, не разговаривай, а то — в подвал!

Влезли...

— Это чье?.. Это?! Как не мука?!. Пори!.. Чей мешок? Ничей?!. Выкидывай!.. Разговариваешь?!. Взять его!..

Крик, вой... не дай-то Бог! Облютели. Которые молят:

— Дети малые... мать-старуха!.. с войны герой... нога сухая, поглядите!..

Ни-каких разговоров! Женщина одна грудь вынула...

— Все высосали... глядите... последнее променяла!..

Ни-каких!

— Выкидывай спекулянтов!..

Ад-смрад! Свежему человеку... — с ума сойдешь. Пистолетом тычут, за ворот...

— Приказано по декрету, от рабочей власти!..

— Да мы сами рабочие... пролетары самые...

Ни-каких! Один за саноги прихватил, — на мешке его выкинули. Пуще олютели, от плача.

— Мы, — кричат, — вас отучим!..

А сами налиты, саноги горят, штаны с пузырями, и вином от них... и звезды во какие, как кровь запе-

кло. Ну, совесть продали, мучители стали, палачи.

К старухе...

— Вставай, не жмурься! — кричит на нее, — пистолет в боку, зад разнесло. — Тебе говорят!..

А старуха прижухнулась, не дыхнет. Уцепилась за мешки, как номерла. Ну, он ее за плечи, отдирает... Она не поддается. И махонькая совсем, и тощая, а так зацепилась, пальцы закрючила, — не может он ее снять с мешков! Он тогда ее за ногу, заголил сей... совсем зазорно. И тут не поддается, — ногой зацепилась под мешок, а сама молчит. Осерчал, кричит товарищу своему:

— Волоки ее с мукой, чертовку... разговаривать с ней... тащи!..

Поволокли ее на мешках. Три было у нее мешочка, один к другому прикручен.

— Напаслась, спекулянка!.. — кричит.

Стряхнули ее с вагона швырком, а она и тут не сдается... — брякнулась с мешками, как приросла.

— Отдирая ее без никаких!

Народ уж стал просить:

— Старуху-то хоть пожалейте... страм глядеть!..

А им че-го!..

— Отдирая!.. — который вот с пистолетом, уши у него набухли досиня.

Ухватил мешок за углы, а другой сзади взялся, за плечи ее прихватил, — на себя, значит, отдирать... Ну, стала она маленько поддаваться, отодрали сей голову от мешка... Бе-ляя... да в муке-то извялялась... — ну, чисто смерть, страшная!.. Так вот, мотнулась... руками так на того, который за мешок тянул... от себя его, будто... — ка-ак закричи-т:

— Ми...кки-ит?!!

Тот от ее... назад!.. На кортках закинулся, на руки... пополовел, как мертвей... затрясся!..

— Ма... менька...?!. — тоже как кри-кнет...

Понимаешь... — его признала!.. сына-то, пропадало с войны который!.. Встретились в таком деле, на мешках!..

Ка-ак она восста-ла-а... ка-ак за голову себя ухватит... да закричи-т!.. Ух-ты, закричала... не дай Бог!

— Во-он ты где?!! С ими?!. У родных детей хлеб отымаешь?!. Мы погибаем-мучимся... а ты по дорогам грабишь?!. Родную кровь пьешь?!! Да будь ты... проклят, анафема-нее!!.. Про-клят!!!...

Завыла, во весь народ... прямо не по-человечьи, а страшнее зверя самого страшного, как завыла!.. Не поверишь, чтобы мог так человек кричать... Весь тут народ вроде как сумашедшие стали... Волосы на себе дерет, топочет-настунает...

— Про-кля-ты-й!!!..

Все перепугались, молчат... — как представление страшное, невиданное!..

И вот, спроси в Борисоглебске и по всем тем местам... — все помнят, кто жив остался. Как громом!.. Из сил выбилась, упала на мешки, головой бьется, в муку долбит... Так из мешков-то... ффу!.. — пыль!..

Обступили их... А он, так себя за голову, глядит на нее, ровно как очумелый, не поймет!.. Потом, так вот, на народ, рукой, — отступись... Ну, шарахнулись... Он сейчас — бац!.. — в голову себе, из левольвера!.. И повалился. Вот это место, самый висок, наскрзь.

Тут смятение, набежали... главный ихний подпетел, латыш, каратель главный. Ну, видит... Пачнорт! Слизали ей за пазуху, напали. Видят — Марфа Трофимовна Пигачова, деревни Волокуши... А им, конечно, известно, что он тоже Пигачов, той деревни, — значит, на мать наскочил, грабил-издевался, такое ужасное совпадение! А она по дороге все жалилась про горя свои... Ну, стали объяснять им про сирот, мучку вот им везла, а сын... вон он где оказался!.. у матери, у родных детей отыматать стал, хуже зверя

## Кровавый грех

### Рассказ сестры милосердия

Привел меня Бог видеть злое  
дело, кровавый грех.  
А. Пушкин

последнего... Ну, тут уж и нашвыряли им всяких слов!.. Прямо го-лову народ поднял, не узнать! Ну, в такой бы час... да если бы с того пункта по всему народу пошло-о... никакая бы сила не удержала!.. И те-то сразу как обмокли! Такое дело, явственное... Ни-чего не сделали! Главный и говорит — можете муку забирать! Приняли ее с муки, мешки в вагон подали, из публики. А старуха про муку уж не чует, бьется головой на камнях, уж не в себе. А поезду время отходит. Да уж и не до досмотра тут им... Главный ей и говорит:

— Желаете, мамаша, сына похоронить?.. Мы вас сми отправим...

Стали ей толковать, в разум ей вложить чтобы... А она так вот, в кулаки руки зажала, к груди затиснула... ка-ак опять затрясется!..

— Про... кля-тый!..

Так и шарагнулись! И тут ему не дает прощения!! Тут народ сажаться уж стал. Ее опять допрашивают: «Поедешь, мать?» — А она чуть стонет: «О... ой,.. домой...» — Силы-то уж не стало, истомилась. И лицо все себе о камни исколотила. Ну, велел тот карманы осмотреть у мертвого. Денег много нашли, часики золотые сняли с руки, портсигар хороший... Главный и подает старухе:

— Возьмите, от вашего сына!

Она все будто без понятия, сидит на земле, задумалась... Он ей опять, и публика стала ей внушать,— бери, мол, на сирот! Она тут поняла маленько... руками на того, на латыша, как когтями!.. Да как ему плюнет на руку!..

— Про...клятые!..

И упала на панель, забилась... Тот сейчас — в вагон! Подхватили, в вагоне на мешки поклали...

Пошел поезд. Остался тот лежать,— из вагонов народ глядел,— и те над ним стоят, коршунье... А старуха и не чует уж ничего. Стало ее трясти, рыдает-бьется...— у-у-у... у-у-у... Два перегона она так терзаясь... Сколько мытарств приняла, а напоследок — вот! А которые, конечно, рады, что переполох такой случился и досмотру настоящего не было,— опять муку назад потаскали. Через ее спаслись маленько.

Стали к большой станции подходить,— что не слышать старуху?!. Глядят, голова у ней мотается! Знающие говорят — отошла старуха! Как так?!. Отшла, преставилась. Подняли ей голову, а у ней изо рта жилочка уж алая, кровяная... За руку брали — не дышит живчик. Подошли к станции, а там бегут солдаты, трое... кричат:

— Которая тут старуха, у ней сын застрелился?.. По телефону дано знать... мешок муки ей и проводить на родину с человеком, при бумаге!..

— Здесь,— говорят,— эта самая старуха... только примите ее, пожалуйста, приказала долго жить!.. И муку ее забирайте, можете блины печь!..

Схватили мешки — раз, им под ноги! И старуху легонько выложили,— вся в муке!

— Ну только...— тут уж весь народ вступил,— у ней внучки-сироты голодают, имейте это в виду!..

— Ладно,— говорят,— в протокол запишем, дело разберем.

Записали в протокол, что собственной смертью померла. Были, которые настаивали,— запишите, что от горя померла, муку у ней рвали... сами свидетели!..

— Ну, вы нас не учите! — говорят.— В свидетели хотите?.. Слазьте!..

Насилу от них отбились.

— Муку дошлем,— говорят.

Пошел поезд. А уж там — дослали, нет ли — неизвестно.

Июнь, 1924 г.  
Ланды.

56

...Вспомнить не могу без содрогания. Много пришлось мне видеть на войне, но был и свет, какие души открывались, исповеди какие слышала. А тот кошмарный месяц, в сибирском поезде...

После ранения на фронте меня назначили сестрой на поезд Земского Союза. Служить было приятно, и персонал попался дружный. Старший доктор был человек гуманный и тактичный. Революцию мы встретили, как радость и необходимость, и мечтали, что теперь настала светлая весна России. В первые дни революции мы доставили в Москву очередных раненых, готовились к отъезду, но получили распоряжение приготовить поезд «для миссии особенной»: из Восточной Сибири вывезти освобожденных революцией борцов за освобождение России. Все приняли с восторгом. Я была счастлива хоть этим проявить участие в великом деле.

В десятых числах марта мы двинулись. К нам прикомандировали почетных делегатов от армии, человек двадцать —unter-офицеров, ефрейторов и нижних чинов, новообмундированных, в новеньких басонах и галунах, с красными бантиками на груди, на шапках и даже на штыках винтовок. Ни одного офицера не было. Может быть, не нашлось охотников, а может быть, хотели придать «встрече» вполне демократический характер. Солдаты, фельдшера и мы, сестры, разбрали наш длинный поезд — чуть ли не из тридцати вагонов — елками, красными флагами (не было ни одного российского), полотнами с изречениями: тут были и «цепи рабства», и «кошмары тирании», и все «да здравствует» и «вперед». Тогда это казалось очень ярким. Доктор заморщился, увидя на груди паровоза щит из кумача с золотыми словами «кто был ничем — тот будет всем», посоветовал заменить более «сильным», например, «Свобода», но машинист с кочегаром заявили, что в таком случае отказываются вести поезд. Предлагали поставить щиты и на вагонах, но убедились, что так не проедешь под мостами.

Начальник хозяйственной части постарался. Мы везли груду окороков, портвейн и коньяк для ослабевших, пуды шоколада, конфет и мармелада, английского печенья, варенья и пасты, икры, колбас, сыров, сардин... Мяса и масла в Сибири было вдоволь. Начальство пустило телефонограммы по пути: революционным комитетам призывать население проявить чувства признательности и жертвенности к великим борцам освобождения.

Но первые же версты показали, что нашему народу все «как с гуси вода». До Самары поезд наш получил только пук метел от плутоватого мужичка, сказавшего нам с ухмылочкой: «Пригодится вам» — и попросившего «прикламаций каких-нибудь, потоньше», очевидно, на курево. По поводу метел у нас острелили, что «прутики березовые свеженькие» и мужичок «видно, не без ума». Дело в том, что началось разочарование. Военная делегация и кое-кто из санитаров везли горы «литературы», и когда доктор, ознакомившись с содержанием, возмутился, что «мы разлагаем армию», фельдшер из делегатов заявил: «Ведите вашу санитарную часть, а политическая — наша!»

В Самаре задержались. Как раз прибыла из Сибири «бабушка революции», Брешко-Брешковская, ее чествовали в театре, заставленном красными знаменами, лобызали в разрумянившиеся щеки и клялись в верности заветам революции. Я тоже ее приветствовала,

и она потрепала меня по щеке, сказав: «Почему бледненькая?» Я даже заплакала от счастья. На вокзале загулявший купец угощал нас шампанским, «под секретом», — было еще запрещено, — благодарили за «раненые труды» и обещал... «сорвать гидру — революцию». Напутал. Про эту «гидру» говорили на все лады. Мужик на заволжской станции, послушав ораторов, говоривших о «гидре самодержавия», раздирательно крикнул во весь поезд:

— Ша-баш! Теперь уж начнут добираться... гидры!..

Перевалив Урал, мы не нашли ничего, что напоминало бы о свершившемся. Мужики хмуро и недоверчиво глазели. Не было приношений, даже метел. Только железнодорожники из депо махали флагом из кумача, да две трубы дудели что-то нетвердое. Пришлось заведующему хозяйством закупить масло и говядину. На одной станции принес мужичок-охотник мешок рябчиков. Его спросили: «В дар борцам?» Он ответил: «Сорок копеек пары, свеженькие». Мы прикупили, сложившись, для себя. Но тут явился армейский делегат и объявил, что «персонал должен быть в общем котлу, а потому рябчиков надо поделить». Доктор почесал нос и промыгчал: «Слобо-да-да...» Взаимное непонимание начинало углубляться. «Армия» заявила, что нет равенства: персонал роскошничает на диванчиках, а делегаты должны протирать бока досками... — «и где это видано?». Стало грустно.

Однако и в Сибири начинала проявляться революция. Мальчишки бежали под поездом и орали — «азе-эт... а-зе-эт!..» Им швыряли кипы «литературы». Линейные сторожа редко выходили с флагом, а больше сидели в будках и попивали чаек. К поезду заявлялись неведомые люди, глядевшие исподлобья и называвшие себя «пострадавшими от царского режима», просили «подвезти до городка». Это были пущенные революционщики на волю уголовники. Они зорко поглядывали с откосов, высматривали на полустанках. Чаще встречались оставы слетевших с рельсов поездов. Вспоминались сибирские словечки: «пьяная весна наступила».

В Иркутске мы погрузили человек семьсот освобожденных политических каторжан. Встретили их восторгом и почетом. К нашему разочарованию, совсем не было ослабленных и больных. Были только нервно-развинченные и капризные. Одеты были прилично, хотя и разношерстно. На привезенное нами пожертвованное в Москве платье посмотрели обидчиво: «Не носите мы». Иные возмущались, почему прислан за ними какой-то санитарный поезд, а не «почетный»? Кто-то сострил из персонала: «Ждали, очевидно, царский». Между каторжанами слышалось: «штаб-каторжане», «сливочки революции», «иконы»... — намекали, очевидно, на «бабушку», на Марусю Спиридовну, и прочих шефов, которые укатили в экстренных поездах, по личному вызову Керенского. Все это были обиженные люди «вторых ролей». Но протесты стихли, когда тактичный доктор сказал красноречиво, что «вся Россия смотрит на вас, кровно с народом спаянных, и потому послала за вами этот поезд, где каждая дощечка пропитана кровью ее боевых сынов».

Мы повернули на Россию, — и началось испытание. Мы собирались в нашем вагон-салоне и поверяли друг другу впечатления. Что же это? Они даже заглядывают на кухню и проверяют, всем ли дают одно и то же. Протестуют, почему одних разместили по купе, а других «засунули под нары»? Зачем кричат они на всех станциях обгоняемым военным эшелонам, подвигающимся на фронт, — «расходитесь по домам!», «бросайте винтовки!», «отбирайте у бар землю!» Почему сеют только злобу и ненависть? Как их унять? Почему они вносят разлад в нашу дружную до сего санитарную семью? Почему они так ненасытно гово-

рят и спорят? Почему никто не сказал о России ласкового слова, а все только о пролетариате и «трудовом народе»?

Начали приоткрываться «ужасы». Один из них, ткач из Иваново-Вознесенска и бывший член Государственной Думы, купил в Иркутске пять фунтов зернистой икры — все получили «ассигновки» — и жрет ее ложками, закусывая сладкой плюшкой. И он же кричит на станциях солдатам и мужикам: «Берите землю у помещиков-кровопийцев и ломайте ноги всем, которые будут к вам итти в шляпах и брюках!» Что это? И помещиков-то не было никогда в Сибири. И почему ломать непременно ноги всем, кто в брюках? А сам в брюках.

Мы приходили в ужас и возмущение. Кого же мы везем! И это — наше, родное, русское! Призывают брататься с немцами и обратить ружья против своих. После всего пережитого на войне, после жертвенности солдат увидали мы узость, тупость и ненависть. Светлое, что встретилось нам в пути, были совесть народная и народный разум. Ораторам иногда и отвечали:

— Мы, сибирские, были всегда свободные! Не знаешь, чего плетешь!

— А ты нас не моти! Ты, в шляпе-то, нашего не понимаешь, чего на кровь воротишь? Мы ее знаем, красную... Про такое не годится слушать!..

Я слышала эти выкрики, но они утопали в реве. Я радовалась им, гордилась за наш народ, в котором живы вечные семена добра. Я видела их на фронте, в больном бреду, на ложе смерти. Мне было больно за нас: ведь эти, разжигавшие ненависть и злобу, были, какие ни на есть, а интеллигенты, наши. Сестры — не все, увы! — были подавлены, смущены, иногда плакали. Доктор боялся «внутреннего разрыва». Попшли слухи, что нас грозят выселить из купе, где месяцами мы жили в переездах, отыхах короткие часы после тяжелыхочных дежурств. Мучила мысль, что мы везем этих... везем в Россию, в светлую, новую Россию, и вот они понесут по городам и селам отраву.

Они кричали: «Вранье! Революция только начинается! и ни-когда не кончится!» Ужас, ужас. — «Мы все разроем!» Бездонный ужас.

И вот захватила нас в дороге Пасха, — Пасха 1917 года.

Уже бесснежны, голы были сибирские просторы, — конец марта. Весенняя тишина дремала в тайге. Наступил вечер Великой Субботы, солнечной только что, вдруг померкшей, захмутившейся к ночи. Вдруг повалило снегом, и белая, зимняя, Сибирь побежала за окнами.

В салон-вагоне и по столиковкам освобожденные разговаривали. И они тоже разговаривали. Должно быть, Пасха будила в них казавшееся давно отмершим. Сестры украсили их столы бумажными цветами, наделали пасх и куличей, — на станциях жертвовали «кооперативы», — накрасили яичек, — может быть, похристосуются. Но никто из них и не подумал. Притихли только. Мне было грустно. Я глядела, как они кокали яички, как жадно глотали пасху и тут же курили, курили беспрестанно. Мне было не по себе, что на пасхах выставлены кресты, на куличиках сахарно-полито — Х. В. Это им было безразлично: вкусно только. Доктор, еврей, христосовался с нами, сердцем понимая наше. А эти, кровные... — только ели. Правда, были и между ними не все еще растерявшие. Помню, один долго вертел яичко, и было в его лице что-то, светло-жальное. Это был матерой революционер, эс-эр. Принимая от меня тарелочку с пасхой и куличом, спросил:

— Вы что, сестра, печальная такая... в наш праздник?

Меня передернуло: про какой он праздник? С горечью вырвалось у меня из сердца:

— Больно, больно все это видеть, слышать... теперь у нас больше не будет Светлого Дня... я чувствую!

Он не понял. Сказал уверенно:

— Теперь... все дни будут светлые... мы воскресим народ.

— Как вы слепы! — крикнула я, в слезах, досадуя на себя за слабость.— Или сами себя обманываете? Если сеется только зло, откуда же быть свету?! Что вы делаете с народом, с добрым, мягким, доверчивым? Я знаю его, я столько видела светлого в нем, чудесного, истинно благородного, самоотверженного... все мы видели на войне. Да, и другое было, но все вам скажут, что светлого было неизмеримо больше, перед чем нужно преклоняться, что выше, лучшие, чище всего нашего, надуманного, фальшивого, интеллигентского! Вы отнимаете Бога у народа, вы его убиваете... народу не это надо!..

И я заплакала. Мне стало дурно. Меня увяли в купе. Но я не могла лежать, мне было душно. Я вышла в коридор, прислонилась к оконику и все смотрела на бежавшую снежную Сибирь. Намело цепкие сугробы в тайге. Сторожки были занесены до окон. Ко мне подошел тот самый «старый революционер», взял меня за руку.

— Милая, успокойтесь. Вы слишком все остро принимаете. Это молодое еще вино, вино революции, и оно шумно бродит. Есть между нами крайние, есть и прямые идиоты. Вы учтите разбитые жизни, личное... А сколько жертв! Большинство же идеалисты, а... только вот исковерканы.

Я молчала. Было ужасно тяжело, предчувствия сжимали сердце.

Утро. За окнами зима. Метель утихла, проглядывала солнце, какое-то больное, хладное. Снег пылал, валился с крыши. Наш поезд стоял на какой-то станции. Говорили за окнами — зима, зима! Я спросила, какая станция.

— Зима.

— Станция какая?..

— Да говорят вам — Зима!

Действительно это была станция Зима, в глухи Сибири. Длинная, низенькая казарма, с поленницами дров, с голыми лиственицами, с мужиками в лохматых шапках и трухах. Я подумала: неужели и тут, сегодня, в Светлый День, будут кричать обычное, ужасное? И увидела, что из своего купе вышел «почетный» ткач иваново-вознесенец, что-то прожевывая. Неужели он оянял про свое — «ломайт ноги»? Он спросил пробегавшего товарища: «Начинать, что ль?» Тот удержал его: «Нет соответствующего настроения толпы... что-то тут случилось, кого-то укоюили... до следующей остановки лучше».

Кто-то вбежал и крикнул:

— Слышиали, какой ужас? Уголовные каторжане ночью вырезали целую семью! Ну да, на самой этой станции, вон, тот домик, красноватый... семеро душ хватили! Народ весь там, какие уж митинги.

Я слушала, потрясенная. Слышиала: «вырезали, семеро душ, домик...» — и эти слова, без смысла, прокакивали в звоне, в пасхальном трезвоне-перезвоне. Этот звон показался мне страшным, кроваво-красным. Я бросилась из вагона, побежала в звоне... слышала — все залито... даже детей не пощадили...

Случилось то, что сибирский мужик на той же Зиме определил буквально по-пушкински: «грех кровавый». Так я и записала.

В метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь России, в конце марта 1917 года, в глухи Сибири, на станции Зима пущенные на волю каторжане вырезали семью товарного машиниста, семеро душ,

считая с заночевавшим неизвестным солдатиком: молодую жену, подростка-свояченицу, мальчика и двух девочек, и прапорщика-шурину. Вырезали двое болтавшихся с вечера «матерых», двое «волков из тайги». Зарезали, ограбили и пропали в метельной ночи.

Ходило по вагонам:

— Слышиали, товарищ... вырезали семью... семеро душ...

Все слышали, многие даже видели и вряд ли понимали, что случилось. Весь день тот я пролежала в своем купе. «Кровавый грех» представился мне ясным знаком, знаком в пути, нашему поезду Свободы: «Вот смотрите!»

Не смотрел никто. Поезд в грохоте шел к России, к ее сердцу.

Апрель, 1937 г.

Париж.

## Прогулка

Ивану Александровичу Ильину

Жизнерадостный, полнокровный Понпер говорил, живописно откладывая падавшие на лоб пряди:

— Да, как будто бессмысленно. Но мы в ограниченных рамках, друзья мои! В рамках... я бы сказал, где-чувствия, и Смысла мы осознать не можем. Жизнь, как некая онтологическая Сущность, начертывает свои проекции в невнятном для нас аспекте. Но можно как бы... подчувствовать, уловить в какофонии Хаоса... таинственный шепот Бытия! Этот ведомый всем Абсурд, этот срыв всех первичных смыслов... не отблеск ли это Вечности, тающей Великий Смысл?!

Он умел тонко мыслить, любил смаковать слова, вслушиваясь в их музыку, и это умирающее действовало на заходивших к нему по пятницам. Его стеснили, оставив всего две комнаты; но эти комнаты, в книгах до потолка, покойные кожаные кресла, тяжелый стол красного дерева, от наследников Огарева, просторные окна особняка, выходившие в старый сад, с видом на главки Успения на Могильцах, манили в прошлое. К нему любили заглядывать, вздохнуть от постылой жизни.

Это были хорошие русские интеллигенты. Они возмущались зверствами и клеймили насилиников в газетах за поругание революции, за угнетение самоценной личности. Но когда задушили и газеты, даже высоким идеалистам, верившим безотчетно в человека, сделалось совершенно ясно, что здесь человеческие слова бессильны. Отвергая принципиально борьбу насилием, непоколебимо веря, что истина победит сама, они стали терпеть и ждать.

Заходил к Понперу Укронов, благородный его противник, человек пожилой и, несмотря на мытарства, все еще очень грузный. Под влиянием пережитого он пересмотрел свою философию и отверг, и теперь работал над капитальным трудом — «Категории Бесконечного: Добро и Зло». Когда-то спорщик, теперь он молчал и думал, жуя черные сухари, насыпанные по всем карманам.

Бывал математик Хмыров, высокий, замкнутый человек, произносивший за вечер десяток слов, но веских. Его матовое лицо и черная борода в проседи приносили спокойствие.

Захаживал еще Линин, знаток кватроченто и чинквеченто, мечтавший уехать за границу. Он бродил теперь по церквам, открывая старинные иконы, иставил свечки. Часто крестился и говорил: «Как Господь!..»

Забегал подкормиться Вадя, утиравший лицо кудрями, увлекавшийся Пушкиным и Маяковским, —

поздняя поросль века. Он легко оправдался, ходил без шляпы и босиком, подсушив штаны, и недавно прославился, выпустив книжку «Вызов» — в одну страничку:

Небо — в окошко!  
Луну — в салог,  
Как кошку!  
Бог!

Его стыдили, а он хохотал восторженно:

— Поддел! «Бог»-то ведь с большой буквы!.. Начало стиха, не придерешься!..

Бывал хрупенький старичок, милейший Семен Семенович, писатель из народа, с подмигивающим глазком, но скромный. Он притаскивал иногда кулечек, — «для поддержания философии», — и тогда услаждались салом и даже запеканкой.

Уже миновало время, когда не раздевались по месяцам, таскали ослизлую картошку, коптили вонючие селедки, меняли, хоронили... Стало легче, и обострялась потребность духа: осмыслить и подвести итоги.

— Миллионы трупов, людоедство, донельзя оскотинели... — говорил Хмыров в бороду.

— Четыре года — момент. Момент — не мерка! — чеканил Поппер. — Берите перспективы, углубите. Чекисты... — понижал Поппер голос, — гекатомбы. Верно. Но это воплощение смерти в жизни, это прозрачность самой жизни, когда грани реального как бы стерты... этот пьяный разгул меча... не обращает ли это... к вечности??!...

— Естественно, обращает.

— Не каламбурьте. Разве мы не шагнули за грани всего обычного, разве не выветрили из душ многую пыль и гниль перед всечасной проблемой смерти? Разве не засияли в нас лучезарными блесками благороднейшие алмазы духа?!. Разве не раскрылась в страданиях бесконечность духовных глыбей?..

— Зло... — говорил из угла Укропов, жуя сухарик, — в вашей концепции принимает функции блага. Разберемся. В аспекте бывременности. Зло как философская категория не есть то зло, которое, по чудесному и потрясающе точному слову Блаженного Августина...

— А если не из философии, а попросту?.. — подмигивая, вмешивался сбоку Семен Семенович. — Сколько было философов и крови, а благородного блеска нет?.. Подешевле бы как-нибудь нельзя ли?..

— Вчитываясь, господа, в Пушкина... — вмешивался, волнуясь, Вадя, и кудри его плясали, — нахожу теперь величайшее в «Пире во время чумы»!.. Что-то... прозрение!.. Вот, позвольте... —

Что делать нам? и чем помочь?  
Зажжем огни, нальем бокалы,  
Утопим весело умы —  
И, заварив пиры да балы,  
Восславим царствие Чумы!

— Аркадий Николаич... только в иной плоскости... — путался он словами, — что «мы обращаемся в Вечности! Вот, Пушкин опять...

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного тант  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог!

— Кто это говорит?! — вздыхал из угла Укропов. — Не Пушкин, а потрясенный, потерявший любимых! Пушкин предвосхищает Достоевского, дает «надрыв». А Аркадий Николаевич, здравый, через «чуму» — приближает к... Вечности! И, конечно, никакого «шепота Бытия» не слышит!

— Слыши! Представьте на один миг...

— Один мне писал, в начале «шепота»... — говорил веско Хмыров: — Почему возмущаешься? Почему самому Пушкину не верите?! — «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!» — Подошло мальчику под ребро. Неделю в погребе прятался. Полагаю: не до «упоения» было.

Так они шевелили душу.

## II

«Ходили по краю смысла», как выражался Поппер, и в этом была даже красота. В кусочке хлеба, в его аромате и ноздреватости теперь открывался особый смысл. В розоватых прослойках сала, в просыпанной пшенице, которую подбирали, как святое, вскрывалась некая острота познания. Кристаллик сахара, выращенная в горшке редиска наливалась особым смыслом. Даже ходить неряхой — и в этом было что-то несущее.

Открывались новые радости. Аксаков являл чудесное простотой: «Вода — красота природы!» Тургенев ласкал уютом. История России блистала грозами, светилась Откровением. Собрания «вечного искусства» томили сладчайшей грустью, сияли отблеском Божества. Мечталось уехать за границу.

— Да, хорошо бы за границу... — признался Поппер.

Как-то Вадя принес «открытие»:

— Это что-то непостижимое!.. «К вельможе»!.. Вчера... всю ночь... десятки раз... весь мир!..

Линь только первая позеленеет липа,  
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,  
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,  
Где циркуль зодчего, . . . . .

Он читал вдохновенно, прячась в своих кудрях. Да, удивительно. Поппер взял с полки книгу...

Ступив за твой порог,  
Я вдруг переносусь во дни Екатерины,  
Книгохранилище, кумиры, и картины,  
и стройные сады . . . . .

Я слушаю тебя: твой разговор свободный  
Исполнен юности . . . . .

Бес民族文化 окружась Корреджим, Кановой,  
Ты, не участвуя в волнениях мирских,  
Порой насмешливо в окно глядишь на них  
И видишь оборот во всем кругообразный.

Открыли тетради «Столица и Усадьба», томики — «Подмосковные». Сколько перлов! И не замечали как будто раньше? Поппер сознался, что не бывал ни в одной усадьбе. Лишин знал хорошо Европу, а «усадьбы откладывал». Укропов «все собирался, да так и не собрался».

— Остатки «варварства и крепостников»-с, — поступал пальцем Хмыров. — А вот при «шепоте Бытия»... на Театральной, пирамидку из досок видал, для собак удобно. И на ней Карла Маркса сидит.

Решили делать экскурсии.

## III

Как-то сошлились на вокзале, с мешочками: хорошо закусить в парке, подле Дианы или Флоры. К ним подошел, в галифе, с кобурой, справился: кто, куда?

— А, всерабы... Мо-жете.

В вагоне говорили об искусстве, об Архангельском-Юсупове. Какой-то пьянейский пробовал задирать и обозвал «голопятыми».

— Все им гуля-ники!.. Зна-ю... Не переводятся... есупы!.. Какие у вас... архангелы?.. Мало вам, что Господни... храмы... Я зна-ю!..

На остановке сошли. Потянулись поля картофеля, изрытые, в ворохах ботвы. Кое-где добирали бабы. Было начало сентября, сухая и ясная погода, принескало, сверкали паутинки. Приятно было идти по пыли, мягко. Вдали темнел плотной стеною бор, белела колокольня.

Поппер прочел накануне «Подмосковные» и объяснял подробно:

— Въездными воротами,— с барельефом Трубящей Славы,— вступаем в парк, где когда-то прогуливался Пушкин. Бор раздвигается, и в перспективе аллеи — величественная арка, сквозные колоннады,— подлинный «гимн колонн», «одна из лучших мелодий в тоне, которым звучала русская архитектура конца восемнадцатого века»! Дом с круглым бельведером. Дух Кваренги, Старова и дерзновенного, хотя отчасти и подражательного Казакова. Паоло Веронезе и Тьеполо, декоративная живопись барокко... Мы почувствуем Гюбера, Грэза и Ротора в неувядающих полотнах, увидим белую прихоть — интимную комнату портретов прекрасных женщин — «привязанностей»... голубую, под серебро, «спальню герцогини Курляндской»...

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,  
К тебе явлюся я . . . . .

Надвигавшийся бор синел; чувствовалось его дыхание. Томили поля изрытостью.

— Мы в грязном, разрытом поле...— рассуждал, проникаясь, Поппер,— но мы продвигаемся туда! Нет, в самом деле: серость, и — темно-зеленый бархат, укрывающий «светлый мир»! Дикое поле и тут же невидимое... близко-близко,— и стленное!.. Чудеснейшие возможности...

Смотри: вокруг тебя  
Все новое кипит, былое истребя.  
Свидетелями быть вчерашнего паденья...

— Позволю себе перефразировать:

Опомняться младые поколенья!..

А Семен Семенович прошел, мигнув на копавшую у дороги бабу:

Жестоких опытов сбирая поздний плод,  
Они торопятся с расходом свести приход.

— А почем, матушка, картошка-то? — спросил он говорком бабу.

— Ну тебя, старый черт!..— огрызнулась баба.— Скидай штаны — дам пригоршню!

— Скидать-то стыдно, красавица...— сказал стариочек под хохот.

— Слопали нонче стыд-то!...— швырнула баба.

Купили за полтораста тысяч с полподола картошки: хорошо будет спечь в золе! Попался солдатишка в разухом «шлеме», на кляче вскачь, гикнул на них — «това-рыщи-и!»...— Вадя пустил вдогонку:

Дурак на лошади,  
Колпак на дураке,  
Звезда на глупом колпаке!

— До этого надо довести, само не станется...— сказал Хмыров...

Вот он и бор. Ворота с Трубящей Славой. Оглядели, пошли аллеей, в высокой сухой траве. Было тоскливо, тихо. Пахло сухим застоем. Вкрапленные, кой-где золотились в бору березы.

— Едут...

Бежала буланая лошадка, с черной, под щетку, гривкой; звонили мелкие бубенцы на сбруе. В желтом кабриолете сидела пара. Кругленький стариочек, с острой седой бородкой, в бархатном картузе, в перчатках, почмокивал вожжами. Он внимательно по-

глядел и что-то сказал соседке. Она кивнула. В широкой шляпе, широкая, с букольками у щек, она была старичку под пару. Прокатили.

— Афанасий Иваныч и Пульхерия Ивановна, стиль-модерн! — подморгнул к ним Семен Семенович.

— Должно быть, осматривали... тоже.

— Отражение прошлого! Мирно катят на станцию, из усадьбы...

— И на своей лошадке! Уцелели еще такие...

— Господи, какая удивительная встреча!...— промолвил грустно всю дорогу молчавший Лишин.— Господи-Господи... где все?!

— Смотрите... колонны в сосновах! А вон бельведер!..

Они приостановились и смотрели.

— Прошлое...

— И говорит это прошлое: «Что!.. панихидку пришли служить?..»

Величественная арка ворот. За нею сквозные колоннады, за ними дом — белая тишина у леса — проблескивает пустыми окнами. Холодный, слезливый блеск.

— Стой-ай!..— всполохнуло их сильным ревом.— Вам говорят... назад! Ступай сюда...

И явственно звякнуло прикладом.

#### IV

Сбоку арки сидел на пеньке солдат, звезда на шапке. Они подошли покорно.

— В чем дело, товарищ?..— небрежно спросил Поппер.

— А вот... уходите.

Это был белобровый парнишка, с слюнявыми губами. Он поставил винтовку к арке и стал колупать ладонь.

— Почему?! У нас ордер...

— Мало что, а... уходите, больше ничего.

— Да позвольте... почему мы должны уходить?!..— возмутился Поппер, обзывая мысленно сопляком.

Солдатишка отколупнул мозоль и стал раскусывать.

— Я этих делов не знаю. Вам говорят, ступайте... а то начкара свистну сейчас. Он вам тогда скажет, почему...

— Товарищ, не будьте цербером! — сказал Вадя, протягивая солдату папироску.— Хоть покурить, что ли...

Парнишка взял папироску и положил за обилаг, как должное.

— Видите, товарищ... Этот старинный дворец сохранен рабоче-крестьянской властью для всех граждан... и мы, как граждане...

— Это я без вас знаю, что рабочая власть...

Они закурили, ждали.

— Нечего мне вам объяснять. Не враз попали. Сама уехала, а без ее нельзя. Только вот со стариком отъехала... Небось она вам попалась?

— То есть как?.. При чем тут... Кто это она? — заговорили они все вместе.

— Живет тут со стариком, охраняет. От ее зависит. И ключи у нее... Поедет и запрет.

Они смотрели, не понимая, вглядываясь друг в друга.

— Может, к зятю поехали... тогда не скоро. А может, на Смоленской, купить чего. Она часто ездит, катается...— расколупывая ладонь, болтал парнишка.— Хотите — погодите... по лесу погуляйте. Этого она не воспрещает. А коль к самому поехали, до ночи не воротятся. Он в Ильинском теперь живет.

— Кто он?..— спросили они все вместе.

— Товарищ Троцкий... кто! — подтряхнул головой парнишка.— Евоная теща, полный полномочий! Троцкая теща... поняли теперь? При себе допускает,

а так велит гнать. Боится, покрадут. Теща евоная, самого Троцкова! А то как ничего. С которыми и сама ходит, рассказывает, как у их там... о-ченно сильвировано!..

— Мммдаааа... — промычал Хмыров в бороду. — Были князья, теперь те-ща!..

— Понятно, все ее боятся... Троцкая теща! А об князей я не знаю, рязанской я. Каки-то, словно, жили, сказывали тут некоторые люди... что хорошего роду. Конечно, теперь все — народное. А старик ее вроде казначей, с сумкой ездит. Отвезет чего, а то привезет... дело-вой! Ну, она шибчей старика.

— Так-с. Стrogая, выходит?

— Не шибко строгая, а... Надысь Артемова напечто на трои сутки запекла! А так. Сказал, про себя... несознательный он, конечно. Ну, она дослышила, враз в телехон, самому! Нажалилась. На трои сутки, для дисциплины! Вы как... не партейные? Под конькотом видят! Живот надысь у ей схватило, ночью... сметаны облонялась... Тут у их во-семь коров, молоком торгуют... Солдата в аптеку ночью погнала, за семь верст! Сво-льч какая, погнала!... — оглянулся с опаской солдатишко. — Разве энто порядки? Царица, вон говорят, у нас и то так не гоняла...

Он глубоко запустил руку под шинель, под мышку.

— Заели... все тело зудится, а мыльца нету.

Они пожалели и дали ему на мыльце.

— Значит, никак нельзя без нее?

— Не, ни под каким видом.

— Мы бы недолго... Может быть, как-нибудь?..

— Да что вы, махонький, что ли... не понимаете! Говорят вам, ключи с собой увозит... никому не доверится! Наши-то бы пустили поглядеть... Жалко нам, что ли! Гляди, пожалуйста. Вот, глядите отсeda... на воздухе-то и лучше даже. А то, может, дождется. Пообходчивей как с ней... шляпу ей сымете... она вас, может еще, и сама проводит, все вам расскажет. И со стариком, где снят, покажет. Надысь я видал... о-ченно сильвировано! Постеля у их голубая, и весь покой голубой, и серебряный... И снять под пологом, с бахромой... сказать, балдахон!..

— «Спальня герцогини Курляндской!» — сказал Хмыров. — Наследнички.

— Но это же... ужасно!.. — воскликнул Поппер.

— Спят-то что? — спросил, ухмыляясь, солдатишко. — Они супруги... уж это как полагается.

— Не то, а... Ждать-то долго.

— Видно, надо играть назад! — перебирая бороду, сказал Хмыров.

— А то погодьте. Враз попадете, она ничего, обходчива. Песни мы им надысь пели, сорок человек... гости были. Наши им песни нравятся, чтобы свист!..

Велела по стакану молока..... выдать!.. — выругался с оглядкой солдатишко. — Заместо водки!..

— Да к вам-то какое они отношение имеют?! — дернулся-крикнул Вадя.

— Мало что. Всякий отношении. Значит, такой закон, допущены до дела...

— Не-ет, он не дурак... — сказал Хмыров, когда, прощально взглянув на дом, потянулись они аллее. — «Всякие отношения имеют!..

Дошли до Трубящей Славы.

— Дотрубилась, голубушка! — сказал разговорившийся что-то математик.

Понили картофельные поля. По взъерошенней дали их еще копались пригнувшиеся люди, добирали.

— До чего же все гну-сно!.. — воскликнул с тоскою Поппер.

Укропов жевал сухарь. Он всю дорогу молчал. Молчал и Лишин. Когда говорили с солдатишкой, он отошел под сосны, смотрел на дом и что-то шептал — крестился. Плохи были его дела. Хмыров шагал раздумчиво. Дошел до Поппера и положил руку на плечо.

— Ну, как насчет... «шепота Бытия»?!

— Отстаньте, Аркадий Николаич... — устало сказал Поппер. — Этот факт...

— ...что нет никакого «шепота», а самая-то обыкновнейшая теща.....! — выругался нежданно математик, что не шло уж к нему совсем.

— Куда вы... Вадя?! — закричал Поппер, видя, как поэт побежал от дороги полем.

— Оставьте его... — шепнул в какой-то тревоге Лишин. — Опять это с ним. Недавно зашел ко мне... забился на диванчике... Ужасно, ужасно, ужасно!.. — Лишин потер у сердца. — Потине, господа... скоро очень идем...

Подковылял ослабевший Семен Семеныч: плохо он закусил в дорогу. Поморщился, подморгнул.

— «И пошли они, солнцем палимы»... — хрипелько рассмеялся он. — А то в деревне, бывало, плясовую пели. «Ах, теща моя... домороценная! Ты такая, я такой... ты кривая, я косой!..»

— Нет, эта не кривая... и очень даже не кривая! — сказал через зубы Хмыров. — А вот насчет косины-то...

— Да что же мы, господа... — всплеснул неожиданно Укропов, — в лесу-то не закусили?!

Возвращаясь не стоило. Вон уж и полустанок, и Вадя выходит на дорогу. И минут через двадцать поезд.

Июль, 1927 г.  
Ланды.

Публикация П. АКИМОВА

## Игорь СЕВЕРЯНИН

### Народный суд

Я чувствую, близится судное время:  
Бездунье мы духом своим победим,  
И в сердце России пред странами всеми  
Народом народ будет грозно судим.

И спросят избранники, русские люди,  
У всех обвиняемых русских людей,  
За что умертили они в самосуде  
Цвет яркой культуры отчизны своей.

Зачем православные Бога забыли,  
Зачем шли на брата, рубя и разъя...  
И скажут они: «Мы обмануты были,  
Мы верили в то, во что верить нельзя...»

И судьи умолкнут в печали любовной,  
Проверив себя в неизбежный черед,  
И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?»  
И будет ответ: «Виноват весь народ.

Он думал о счастье отчизны родимой,  
Он шел на жестокость во имя любви...  
И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!  
Ты нам неподсуден. Мы братья твои!

Мы — часть твоя, пядь твоя, кровь твоя, грешный,  
Наивный, стремящийся вечно вперед,  
Взыскиющий Бога в Европе кромешной,  
Счастливый в несчастьи, великий народ!»

31 декабря 1929.

# Документальная проза

Имя Веньямина Валериановича Завадского (1884—1944), взявшего псевдоним В. Корсак, неизвестно нашему читателю. Умерший в эмиграции, он оставил после себя около десятка прозаических произведений, названия которых выбиты на его надгробии, на кладбище в окрестностях Парижа. Писатель не имел шумного успеха при жизни. Относились к его творчеству по-разному.

В 1914 году, преисполненный романтических настроений, будущий писатель отправляется на фронт, в действующую армию. Затем тяжелая контузия, ужасы плена, о которых он, «единственный в русской литературе», поведает в своих первых повестях «Плен» и «Забытые».

Возвращение на Родину проходило под знаком семнадцатого года и не принесло ни радости, ни облегчения. Пережив войну и революцию, Корсак, «потерявший 75% трудоспособности», попадает на службу в один из провинциальных комиссариатов, где его окружает «большевистский быт с его бессмыслицами, бюрократизмом, официальным грабежом, произволом авантюристов, поспешивших прилепиться к общественному пирогу».

Не умев и не желая приспособливаться, он решительно покрывает с новой властью.

О гражданской войне, трагический эпизод которой нашел отражение в публикуемой нами повести «У белых», Корсак горестно заметит: «Мы ведь обреченные. И в гибели нашей — мы одиночки. Мы это те, которыми всякий

править и командовать хочет. Когда мы в Москве подходим, то большевистские главари за границу удирать собирались, а теперь наши — ведь это не секрет. А какие ошибки были сделаны — об этом мы с вами хорошо знаем.

Нам стать ворами, грабителями и убийцами было прямо невозможно. А те, кто нами правил и командовал, о чести не думают, а торопятся спасти свою шкуру. Мне же и вам придется погибнуть, ибо... что делать людям, у которых ничего, кроме вшей и совести, не осталось?»

Известный деятель эмиграции А. Мельгунов на вечере, посвященном памяти писателя, говорил: «Корсак никогда не ридится в искусственную тогу высокопарных гражданско-патриотических чувствований: все у него жизненно просто. Он описывает то, что видел собственными глазами, то, что чувствовал непосредственно. Это придает его повествованию характер какой-то большой искренности и правдивости. Действующим лицом автор выбрал самого обыкновенного русского интеллигента, судьба которого была изломана в налетевшем вихре. Этот интеллигент, скажу словами самого Корсака, прошел «через самую гущу и низы жизни» и понял, что «скрываются на ее дне».

Кто же такие эти интеллигенты «из низов»? Это земские врачи, учителя, юристы-практики, среднее офицерство, приходские священники, инженеры, то есть те, которые вели, тащили на своих плечах воз российской государственности. Именно они больше всего пострадали в огне первой мировой войны, революции, гражданская усобица и террора.

Затем был «Великий исход», и «он пошел, сам не зная куда, за другими отступающими, за тянувшимися от горизонта до горизонта цепями военных и невоенных, мужчин, женщин, детей, рабочих, студентов, хорошо и бедно одетых».

Оказавшись в эмиграции и разделив все ее тяготы и лишения, писатель начинает публиковать свою летопись. Одна за другой выходят в свет его повести: «Плен», «Забытые», «У красных», «У белых», «Великий исход», «Под новыми звездами» и другие.

Им не грозит забвение. Наша задача, чтобы «голос минувшего» прозвучал на Родине.



Веньямин КОРСАК

## У БЕЛЫХ

Повесть

I.

Весь день 5-го августа 1919 года вокруг Киева шла оглушительная артиллерийская пальба.

Под вечер загремели по мостовым длинные обозы. Это отступали большевики. По Крещатику, через Подол, они уходили по направлению к Вышгороду.

Ночь прошла, в общем, спокойно. Иногда только тревожили нас редкие выстрелы нескольких орудий, занимавших позицию где-то у Владимирской горки.

Наступило утро. Оно застало киевлян уже на ногах перед воротами домов; думали — можно ли пойти в город посмотреть, что там делается, или нет. Наконец после разговоров и колебаний самые решительные отправились и из нашего дома на разведки. Минут через пять после их ухода к автомобильному гаражу, который находился недалеко от нашего дома, подъехал большой грузовик. На платформах стояла масса людей с белыми повязками на руках. Это была местная самооборона, организованная каким-то киевским эсером для защиты жителей от разбоев. Подождав еще немного, мы с хозяином тоже решили пойти в город. У Большого театра мы увидели толпу и услышали радостные крики: в садике, перед Оперой, лежали на траве пять или шесть петлюровских солдат. У каждого на поясе висело несколько бомб. Вид у них был очень мирный и благодушный; они улыба-

Текст печатается с сокращениями.

Геннадий ЗВЕРЕВ

лись и что-то говорили высокому плотному человеку в штатском костюме. Через несколько шагов мы встретили петлюровского офицера; он был в обмотках, пленке и сером френче и очень походил на петербургского франтоватого гимназиста. Но балакал он только по-украински и «московской мовы» не понимал или не хотел понимать.

Для киевских самостийников и самостийниц появление петлюровцев было большим торжеством.

На обратном пути мы увидели уже много мужчин в вышитых сорочках и широких штанах, а женщины понадевали мониста и вплели в косы ленты национальных цветов. На дверях одной из гостиниц был прикреплен какой-то плакат: приглашали записываться в городскую милицию. Я подумал — не пойти ли записаться, чтобы быть при каком-нибудь деле; подумал — и не пошел, и сам не знаю, почему.

Не доходя до дома, — мы жили в конце Фундуклесской, — я увидел на стене небольшие листочки, подписаные каким-то комитетом и обращенные к рабочему населению. Спутник мой пошел домой, а я остался и перечитал их все.

Воззвания были как воззвания: звонкие и, пожалуй, пустоватые. Они тонули в общих местах: большевики — злодеи, большевики такие, сякие, большевики не могут и не умеют править... Но все знали это и без этих воззваний.

Народу выходило на улицу все больше и больше. Еще вчера можно было подумать, что Киев совсем обезлюдел; а сегодня — разряженные женщины, военные в формах и с орденами, чиновники — с петлицами и значками.

Все улыбались, все были доволыны и рады.

Из-за угла выехали неожиданно три донских казака и полковник. Это были уже добровольцы. Толпа, увидев их, стала кричать «ура» и бросала им цветы.

К обеду пришла домой старшая сестра хозяина. Она успела побывать во всем почти городе и рассказала, что видела много войск — и петлюровских и деникинских — и что на какой-то улице толпа нашла большевика.

— Секретарем, что ли, в Чеке служил. Какой-то чиновник его узнал; отпираться не стал. «Братцы, пощадите», начал кричать, «не буду большевикам служить, буду вам служить»... На колени вставал, прощения просил, каялся, сам бледный, пребледный. А толпа его, кто чем — и ногой, и камнем, и палкой... Подъехал казак, уже шашкой добил его, — закончила Анна Егоровна.

Кроме того, она сообщила, что между петлюровцами и деникинцами, как говорили в толпе, появились какие-то нелады. Таким образом, надежда на союз между Деникиным и Петлюрой оказалась как будто напрасной. Без этого же союза победа над большевиками казалась сомнительной.

Во всяком случае, всех очень интересовало, какую форму примут отношения между добровольцами и петлюровцами. Первые шли под лозунгом: «Единая и неделимая Россия», вторые признавали только самостоительную Украину.

После обеда я еще пошел пройтись по Киеву. День был прекрасный. Самостийники щеголяли в своих цветных костюмах, русские — в формах, военных и невоенных. Оба течения не смешивались. Особого дружелюбия не замечалось, но вражды тоже не было. Я прошел на Владимирскую горку и залюбовался картиной. Масса зелени, простор, далекий лес... Над темной извилиной Днепра, вдали за городом, высоко плавала желтая, большевистская колбаса. Оттуда, вероятно, наблюдали, что делается в Киеве.

На скамейку, где сидел я, подсел пожилой человек в инженерной форме. Вдруг совсем близко от нас затрепетал браунинг; две-три пули с визгом пронеслись

около моего лица. Я оглянулся на соседа, — он уже убежал. Трудно было понять, откуда стреляли, домов поблизости не было; стрелок должен был скрываться или за ближайшим забором, или за кустами. В кустах, однако, я никого уже не нашел.

Это были первые таинственные выстрелы, которые мне пришлось слышать и которых много было в это время в Киеве.

С переходом Киева в другие руки надо было думать о том, как устроиться. Денег, и притом советских, у меня оставалось немного, да и не мирное проживание в Киеве было моей целью.

С мыслями о будущем я вернулся домой. Наша колония, за исключением Анны Егоровны и студента, сидела и пила чай. Я присел за стол; пошли разговоры о будущем. В сумерки уже пришла Анна Егоровна со студентом.

— Перед городской думой собралась толпа; говорили, что между деникинцами и петлюровцами что-то произошло из-за флагов. Но, должно быть, теперь все уладилось; сама видела на балконе два флага — русский и украинский, — сообщила Анна Егоровна.

Разошлись спать рано, вчерашняя беспокойная ночь утомила всех. Засыпал я с радостным чувством: нечего бояться обысков, арестов, расстрелов... А в душе бродило большое благодарное чувство к тем, кто избавил нас от кошмарных переживаний.

Ночью я несколько раз просыпался от какого-то шума: словно вниз по улице спускался бесконечный обоз. В полусонном сознании мелькала мысль, что это прибывают в Киев подкрепления, большевиков уже нет, и им пришел конец.

На следующее утро в киосках появился «Киевлянин». Его можно было достать только после долгого стояния в очереди.

Этой же ночью произошел полный разрыв между петлюровцами и деникинцами: петлюровский флаг был не то снят с думы, не то даже сорван, а петлюровским войскам было предъявлено требование — выйти из города. Петлюровцы подчинились и вышли; но на прощание они сделали ночь, в темноте, один или два выстрела по городской думе и так метко, что снаряд попал в карниз здания и сделал большую брешь.

Как бы то ни было, добровольцы остались господами города, и вскоре в Киев прибыл штаб ген. Бредова.

Новая власть выпустила целый ряд приказов. Первый говорил об «отмене всех большевистских распоряжений и восстановлении прежних владельцев в их правах»...

Затем была объявлена регистрация офицерских чинов.

Регистрация происходила во дворе Комендантского Правления. Когда я пришел туда, там была уже масса военных — полковники, капитаны, поручики, прапорщики; было несколько генералов. Одни ходили уже в форме, другие, меньшинство — в штатском, знакомились, делились впечатлениями.

В надежде на уход большевиков офицерство бежало в Киев из Москвы, из Петрограда, из Могилева, из Чернигова, из Казани. В ожидании прихода добровольцев люди прятались в лесах, в погребах, на чердаках, в стогах соломы; один прапорщик около суток провел в канализационной трубе; какой-то капитан прожил около недели в купальнях; шесть человек приехали в лодке и скрывались в камышах.

Записывали офицеров в алфавитном порядке. До меня очередь в этот день не дошла; около четырех часов все разошлись. Я пришел домой, поел, а под вечер мы пошли прогуляться. Странно было: никто ничего не боялся, люди не хватались за карманы проверить, есть ли с собой документы, исчезли брызгущие лица с беспокойными рыщущими глазами. В сумерках раздавался смех, громко говорили, и только

отвратительный, сладковато-тошнотворный запах из анатомического театра говорил об убийствах, которые совершались еще так недавно.

На другой день мне удалось, наконец, несмотря на еще большую толпу, получить регистрационную карточку. На ней стояли мое имя, фамилия, год рождения, чин и полк, где я служил во время германской войны. С этой карточкой мне надо было явиться в Реабилитационную Комиссию и представить, кроме того, свое *curriculum vitae* от начала германской войны до настоящего момента. Для тех, которые у большевиков не служили и имели какие-нибудь документы, удостоверявшие их личность, дело кончалось в Реабилитационной Комиссии; они могли поступать в добровольческую армию немедленно.

В противном же случае, дело выходило сложнее; раз в *curriculum vitae* офицер писал, что он служил у большевиков, то Реабилитационная Комиссия отсыпала его дело в контрразведку. Из контрразведки товарищ прокурора отсыпал дело со своим заключением в четвертое учреждение — военную судебно-следственную комиссию. Эта комиссия рассматривала дело окончательно и препровождала его на заключение к коменданту города. Причем, если кто не имел старого служебного списка или других не менее солидных бумаг, тот должен был доказать свою личность при помощи управляющего домом и двух благонадежных свидетелей.

Вот что надо было пройти. У меня, как у большинства офицеров, никаких документов, кроме советских, не было.

И вечером, сидя над своей биографией, я задумался — писать или не писать о службе у большевиков? Не писать — дело упрощается, но зато все время можно ждать, что кто-нибудь возьмет да ляпнет: «А он у большевиков служил». Написать — значит, быть канцелярской волокитой.

Я поколебался и написал. Может быть, чтобы не краснеть потом и не быть уличенным во лжи.

С превеликим трудом кончил я свое *curriculum vitae*.

Утром я направился в Реабилитационную Комиссию. Помещалась она далеко, в Липках.

Я шел тихо, читая на стенах объявления и возвания. Формировавшиеся части приглашали своих прежних сослуживцев; разные союзы и блоки расклеивали свои программы и призывы; партизанские отряды принимали добровольцами всех желавших; воскресли старые полки и звали своих однополчан. Новые технические части искали специалистов. Были расклеены выдержки из бурцевских статей против большевиков.

Я нашел наконец улицу. Около одного дома я увидел толпу офицеров — тут была Реабилитационная Комиссия. Я вошел во двор.

Во дворе толпилось около ста офицеров. Было жарко, и все невольно искали тени. Особенно много было народа на террасе низкого, но просторного дома. Я направился туда. Какой-то офицер в пенсне, тонкий, худой, веснушчатый, составлял список.

Я записался. Мой номер был не то 60-й, не то 70-й.

На всякий случай я встал поближе: очередь — очередь, но чтобы ее кто-нибудь не захватил, я притискался поближе к двери, на которой висел список. Комиссия заседала где-то в глубине дома.

Допрос продолжался минут 10—15. На «очистившихся от большевизма» во дворе набрасывались с вопросами: как и что? Но те махали руками и уходили поскорее.

— Зачем эта реабилитация? — спрашивал кого-то капитан с густыми рыжими усами и инженерским значком. — Только проволочка времени.

— Это после взятия Харькова пошло. Тогда доб-

ровольцы всех желавших попримали к себе. А потом, во время боев, некоторые из этих принятых к большевикам перебежали. Теперь вот и боятся этого.

Все замолчали.

В этот день я прождал во дворе с 9 часов до трех; за это время Комиссия отпустила около 40 человек. В три часа председатель заявил, что занятия кончены. Все пошли по домам. Было пыльно, жарко. Я спустился к Днепру, искупался и потихоньку пошел домой. Пройти пришлось мимо контрразведки. Она занимала большую гостиницу на Фундуклеевской, недалеко от Большого театра. У входа стоял с винтовкой солдатик и тихо что-то напевал. Гимнастерка на нем была рваная; сапоги — дырявые. Около подъезда прохаживался ротмистр в серебряных аксельбантах и с хлыстиком в руке.

Из-за угла вдруг вывернулась шумевшая и беспорядковавшаяся толпа. Она тесно окружила четырех конвойных и молодую полноватую женщину в красном платье. Били ее палками, камнями, кулаками. От ударов голова с короткими стрижеными волосами мешалась во все стороны.

— Кто это такая? — спросил я у господина, стоявшего на краю тротуара.

— Говорят, что это знаменитая Роза, которая служила в Чека и собственноручно казнила приговоренных к смерти.

Толстенький человек в сером костюме подошел к нам и стал прислушиваться.

— А я думаю, что это ошибка. Наверное, Роза ушла вместе с Чекой, — сказал он.

— Как сказать? — ответил первый. — Уже поймали несколько подлинных чекистов; они и сами не скрываются, что работали в «чрезвычайке».

Я пошел дальше.

Около Большого театра стояла толпа. Чего-то ждали. Остановился и я. Через минуту из боковой улицы вышли четверо конвойных; они вели двух молодых людей, хорошо одетых, в котелках, с высокими крахмальными воротничками.

С противоположного тротуара неожиданно сорвалась пожилой мужчина и стал бить палкой по голове одного из арестованных. Должно быть, бивший был прав, так как битый втянул только голову в плечи и не сделал ни одного движения уклониться от ударов. Страшно было смотреть на бившего — вся жизнь была сведена к черным безумным зрачкам. Он бил, визжал, кричал что-то о брате, о «чрезвычайке» и был в том состоянии, когда люди не чувствуют смертельной раны.

На другой день я пришел в Комиссию пораньше. Но народу тем не менее было уже много. На дверях, рядом со вчерашним списком, где была и моя фамилия, висел новый. Спорить было напрасно. Подумав, я вписал свою фамилию и во второй список. Часам к десяти во дворе уже маялось около трехсот человек. На очередь не обращали внимания. Каждый хотел попасть вперед, и на террасе, перед дверью, была страшная давка. Я со своей большой рукой остался за флагом. В три часа Комиссия прекратила занятия, пропустив человек пятьдесят. Остальные разбрелись по домам.

Вернувшись к себе, я зашел к знакомому капитану, который жил во дворе. Я застал его и еще другого поручика на кухне. Они резали хлеб тонкими ломтиками, раскладывали их на железном листе и сажали в печку.

Я спросил, как у них обстоит дело с реабилитацией.

— Да никак, — ответил хозяин, — сушим вот хлеб. Потом возьмем котомки, сухарей и пойдем скрываться в лесах.

Я обратился к его гостю.

МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ БУРЖУЯМ  
МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ!...



Плакат неизвестного художника.  
Петроград. 1918 г.



Марк ШАГАЛ. Витебск. 1919 г.



Владимир ЛЕБЕДЕВ. Петроград. 1920 г.

### ЛИКИ ВОЙНЫ



Председатель Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкий (крайний слева): «Гражданская война есть самый жестокий из всех видов войны. Она немыслима не только без насилия над третьими лицами, но, при современной технике, без убийства стариков, старух и детей... Цель (демократия или социализм) оправдывает, при известных условиях, такие средства, как насилие и убийство».





Виктор ДЕНИ. Казань. 1919 г.



Дмитрий МООР. Москва. 1920 г.





Дмитрий МООР. Москва. 1920 г.



Виктор ДЕНИ. Москва. 1919 г.



— Уходим,— сказал он... — и вам то же советую сделать...

И то, что он рассказал мне, не было особенно ободрительно.

— Я с месяц жил при добровольцах в С-е. Встретили мы их с колокольным звоном. А потом разочарования пошли. Все те, которые так или иначе советской власти служили, самый холодный прием встретили. Ну это еще ничего. Старым запахло, и очень даже. А крестьяне-то очень чутки к этому. Про пьянство и дебоширство говорить нечего. Контрразведка что хочет, то и делает. Делает обыски, забирает ценные вещи, арестует, потом откупаться надо.

Ни права, ни правды. В возвзваниях об Учредительном собрании пишут, а сами все «Боже царя храни» тянут. Народ же все видит и слышит. Никакой осторожности, только дело погубить могут...

Пожелал им обоим всего хорошего, пожали мы друг другу руки и расстались. К обеду пришел хозяин со студентом.

Студент рассказал, что в эпидемическом лазарете, где он служил конторщиком, начали поговаривать о расформировании лазарета. Причина — желание духовенства открыть поскорее семинарию, где помещался лазарет, чтобы не потерять учебного года. Что было важнее — семинария или госпиталь, должна была решить новая власть.

В этом госпитале, по словам студента, было несколько большевиков. Накануне прихода добровольцев, по приказу свыше, из всех больничных книг, где было написано: «коммунист», эти страницы были вырваны, а на новых было велено написать — гражданин такой-то. Большевики о своих заботились. Добровольческие власти явились в лазарет на один момент и не доискались, кто там лежит.

Наутро я снова зашагал в Комиссию. Несмотря на ранний час, народу оказалась тьма. Появился третий список. А когда двери наконец открылись, об очереди не могло быть и речи; каждый тискался вперед; ругались, толкались, давили друг друга. Списки слетели с дверей; их затоптали ногами.

Я ушел с террасы. В толпе на меня нападает ужас. С ним я не могу бороться. Я вышел из толпы и сел на тумбу во дворе. Вблизи, вдвоем на одном кухонном табурете сидели загорелый штабс-капитан и моложавый подполковник.

— Не попасть, видно, сегодня нам,— заметил штабс-капитан.

— Да и завтра тоже вряд ли,— сказал подполковник,— я давки не выношу. У меня пулей два ребра вышибло.

— Как вы на эту реабилитацию смотрите, господин подполковник?

— А как на роскошь — глупую и ненужную.

— Почему? Она все-таки имеет основания — отдельить благонадежных от подозрительных.

— Так-то оно так. Но вы можете сказать, например, сколько всего добровольческих войск в Киеве?

— Нет. Офицеров-корниловцев встречал много. А войск, собственно говоря,— так, полуроту одну всего-навсего.

— То-то и оно-то. А я и полуроты этой не заметил. Видел кадет, с десяток приблизительно. Оборванные, голодные. Кроме того, и казармы все пустуют. Значит, войск не особенно много. Если пронюхают об этом большевики, нагрянут на Киев.

— Что ж делать?

— Времени не тратить: части надо формировать, вооружать их, учение проводить. Порядок и дисциплина прежде всего. А там, если и проскочат большевики, это само собой выяснится. При крепко сплоченной массе они не так опасны будут... — сказал подполковник.

Около часа дня вышел председатель Комиссии и заявил, что сегодня и завтра Комиссия работать не будет, по слухам перевода ее в другое помещение.

Все молчали.

— Вы, господа, не сокрушайтесь,— заметил председатель,— Комиссия переводится в большое помещение, и, кроме того, число членов увеличивается втрое. Дело пойдет скорее.

Все разошлись. Не зная, что делать и куда идти, я тихо побрел по улице. Эти дни были как раз днями раскопок в «чрезвычайках». Ближайшая находилась в доме Бродского. Это был двухэтажный особняк. К нему примыкал сад величиной с полдестины, а может быть, и меньше. Со стороны улицы он был обнесен высоким забором. Никакой щелки я не нашел. Но вблизи забора, у кустов, лежала оставленная кем-то лестница. Я подставил ее и влез. С моего места очень хорошо был виден весь сад и задняя часть дома. Сад, в сущности, состоял из нескольких больших тополей посередине и каких-то кустарников по краям, у забора. В самом центре, под деревьями, было несколько полуоткрытых ям. Около одной из них толпились человек пять. Они разглядывали вырытый труп. Несколько подальше — какие-то двое людей измеряли ямы рулеткой. Был и фотограф, щелкавший все время аппаратом.

Это была одна из самых известных «чрезвычайек». Тут не только содержали заключенных, но, как говорили в народе, пытали и казнили их.

За густым кустом сирени слышались голоса. Кто разговаривал — я не мог видеть.

— У этого студента кожа в таком состоянии, что действительно можно подумать — не пытали ли его еще при жизни кипятком.

— А почему у него ногтей нет?

— Почему? Вероятно, потому что их вырвали.

— Просто не верится.

— А вчерашиние трупы на вскрытии показали, что они были зарыты живыми.

— Те, кто живут поблизости, говорят, что они часто слышали ночью нечеловеческие крики,— сказал третий голос.

— И я слышал об этом,— отозвался второй,— муж с женой, что живут напротив, рассказывали, что они слышали вопли даже сквозь закрытые окна; чтобы не слышать, они в подушки зарывались. Я видел еще и другую «чрезвычайку», что в гараже помещалась. Вшел — и собственным глазам не поверили: стены, пол — пальца на два обросли чем-то темным. Оказалось, что это кровь и мозги: в гараже казнили. Здесь истязателем был какой-то молодой еврей, у которого брата убили петлюровцы, а там обязанности палача исполнял русский «простой» человек. Когда он шел на работу, то болотные сапоги надевал и кожаную куртку, чтобы не запачкать костюма.

— Чистоплотный джентльмен,— заметил кто-то.

Я слез с забора и пошел дальше. Остановившись перед самым домом, я задумался — войти или нет? Эти дни «чрезвычайки» были открыты для жителей, которые искали тела своих близких. В этот момент из дверей вышла старшая сестра хозяина с дамой в черном платье.

— Куда вы? — спросила меня Анна Егоровна.

— Хотел бы посмотреть, что внутри там находится, да не знаю. Жутко чего-то.

— Пойдемте с нами. Мы идем теперь в «чрезвычайку», что в генерал-губернаторском дворце помещалась. Алиса Викентьевна сына своего ищет.

Пошли вместе.

— Весь дом запакошен,— рассказывала по дороге Анна Егоровна,— внизу арестованных держали, а на верху чекисты жили — видно, не успели всего забрать с собой — серебра много оставили — жбаны, блюда,

чаша; тут же и пустые бутылки из-под шампанского, флаконы от кокаина, видно, трезвому нельзя было работать. А в ванную, где говорят, кипятком шпарили — не пустили; там, говорят, какие-то приспособления нашли, чтобы человека силой держать; так до осмотра властями оставили...

Пришли к дворцу. На крыльце стоял часовой; нас пропустили. Полутемный вестибюль был пуст. Против входной двери наверх шла широкая лестница, налево от нее — узкий коридор.

— Вам что угодно? — спросил нас стоящий у лестницы полковник с Владимиром.

Анна Егоровна объяснила.

— Казненных тут нет; но, если хотите, можно осмотреть комнаты, где содержались заключенные. Может быть, ваш сын оставил где-нибудь надпись на стенах.

Полковник зажег свечку.

— Идите за мной, без света здесь нельзя — слишком темно.

Он вошел в коридор первым. Направо и налево шли двери. Когда-то тут помещались разные службы, чуланы, комнаты для прислуги.

Темнота была устроена большевиками искусственно: терраса, куда выходила часть окон нижнего этажа, была забрана досками. Затем были заколочены и окна, выходившие на эту террасу. Так как этого «чрезвычайного» архитекторам показалось недостаточно, то они забили и полуствеклянные двери, дававшие свет второму, внутреннему ряду комнат, которые выходили прямо в коридор. В итоге получилась тьма кромешная.

Какая была цель держать заключенных в мраке? — Этую тайну киевские чекисты увезли в Гомель.

Были и светлые комнаты. Тут между Божим светом и заключенными была только толстая железная решетка.

В одной из них, на стенах, на двери, на подоконнике, всюду были надписи,ставленные заключенными.

«Завтра меня казнят. Прощайте товарищи. Матрос Голыпенко».

«Раковский жрет до отвала, а народ голодает»...

«Мне стыдно, что я был коммунистом»...

Половину боковой стены занимала большая картина, исполненная, видимо, рукой художника; вероятно, за отсутствием всяких других красок, она была написана только черным и красным.

Картина изображала длинного тощего еврея с горбатым носом, с пейсами, в балахоне и туфлях. За руку он держал маленького еврейчика с таким же носом и пейсами. На веревочке за собой, вместо игрушки, еврейчик катил пулемет. И оба они — отец и сын, с радостным изумлением глядели на поле, покрытое красными маками; из каждой чашечки цветка смотрел на свет Божий еврейчик.

Под картиной была надпись «Цветы коммунизма». В этой «чрезвычайке» мы ничего не нашли и пошли домой. Около анатомического театра я расстался с Анной Егоровной и ее знакомой — они пошли смотреть тела, а я — домой.

## II.

Через день я снова пошел в Реабилитационную Комиссию. Она была переведена в прекрасный особняк по Левашевской улице. Комиссия занимала верхний этаж. Нижний пустовал. Она еще не начинала занятий, а в вестибюле, у входа и на дворе уже толпились человек триста; день обещал быть очень жарким. Чтобы не томиться в духоте перед дверями, кто-то составил список и повесил его на стене. Около девяти Комиссия начала работать. Сначала все шло хорошо. Но потом очередь стала перебиваться группами

офицеров, приходивших с записками от генерала Драгомирова. Их пропускали не в очередь. Это были офицеры из киевских офицерских рот; эти роты составляли гарнизон города и несли караульную службу. Но ни деньгами, ни пищей они обеспечены не были, несмотря на все старания генерала Драгомирова. И потому большинство офицеров в эти роты не шло. Около полудня случилось какое-то происшествие, но сперва никто не мог знать, в чем дело. Одни говорили, что нашли адскую машину, другие — что кто-то из Комиссии оказался большевиком, третий — о каком-то большевистском заговоре; но слухи были расплывчатые, неопределенные. Никто не знал, откуда они пошли. Толпа нервничала. И как на зло, двери в залу, где заседала Комиссия, долго не открывались. Наконец, обе половинки, после томительного ожидания, распахнулись. Под конвоем вывели какого-то офицера; лица его увидеть не удалось.

— Хорош гусь, — заговорили в толпе, — хороша и Комиссия.

Дело оказалось в следующем: к одному из членов Комиссии явился кавалерийский поручик и представил самое безупречное *curriculum vitae* вместе с по-служным списком. Документы не вызвали никаких подозрений. На вопрос — есть ли у него знакомые в Добровольческой Армии — поручик сказал, что он лично знаком со многими начальниками добровольческих частей. Дальше его уже не стали спрашивать и начали писать соответствующую бумажку, с которой поручик мог поступить повсюду. Но, к несчастью, в этот момент к нему подошел кто-то из реабилитирующих и заговорил. Обнаружилось, что о лошадях и военном деле поручик имел очень туманные понятия и несколько раз сбивался. В конце концов кавалерист оказался коммунистом и следователем не то Черниговской, не то Гомельской Чека и когда-то лично допрашивал офицера, узнавшего его в Комиссии.

— Поймали-то одного, а сколько их могло пройти, — говорил тонкий бледный офицер.

— Большевикам документы достать ничего не стоит, у них все почти архивы в руках, — отвечали ему.

Своей очереди мне пришлось ждать еще несколько дней. Наконец, после большой давки, мне удалось проникнуть за двери. Я очутился в большой светлой зале, оклеенной дорогими серебристыми обоями. За столиками, у стен сидело 10—12 человек «реабилитаторов». Самым старшим из них был артиллерийский подполковник; я его знал лично. Он несколько раз заходил к моему хозяину. При большевиках подполковник служил на «курсах красных командиров». С точки зрения добровольческих властей, этот факт был предосудительным; но среди преподавателей этих курсов находилось лицо, близко стоявшее к верхам Добровольческой Армии. Им, т. е. этим лицом, все преподаватели были аттестованы Бредову «самым отличным образом», как элемент благонадежнейший. Бредов избавил весь персонал курсов от всяких реабилитаций и следствий, и некоторые из преподавателей были, сверх того, назначены в Реабилитационную Комиссию.

Увидев подполковника, я шагнул было к его столику, но он сделал «невидящие» глаза, встал и вышел в соседнюю комнату. Я огляделся. Остальные «реабилитаторы», люди все молодые, большей частью прапорщики и поручики, были заняты тихими разговорами с реабилитирующими. Пройдя вперед, потом вернувшись назад, я, наконец, поймал свободное место и в порядке спешности занял его. Несуразно-высокий, тощий, с безрадостными глазами и серым лицом, поручик равнодушно взглянул на меня. На его погонах виднелись пушки, на левой руке — обручальное кольцо. Глазами он мне показал на стул, стоящий напротив. Порывшись в карманах, я вынул уже сле-

жавшееся от долгой носки *сиггiculm vitae* и передал его вместе с регистрационной карточкой поручику.

Наш *colloquium* начался. Он был не длинен. Я ему рассказал на словах содержание бумажки и замолчал. Услышав, что я служил у большевиков, поручик оживился и, читая, подчеркнул это место красным карандашом. Потом он записал мое *сиггiculm vitae* в толстый журнал, похожий на гроссбух, стукнул штемпелем и поставил номер. Проделав не спеша все эти канцелярские обряды, поручик задумчиво почесал длинный нос, вынул платок и чихнул.

— Будьте здоровы,— совершенно машинально я пожелал ему.

Он кивнул головой, оторвал кусок бумаги, написал на нем номер моего *сиггiculm vitae*, стукнул еще по куску штемпелем и протянул бумажку мне.

— Что это?

— Это номер, за которым ваше дело отсылается в контрразведку.

— Но при чем же тут контрразведка?

— Она на основании своих данных должна решить о характере вашей службы у большевиков.

— Когда же мне надо будет туда явиться?

— Сегодня мы пошлем ваше дело; завтра, быть может, его рассмотрят. Послезавтра, я думаю.

Наш разговор кончился.

Через день я отправился в контрразведку. На этот раз мое дело было найдено скоро. Пока товарищ прокурора читал *сиггiculm vitae*, я стоял и глядел на стул около стола: присесть или ожидать приглашения. Но приглашения не было. В тот момент, когда я решился сесть, не ожидая приглашения, товарищ прокурора что-то быстро зачеркнул на листочке бумаги. Потом он остановился и задумался.

— Так вы у большевиков служили?

— Служил.

— Кто за вас может поручиться?

— В каком смысле?

— Что вы не большевик.

— Сами большевики.

Товарищ прокурора усмехнулся.

— Мы, кажется, начинаем шутить.

— Нисколько.

— Есть у вас знакомые в Добровольческой Армии, которые могли бы поручиться за вас?

— Не знаю, может быть, и есть.

Товарищ прокурора замолчал, побарабанил пальцами по столу и снова принял за писание. Исписав листок, он протянул его мне.

— Подпишитесь, пожалуйста.

— Что это?

— Я должен с вас взять подпись о невыезде.

В глазах у меня закружились звезды. И, глядя на пуговицу прокурорского жилета, я спросил его:

— Что же я должен делать дальше?

— Зайдите дня через три-четыре, надо подождать, пока о вас не наведут справок.

Я уже не выдержал.

— Господин прокурор, позвольте спросить, когда же это кончится? Мне тяжело ходить и подниматься по лестницам. В коридоре приходится ждать часами. А я раненый и больной; вы мне даже сесть не предложите. У меня нет документов, поэтому я кажусь подозрительным. Но кто ж из тех, кто бежал от большевиков, имеет документы?

— Я ничего не могу поделать — служба,— ответил товарищ прокурора.

На наши голоса из соседней комнаты вышел полковник с седой бородой, в жандармских погонах, с аксельбантами и серыми щупающими глазами.

— Что у вас тут такое?

— Да вот, по его мнению,— и прокурор кивнул на меня головой,— дело не скоро делается. Ходить

много приходится, а он раненый.

— Так вы недовольны, молодой человек,— ласково улыбнулся старый жандарм,— а документов небось нет?

— Я, господин полковник, имею чин, и затем я вовсе не молодой человек. Документов у меня нет, но моего деда хорошо знают в сенате.

— А как его фамилия будет?

Я назвал фамилию отца матери.

— А как же, слышал, слышал, сенатор первоприступающий, выдающийся юрист,— подхватил прокурор.

Картина переменилась. Но и дед не спас меня от повторной явки через три дня.

Домой я пришел в придавленном состоянии.

На следующий день утром, по слухам какого-то праздника, на Софийской площади был парад. Участвовало в параде человек двести. Принимал парад генерал Драгомиров. На нем была легкая, светлая шинель с красной подкладкой, на голове — свежая, еще не видавшая походов, фуражка, на груди, во время ходьбы, покачивались ордена; на лакированных сапогах блестели шпоры. Словом, одет он был гораздо лучше остальных, и это делало его в своем роде непримечательным. Насмотревшись на парад, я пошел бродить по городу.

Недалеко от собора, у столба для афиш, собралась толпа и что-то читала.

Подошел и я. Это было воззвание, обращенное к крестьянам. Начиналось оно словами: «Братья-крестьяне...»

Братья-крестьяне, которые по слухам праздника в большом количестве приехали в Киев, читали воззвание с большим вниманием; кто не умел читать, тот внимательно слушал других; все были заинтересованы — дело касалось земельного вопроса.

Очень мягкими выражениями говорилось о земле вообще, о помещичьей как-то особо, потом речь шла об урожае, о посеве. Братьям предлагалось что-то вернуть, что-то поделить; за это им обещалось что-то дать. Все было прекрасно. К сожалению, было неясно: что кому вернуть надо, что с кем надо поделить, кто и что после этого получит.

«Чоловікі» читали воззвание серьезно; не поняв с первого раза, они перечитывали его и второй, и третий. Они относились к делу добросовестно. Потом, молча, удалялись. Ни одобрения, ни порицания.

Кто-то обронил только два слова: «Знов панцина».

Не помню, кем было подписано воззвание. Это время было как раз моментом глубокого продвижения вперед Добровольческой Армии; и по мере того, как она продвигалась, все яснее обрисовывалась реакция.

Выждав еще несколько дней, я снова отправился в Контрразведку. О чем на этот раз мы говорили с плешиным товарищем прокурора — я не помню; помню только конец нашей беседы — мое дело отсыпалось в военную судебно-следственную комиссию. Я вышел. В коридоре меня окружили офицеры, ожидали своей очереди.

— Что, как, кончилось, наконец? — посыпалась вопросы.

Я объяснил, что дело еще не кончилось и что из контрразведки дела пересыпаются в другую комиссию. — «Что они делают, что они делают?» — горячился капитан-сапер. «Ведь уже офицерство разбегается начало. Только и слышишь — один арестован, другой арестован. А за что? Что большевикам служили? Важное дело — служили... Надо знать, как и каким сердцем служили...»

Я вышел на площадку и присел на стул. В голове кружились новые странные мысли.

Почему меня, человека ни в чем не повинного, за мое ясно выраженное и доказанное нежелание служить большевикам, заставляют ходить по разным комиссиям и контрразведкам, заставляют терять время и убивают всякий порыв и желание?

И кто мог поручиться, что вот тут, среди этой толпы, нет какого-нибудь большевика, который все видит, наблюдает, запоминает лица и даже записывает?

Я направился к выходу. Посетителей и посетительниц в коридорах толкалось видимо-невидимо. Что делали здесь эти люди? Большинство было одето не только прилично, но и элегантно, на лицах не было особой заботы.

Выйдя из Контрразведки, я с удовольствием подумал, что с ней кончено и являться туда больше не надо. Никому не нравилось это учреждение. Даже снисходительный к ошибкам добровольческой администрации Шульгин писал в своем «Киевлянине», что, к сожалению, Киевская контрразведка не стоит на высоте своего призыва. Это было им написано по поводу служившего в ней полковника Судейкина. О сущности дела ничего не говорилось; но, видимо, Судейкин сформировал нечто весьма выдающееся и малоповальное даже с точки зрения текущего сумбурного момента. Офицеры из Контрразведки, сколько я их ни видел, все были сделаны, как будто на одну колодку.

Выходенные, вылощенные, упитанные, с розовыми ногтями на белых, не знавших никакого труда, пальцах,— они походили скорее на сутенеров или шулеров высокой марки. Они были надменны, недоступны, носили драгоценные кольца, браслеты, курили из золотых портсигаров, не знали счету деньгам. Боевое офицерство, не стесняясь, презирало их и называло «большевистскими подбреячами».

В первые же дни по прибытии Контрразведки в Киев был арестован и посажен в тюрьму видный большевик, служивший в Управлении Юго-Западных железных дорог и занимавший там важный пост.

А через две-три недели знакомый служащий из этого Управления рассказывал хозяину, что арестованный вернулся обратно и работает по-прежнему: освобождение стоило ему один миллион керенками.

Откупались и другие большевики.

### III.

Выждав два дня, я направился в Судебно-следственную комиссию. Помещалась она на Крещатике, против большого крытого базара, и занимала длинную, высокую гостиницу. На втором этаже, в самом конце коридора, против четырех дверей, я увидел четыре группы ожидающих. Я встал туда, где было меньше народа. Дело шло скорее, чем в Контрразведке, и к концу занятый я был принят молодым приветливым блондином с университетским значком. Мой, не знаю как его назвать, судья, следователь, адвокат, предложил мне сесть, потом спросил мою фамилию. Я ответил. «Вы ошиблись дверью,— сказал он,— у меня дела тех лиц, фамилии которых начинаются от А до И. А ваше дело находится у моего коллеги рядом». — «Но мне никто ничего не сказал,— ответил я,— а ждать пришлось целый день». — «На двери есть записка». — «Но я близорук, и в коридоре совершенно темно». Блондин подумал и поднялся: «Я пойду возьму ваше дело. Подождите меня». Через минуту он вернулся, сел, почтит обросшее бумажками мое *curriculum vitae* и заявил, что мне надо привести двух свидетелей, которые удостоверили бы истинность всего того, что мною сообщено.

На том мы и расстались.

Через несколько дней я отправился в Комендант-

ское Управление. Когда я вошел в приемную, там было два генерала, три полковника, две дамы с покорными, словно запуганными лицами, и грузный мужчина с толстой багровой шеей, похожий на подрядчика. Вся эта компания сидела вдоль стен и молчала. Я направился к дежурному навести справку.

Почувствовав, что за ним кто-то стоит, дежурный обернулся.

— Вам что, коллега?

Я объяснил.

— Дела из Судебно-следственной комиссии поступают в военно-полевой суд при коменданте. Ступайте наверх, там вам покажут, где помещается полевой суд.

Я отправился наверх. После долгих поисков и бесполезных спрашиваний у встречных, в самом конце длинного и извилистого коридора, я нашел группу офицеров, молча созерцающих дверь с вывеской: «Военно-полевой суд».

Я уже занес руку, чтобы постучать, но в этот момент мне бросилась в глаза надпись: «Просят не беспокоить» и рядом другая — «Вход строжайше воспрещается». И невольно, словно ожженная, рука опустилась. Я стал к стене и решил ожидать дальнейших событий.

— Я уже стучал,— сказал мой сосед, увидев мой жест,— сначала никто не выходил. А потом кто-то открыл дверь, что-то буркнул и снова заперся.

— Да,— вздохнул капитан, сидевший на корточках против двери и уныло созерцающий надписи,— я съел свой портсигар, продал на вес Владимира и обручальное кольцо. Как быть дальше?

Все промолчали. Прошло несколько минут. За дверью было тихо, как в могиле. Наконец, капитан поднялся, чертыхнулся и постучал в дверь. После несколькихкратного стука изнутри послышалась широкая дверь начала открываться. Благоговейнейший страх охватил нас и всех заставил склониться в почтительном поклоне. Дверь действительно открылась и, пробыв в этом положении несколько мгновений, снова закрылась.

Но как бы там ни было, сношения с потусторонним миром были завязаны. Помедлив стуков еще раз удалось вызвать скрытое дверью таинственное существо, но в виде уже более гневном и осязательном. Оно объявило, что дела будут докладываться Коменданту по мере их поступления из Комиссии. А список лиц, дела которых Комендантом рассмотрены, утверждены и отосланы обратно, будет вывешиваться на дверях. Дав все эти сведения, супранатуральное существо, принявшее форму жандармского полковника, решительно исчезло. Сеанс со стуком кончился. Что же нам после этого оставалось делать, как не разойтись?

И мы разошлись.

Прошла еще неделя. Я исправно ходил в Комендантское Управление, надеясь найти в списке свою фамилию. Но Коменданта, видимо, не торопился, и не только своей фамилии, а зачастую я не видел и самого списка. Стучать же в дверь, ввиду явной бесполезности, я не хотел.

Однажды, это было в конце сентября или в самом начале октября, мы встали с хозяином раньше, чтобы занять место в очереди за хлебом. Утро было промозглое, туманное. Очередь, несмотря на ранний час, собралась большая. Понемногу двигаясь, я вошел наконец в самую пекарню. Тут было тепло и приятно пахло свежевыпеченным хлебом. Получив свою долю, я с облегченным сердцем вышел на улицу и направился домой.

Я шел и прислушивался к стрельбе: мне казалось, что за два часа моего стояния в хвосте она стала гораздо ближе. Но на улицах тревоги не замечалось.

Явившись домой, я был очень голоден и с большим удовольствием пронялся за горячий чай и теплый хлеб. Жизнь сразу показалась более привлекательной. Но наше мирное чаепитие неожиданно было прервано тяжелым гулом, от которого задребезжали все окна.

Я схватил фуражку, накинул шинель и выбежал во двор. Артиллерия была еще ближе; пулеметы строчили вовсю. Говорили, что большевики заняли окраину Киева.

Я стоял и думал: что же делать? Еще накануне вечером все учреждения, штабы, Контрразведка были на своих местах и не думали эвакуироваться.

Я решил пойти на Крещатик и узнать, в чем дело. Проходя мимо Контрразведки, я ничего особенного не заметил: был какой-то праздник, и двери были закрыты. Я побежал дальше, рассчитывая, что многочисленные вербовочные канцелярии, находившиеся на Крещатике, могли лучше знать положение дел благодаря соседству со штабом Бредова.

На беду, черт меня занес в канцелярию не то Конногвардейского, не то Кирасирского полка. В большой комнате я увидел трех здоровых корнетов. Один из них, стоя перед зеркалом, делал проруб на голове, а два других играли в шахматы.

— Вам что угодно? — спросил меня один из шахматистов.

Я рассказал, в чем дело.

— Какие там большевики, — отозвался корнет, делавший проруб, — там где-то стреляют, а тут сеют панику. Откуда вы выдумали, что большевики в Киеве?

— Я не выдумал: во-первых, артиллерия близко стреляет, во-вторых, сами жители говорят, что окраина Киева уже занята большевиками...

— Они шаг пройдут, а их агенты кричат, что они версту сделали... — сказал второй шахматист.

— Странно, странно, — рассуждал корнет с гребенкой, — у нас-то никаких нет распоряжений, хотя генерала Бредова я лично знаю и вчера еще его только видел. А вот у вас есть какие-нибудь документы?

— Никаких.

— Регистрационная карточка, если вы офицер.

— И карточки нет. Мое дело у коменданта.

— Ах вот как... Василий, — крикнул он в другую дверь.

Вошел широкоплечий мускулистый солдат.

— Возьми вот этого господина, — и корнет указал на меня, — и постереги его, да хорошенько смотри. Понял?

— Понял, господин корнет.

Василий привел меня в небольшую комнату, где были сложены старые тюфяки. Я был до такой степени ошеломлен, что сделался покорнее барана. Мой сторож, с порога, с любопытством глядел на меня...

— Большевик вы, ай нет? — дружелюбно спросил он.

Я махнул рукой.

— Надысь как-то зашел сюда записываться один. Стали с ним говорить, а на деле выяснилось, что большевик он. Ну, арестовали его, в Контрразведку направили.

Я молчал, сидя на старом измочаленном матрасе.

Василий запер двери и ушел. Мелькнула мысль — нельзя ли убежать. Комната представляла собой небольшой чуланчик с узким окном. Дверь была жидкая, стоило только упереться в нее спиной, и она слетела бы с петель. Но без шума этого сделать было нельзя. Меня могли схватить и пристрелить без дальнейших разговоров. Я решил немного подождать. Сперва в чуланчике ничего не было слышно. Потом, минут через 15, послышались где-то шаги, разговоры, торопливый топот ног. Затем все смолкло. Я подо-

шел к двери и стал ее разглядывать, отыскивая более податливые места. В этот момент снизу донесся звонкий, быстро приближающийся топот: кто-то бежал по мраморной лестнице в подкованных гвоздями сапогах. Мелькнула мысль, что это за мной. Я не ошибся. Топот остановился у моей двери. Застучал о замок ключ. Дверь открылась. Передо мной был Василий. На боку у него был наган, а на ногах — тяжелые «танки», как назывались у добровольцев английские солдатские сапоги.

— Беги, товарищ, — крикнул он, — большевики подходят... Наши-то приказали тебя докончить, да черт с ними. Всякий жить хочет. Они уже на автомобиле, на улице. Ты тут подожди с минутку, пока мы не уедем.

И также бегом он ринулся вниз.

Я сделал, как говорил Василий. Минут через пять я уже снова был на улице. На Крещатик, со стороны Фундуклеевской и параллельных ей улиц, вливалась паническая волна. «Большевики» — носились вокруг. К проходившим и проезжавшим небольшим группам военных ошалевшие от страха жители кидались с вопросами — что делать, бежать или оставаться?

Но военные сами ничего не знали, и толпа, густевшая с каждой минутой, не доверяя больше уже никому и ничему, брала направление к Цепному мосту.

В это время показался автомобиль и, следом за ним, — верховые кубанцы. Проезжая, автомобилисты и кубанцы во множестве разбрасывали около себя какие-то листки. Один из этих листков упал около меня. Я подобрал его. Это было возвзвание от Киевского губернатора, обращенное к жителям. Губернатор сообщал, что ночью большевики сделали небольшой прорыв, но этот прорыв уже удалось ликвидировать, около четырех тысяч большевиков взято в плен, и жители спокойно могут возвратиться к себе.

На некоторых это возвзвание подействовало успокаивающе, и они тут же, с листками в руках, повернули обратно.

Поверил и я. Но вместо того, чтобы отправиться домой, я поднялся наверх, в Липки, посмотреть, что делается на тех улицах, которые вели к Цепному мосту.

Когда я проходил мимо генерал-губернаторского дворца, где помещалась комендантская рота, меня остановил ходивший по тротуару поручик-дневальный.

— Вы кто такой? — спросил он меня.

Я назвал свою фамилию.

— Вы военный?

— Да...

— Офицер?

— Офицер, — теперь я в периоде реабилитации.

— Это — ничего; я сам такой же.

— Но в чем дело? — не понимал я.

— Нам приказано задерживать всех военных, как офицеров, так и чиновников. Идите в роту, явитесь к коменданту здания и назовите себя.

Я вошел в низкие парадные двери и очутился в большом вестибюле. Тут толкалось, видимо, без всякой цели, много офицеров. Одни прохаживались, другие сидели на подоконниках и смотрели на улицу. У стен грудами лежали и стояли русские, французские, немецкие, австрийские винтовки, все — уже довольно изношенные, с побелевшими прикладами. Было душно, накурено, но спокойно. Я обратился к низенькому прaporщику, который сидел на деревянном ящике и вертел в руках цепочку от часов.

— Коллега, где тут комендант?

— Не знаю, а вам на что?

— Я шел по улице; меня остановили и сказали, чтобы я пришел сюда и явился к коменданту.

— Меня тоже так поймали. Но никто не знает, где комендант находится.

Я спросил еще двух человек. Никто не знал, где можно было найти коменданта. Я отправился тогда наверх. Здесь было еще больше народу, и что тут происходило, трудно было понять с первого взгляда. Только приглядевшись, я разобрался, наконец, в чем дело. Тут наспех формировали взводы и роты; сформированные роты выстраивались в большом зале, получали винтовки и, стуча прикладами по паркету, уходили туда, где гремели выстрелы. А выстрелы были совсем близко; иногда по темным стволам деревьев пробегал огненный отблеск где-то близко стрелявшей пушки. Я подошел к окну. На улице, по тротуарам, катился живой поток. Все спешили к Цепному мосту. Среди пешеходов странно выдавались своей формой два французских офицера; они шли быстро, с растерянными лицами, без всяких вещей, даже без пальто. Они иногда останавливались, пытались что-то спросить, но поток обтекал их и, не получив ответа, они снова бежали с толпой.

Очевидно, что иностранные миссии также не были предупреждены добровольцами.

Я сидел на подоконнике и не двигался. Братья в руки винтовку мне не хотелось. Веры во мне уже не было.

Через минуту ко мне подошел саперный поручик, с инженерным значком на кителе. У него было спокойное и приятное лицо. В темной бородке уже проглядывала седина.

— Вы уже записались? — спросил он.

— Нет еще.

— Не хотите ли поступить в мой взвод? Мне не хватает трех человек.

Я согласился. Найдя еще двух человек, мой новый командир выстроил взвод в зале, пересчитал людей и записал наши имена и фамилии. Потом стали раздавать оружие. Мне попалась старая однозарядная французская винтовка системы «Gras», стрелявшая тупоконечной пулевой в медной оболочке. В оба кармана шинели я положил по десятку патронов. Потом раздалась команда, и мы вышли на улицу. Около подъезда стояло несколько телег, нагруженных винтовками и патронными ящиками. Телеги тронулись первыми, а наша рота пошла за ними. Артиллерия была где-то около Крестовки; иногда из оконных рам со звоном выпадали стекла. Улица во всю ширину была запружена стремительно мчавшейся толпой. Весь Киев сорвался с места. Уходили все — рабочие, чиновники, торговцы, люди хорошо одетые и плохо одетые, молодые, старые, женщины, дети. Бежали даже собаки. Это уже было не бегство, а исход. Некоторые ехали в экипажах, другие — на извозчиках, а кто — и на крестьянской подводе. Но большинство шло пешком. Попадались и собственные автомобили. Их владельцы, с членами своих семей, сидели среди ворохов всего того, что удалось схватить дома на скорую руку: тут были одеяла, шубы, пальто, чемоданы и кофры разных размеров. А с боковых улиц все время вклинивались в толпу длинные военные обозы. Приходилось останавливаться и ждать.

Пройдя второй мост, который соединяет Труханов остров с Черниговским берегом, мы были остановлены толпой, собравшейся на шоссе. В середине толпы вертел головой во все стороны длинный, худой человек со страшным сине-белым лицом; в его глазах был безумный ужас. В толпе кто-то истерически кричал, что это — чекист. И тот, кого называли чекистом, выл нечеловеческим голосом, клялся, что это ошибка, что он — не чекист. Но истерический голос, в котором было что-то животное и глубоко противное, продолжал визжать свое. К толпе подошел офицер в светлом пальто и с большим кольтом в кобуре. И стало ясно, что это он убьет человека с посиневшим лицом. Почувствав в офицере союзника, голос из

толпы стал еще тоньше, еще визгливее. Сине-бледное лицо заметалось во все стороны. Жизнь была только в страшных бездонных зрачках. В этот момент мы свернули на песчаный берег Днепра, и конца этой сцены, к счастью, видеть не пришлось. До нас только, поочередно, долетал то визг, то прерывавшийся удущий вой. Потом раздался выстрел. Вой оборвался. Все было кончено. Повозки тронулись, и толпа разошлась.

На берегу нас собралось человек четыреста. Кроме офицеров и военных чиновников, было человек сорок в штатских костюмах. Они явились вскоре после нас, в строю, под командой высокого брюнета в соломенной шляпе и в брюках с полосочкой. Эта курьезная компания, видимо, хорошо знала военный строй и шагала с большим усердием.

Скомандовав своей дружине «вольно», брюнет подсед к моему взводному командиру, который расположился у берега на камне.

Они сейчас же заговорили между собой. Оказалось, что прибывшие в штатском — офицеры, сидевшие в тюрьме по распоряжению Контрразведки. Их выпустили в самую последнюю минуту; они уже боялись, что их захватят большевики. Но многим бежать не удалось: стража в суматохе растеряла ключи и многих дверей не смогли открыть.

— Долго пришлось сидеть? — спросил взводный.

— Как только Контрразведка пришла. И до сих пор никакого обвинения не предъявлено, а на допрос даже не вызывали. Да и обвинения никакого нельзя предъявить: никогда большевиком не был и дел с ними не имел. Я сам юрист, мой отец юрист, в Киеве с испокон века живем, у большевиков же три месяца в «чрезвычайке» просидел. Пришла Контрразведка, снова пожалуйте в тюрьму.

#### IV.

Я встал и подошел к берегу. У ног бежала темная, холодная вода. Солнце уже садилось. На высоком киевском берегу четко рисовались на безоблачном небе церкви, колокольни, сады. Стрельба стихла. Кругом была тишина. Через полчаса на шоссе остановилась группа всадников. Двое из них слезли с лошадей и по узенькой тропинке, которая шла от дороги к реке, стали спускаться к нам. Впереди шел генерал с георгиевской ленточкой в петлице. Это был Драгомиров. За ним следовал ординарец.

Ротные и взводные командиры, увидев Драгомирова, забегали и засуетились, собирая разбрехшихся подчиненных.

Когда все были выстроены, Драгомиров обратился с речью. Говорил он о том, что доблестное офицерство, пройдя с песнями по Киеву, изгонит, конечно, красную сволочь. Обращался Драгомиров исключительно к офицерству, хотя среди нас было много солдат-добровольцев.

Сказав речь, Драгомиров уехал.

Когда, наконец, солнце зашло, а сумерки стали густеть, раздалась команда строиться. Строились утомительно долго. Каждый хотел быть с родственником или знакомым. Я никого не знал, и мне было безразлично, где ни стоять. Впереди меня, помню, стоял высокий студент-политехник, — позади — низкий, с большим тупо набитым ранцем. Наша рота, наконец, построилась. Раздалась команда ротного, и в колонне по отделениям мы двинулись в путь.

На мосту, помня наставления Драгомирова, затянули было песню. Но сколько раз ни начинали, все выходило фальшиво и неестественно. Так и бросили.

Пройдя мост и поднявшись немного вверх, все роты остановились. Командиры рот и остальное начальство стали совещаться, что делать дальше. Никто

точно не знал, есть ли еще добровольцы в Киеве или нет.

Наконец, после долгих переговоров, общий план был выработан, каждой роте назначен свой участок и дана определенная задача.

Мы подошли к широкой мощеной улице, которая под прямым углом пересекала нам путь. Не переходя улицы, наш отряд остановился и встал в сторонке. Судя по будке и шлагбауму, мы находились у старой заставы. Нигде в домах не было огней. Все было мертвенно-тихо. На противоположной стороне, шипя, горели два больших электрических фонаря. Они словно говорили, что в этой тьме все-таки есть где-то разумное начало.

Я был назначен в команду связи и шел около ротного командира, засунув руки в карманы и перебирая холодные твердые патроны.

Пришли люди, высланные для связи из других взводов. Они рассказывали, что большевики ведут себя тихо и желания переходить в наступление не обнаруживают. Наши секреты привели двух пленных красноармейцев: цыгана и костромича. Ротный командир стал их допрашивать. Цыган был вертляв и болтлив. Он говорил о какой-то большевистской кавалерии с пиками, посланной нам в обход, и осторожно осведомлялся, будут его расстреливать или нет. И если да — то когда: сейчас или погодя. Костромич представлял полную ему противоположность; это был степенный мужичонок; он говорил, что большевики дают мало хлеба, что он мобилизованный и больше ничего не знает. После допроса их обоих увели куда-то в тыл.

Около полуночи от Никольских ворот раз за разом блеснули два огня. Два снаряда со свистом пронеслись над нами и с треском разорвались на соседней улице. Через минуту появился темно-красный круг. Он быстро накаливался. Затем вдруг взметнулось высокое пламя. Оно быстро увеличивалось, словно горела солома или сено. Розовый свет залил улицу и караульное помещение. Было видно, как у пламени копошились черные фигуры, но из-за треска падавших балок ничего нельзя было слышать.

— Должно быть, большевики стреляют зажигательными снарядами, — сказал ротный командир.

— Может быть, они наступать хотят и поэтому иллюминацию устраивают, — отозвался один офицер в парусиновом кителе, без шинели. Пожар скоро стал тухнуть. А справа поднялась частая перестрелка и донесся беспокойный бой пулемета.

— Пойдите в соседний взвод, узнайте, какие у них новости, — обратился ко мне ротный командир, — будьте только осторожнее.

Я попробовал, как ходит затвор, нахлобучил по-глубже фуражку и, пройдя часового, повернул по дорожке направо. После пожара стало еще как будто чернее. Я буквально ничего не видел. И эту часть города я к тому же знал очень плохо. После дорожки я вышел на неосвещенную улицу и пошел по тротуару. Тротуар скоро кончился, и я попал в тупик. Пришлось вернуться обратно и взять больше вправо. В ночной темноте я скорее угадывал, чем видел, небольшие дома, длинные заборы, пустыри. Несколько раз запнулся о крыльцо. Шел я так с четверть часа и вдруг почувствовал, что сбился. Ориентироваться было не на что, перестали стрелять. Я пошел тише. Совершенно неожиданно из темного узкого переулка я вышел на длинную улицу; на ее противоположных концах горело по фонарю, но сама она была черная, как китайская тушь. Подумав, я повернул направо. В этот момент сзади послышался шум. Я обернулся. С другого конца по улице ехал автомобиль с зажженными огнями. Я вспомнил, что у нас, кроме броневого, других автомобилей не было. А, судя по всему,

это была легковая машина. Надо было куда-нибудь спрятаться. В это время я находился у длинного, низкого забора. Перелезть уже было поздно. Я поднял воротник, спрятал винтовку под шинель и стал лицом к забору. Я надеялся, что серая шинель, забор и низко нависшие над ним кусты сделают мою фигуру незаметной. Автомобиль приближался. Мое сердце сильно колотилось. В шагах ста от меня огни погасли. Мелькнула мысль — я открыт. Случилось то, чего я не ожидал: страх пленя, пыток и смерти исчез. Я сам был господином своей собственной жизни. Сердце забилось ровно. Спокойствие, силы вернулись. Я верил в себя. Это был большой момент. Поравнявшись со мной, автомобиль обдал меня запахом бензина. Голоса были слышны отчетливо. Ехало человек восемь — десять. Двое стояли на ступеньках. Это были большевики. Кто-то беспокоился, что заехали не туда, куда надо. Мотор работал скверно — ехали тихо. Я поймал слово — «комиссар». Потом голоса стали удаляться. Я оторвался от забора, спрятался за ближайшее крыльцо, вынул горсть патронов, положил их около и поднял винтовку. Автомобиль въехал в полосу света. Когда чья-то голова заслонила фонарь, я выстрелил. Быстро перезарядил и снова выстрелил. Кто-то упал на землю. Бросились поднимать. Промаха моя винтовка не давала. Чувства жалости во мне не было. Я мстил за разоренную Россию, за «немцы — наши товарищи», за все, за все. Люди разбежались, стали к заборам и начали стрелять вдоль по улице. Но они были заметны, и не знали, где я. Передний упал. Расстреляв половину патронов, я бросился в переулок, откуда пришел, и пустился бежать. Тут где-то на повороте меня окликнули. Это были уже свои, тот взвод, который я искал.

— Что за перестрелка там была? — спросили меня.

Я рассказал. Новостей у них не было. Посидев, я отправился обратно.

Перед утром ротный командир получил новый приказ: переменить на рассвете позицию.

Ночь стала бледнеть. Постепенно предметы принимали свой обычный вид. Лица у всех стали помятые и усталые оточных переживаний. Чем больше яснел восток, тем больше становилось неприятное чувство опасности: ночь все-таки служила известной защитой. Перед самым восходом солнца у Никольских ворот вспыхнула горячая перестрелка.

Солнце поднималось все выше и выше. Утро было прекрасное, безоблачное. Офицеры, приходившие от Никольских ворот, сообщали, что на рассвете первая рота несколько раз ходила в атаку, но каждый раз без успеха. У большевиков было три пулемета и два орудия, а у них, кроме броневого автомобиля, ничего не было.

На перевязочный пункт, помещавшийся в здании гимназии, начали приносить тяжелораненых; легко-раненые приходили сами. По мере того, как солнце поднималось, огонь большевиков заметно усиливался. К ним, несомненно, подходили резервы.

Наконец, после двух или трех часов стояния, получился приказ: всему сторожевому охранению стянуться к гимназии. Не знаю, как другие, а я с удовольствием покинул свое место. На перекрестке у гимназии было много народа. Несколько женщин расположились на улице с ведрами горячего чая и пшенной каши, угощая защитников Киева; защитники, голодные и замазанные, были рады и тому и другому. Другие сострадательные души раздавали хлеб и колбасу. У самой заставы из-за чего-то спорила группа офицеров. Я подошел к ним. Предметом спора была телега, нагруженная папиросами и консервами.

— Эта телега — наша, — говорил бледный рыхий

офицер,— мы ее отняли у большевиков и поставили здесь в кусты. А вы говорите, что она — ваша.

— Мы ее нашли и не отдадим,— заявил один из сидевших на козлах,— около нее никого не было; телега — наша.

— Около нее никого и быть не могло, мы ее поставили и снова вернулись в бой; у нас не было людей охранять ее. Да что говорить с ними долго, пусть они скажут, где были все это время.

— Правильно,— загудела толпа,— этих молодчиков что-то здесь не было видно...

— За мостом скрывались, поближе к штабам. А как легче стало — явились: и мы пахали.

— Прямо прикладом их с телеги, что тут разговаривать да канитель тянуть...

Когда сидевшие на телеге обернулись, словно ища свидетелей или сочувствия, я увидел тех самых корнетов, которые назвали меня сеятелем паники и приказали арестовать. Но в толпе они не узнали меня.

Бросив вожжи, они сошли с козел под градом насмешек.

Вскоре подошли и остальные роты. Наша роль кончилась: волчанцы и якутский полк преследовали отступавших большевиков.

Я получил пачку папирос, банку консервов, поел каши и налился чаю. После еды мной сразу овладело чувство глубокой усталости. Я присел на край тротуара. Вокруг говорили о только что минувших событиях, передавали, кто убит, кто ранен. Перепуганные жители показывались в воротах и рассказывали, как они боялись, что большевики останутся господами города. Под вечер из-за моста появились беглецы и потянулись в Киев. Отдохнув, я стал искать ротного командира, спросить, как будет дальше. Но не нашел его. Наш отряд считался, очевидно, распущенными, и все офицеры группами и одиночками возвращались к себе. Пошел и я.

## V.

Я шел тихо, раздумывая, где можно было переночевать. Окраины Киева были еще в руках большевиков. Идти одному на свою квартиру было опасно. В этом состоянии нерешительности я заметил в толпе офицера, лицо которого мне показалось знакомым. Он тоже присматривался ко мне. Наконец, мы узнали друг друга. Это было старое, хорошее знакомство. Мы сердечно поздоровались и пошли вместе, разговаривая о текущих событиях.

Около Комендантского Управления нас задержал офицер в светлой шинели и с записной книжкой в руках.

— Вы свободны? — спросил он нас.

— Да, а что? — спросил я.

— В штаб генерала Непенина просили несколько человек; явитесь там к капитану К. и скажите, что капитан Курицын посыпает вас к нему.

Я переглянулся с Динамитовым; это было лучше, чем ночевать неизвестно где. Получив записку от капитана, мы направились в штаб. Мы нашли его на Банковой площади, на подъезде большого длинного дома. Все чины стояли и слушали далекую перестрелку. Сумерки сгущались. Высоко над головой пролетели, точно догоняя друг друга, два снаряда. Капитан К. вместе с другими штабными стоял на крыльце. Мы отдали ему записку и спросили, в чем будут заключаться наши обязанности. Они оказались несложными: ходить ночью дозором вокруг штаба и стеречь пленных, если таковые окажутся. Это было вполне приемлемо для нас, и мы остались с большим удовольствием. Наступила ночь. Но при здании была собственная электрическая станция, которая при всех переменах оставалась на месте и светила всем властям. Нам отвели большую угловую комнату, где

стояли пустые шкафы, большие столы и мягкие кресла, совсем не подходившие к казенной обстановке. Было тепло и светло. В знак своего посещения большевики оставили на полу звезду и вывинтили в задних комнатах лампочки; но, впрочем, беспорядка большого не наделали. В комнате мы нашли еще двух человек: гардемарина и прапорщика. Мы распределили между собой часы дозора. Первыми ушли гардемарин с прапорщиком. После них — я с Динамитовым.

Начали приводить пленных. Первыми появились, в сопровождении маленького заморенного поручика, два сдобные дяди, похожие скорее на спекулянтов, чем на красноармейцев: шинелей у них не было, оба были одеты в парусиновые костюмы. Потом привели двух мальчишек, захваченных у вокзала в тот момент, когда они сигнализировали отступавшим большевикам. Появился один киевлянин, в штатском костюме, препровожденный с запиской, что он был пойман патрулем в тот момент, когда расспрашивал жителей, где находятся большевики и где — добровольцы. По словам арестованного, он жил на Житомирской улице и не знал, в чьих она руках. Его решили оставить до утра. Для ночлега пленным отвели половину нашей комнаты. Киевлянин, не теряя времени, снял пальто, разостал его на полу, лег на одну половину, укрылся другой и сразу заснул. Мальчишки прижались, как щенята, один к другому и последовали его примеру. Только дяди не могли заснуть: им, в их парусиновых костюмах, было прохладно.

Первым караулил пленных Динамитов. Несмотря на свою взрывчатую фамилию, он был очень добродушен и разговорчив. «Холодно вам?» — спросил он их. — «Теперь-то холодно, господин капитан, а вот, когда в плен взяли, так очень даже жарко стало, — ответил один, — думали — расстреляют. Нам так комиссары и говорили: белые в плен не берут».

— А красные в плен берут?

— Простых солдат — да, а офицеров — нет. Да офицеры живыми не даются. Народ геройский. На Крещатике одного офицера раненым подобрали; повели его к комиссару, тот допрашивать стал, а офицер взял и плюнул ему в харю: «Вот весь мой сказ». Ну, комиссар его из нагана уложил.

Когда настал мой черед караулять, усталость и предшествовавшие тревоги взяли свое: я стал бессознительно клевать носом. Это заметил прапорщик, вернувшийся с гардемарином из обхода.

— Ложитесь лучше спать. Я покараулю за вас. У меня бессонница, и я все равно не засну.

Я поблагодарил и отказываться не стал. Выбрав постелью самый большой стол в соседней комнате, я лег, укутал ноги старыми валявшимися тут газетами, накрылся шинелью и быстро заснул. Ночь прошла спокойно. А если бы даже что-нибудь и случилось, то я все равно ничего бы не слышал.

Солнце уже светило, когда я проснулся. Пленные еще спали. Их страж дремал в глубоком кресле. Я нашел в коридоре кран, умылся и сменил своего дремлющего коллегу. Пришел Динамитов и сказал, что за ночь никаких донесений в штаб не поступало. Мой заместитель отпросился у Динамитова на полчаса — пойти напиться чаю и навестить семью, живущую на Лютеранской улице. Когда он вернулся, пошли Динамитов с гардемарином. Мне было некуда идти, а есть хотелось.

— А вы сделайте так, — посоветовал гардемарин, — выйдите на улицу и прогуляйтесь немного. Теперь жители ходят по улицам и сами просят к себе. А там вас накормят и напоят, как нас.

Я так и сделал. Выйдя на подъезд, я повернулся налево. Шедшие впереди меня два офицера были остановлены пожилой четой, и после коротких разговоров все пошли вместе. Не успел я завернуть за угол,

как ко мне подошла дама в черном платье и смягкими, добрыми глазами. Извинившись предварительно за свое предложение, она пригласила меня к себе.

— Я знаю, что всем вам за это время некогда и нечего было поесть; мой муж и я будем рады накормить хоть одного из голодных добровольцев.

По дороге она прихватила еще кадета, которого заметила в воротах дома. 12-летний воин, вооруженный отцовской шашкой наполовину без ножен, стоял и придумывал очень сложные комбинации из сахарной бечевки и отлетевших подошв. Взятые оба в плен без особого сопротивления, мы пошли вместе и вошли в подъезд красивого дома. Поднявшись и позвонивши, дама заставила нас первыми пройти в обширную чистую переднюю. Квартира оказалась большой и богато обставленной. Мы с кадетом замялись: оба мы были грязны и дико выглядели среди этой дорогой обстановки.

Нас провели в столовую. Вышли хорошеные барышни и пожилой мужчина, по виду — большой коммерсант, и занялись нами. Кадет с тоской поглядывал на свои ноги, на свои руки и как-то не решался сесть. Стесняла его особенно шашка; еще в передней он пытался отстегнуть ее и поставить в угол. Но она была привязана к поясу целой системой шнурков и веревочек, распутаться в которых было положительно вне сил человеческих. Зато я сел скорее, может быть, даже, чем следует; и севши, сейчас же спрятал под стол руки с траурными ногтями.

Мужчина завел солидный разговор, а проворные барышни быстро забегали между столом и буфетом, и скоро белоснежная скатерть покрылась разными земными благостями. Накормили нас прекрасно: холодные котлеты, золотистые пирожки с рисом, торт, горячий чай. Кадет, кроме того, был расспрощен основательно насчет своих родителей, видов на будущее и материального положения. Родителей у него не было, видов на будущее — никаких, материальное положение — нищета. Ему дали немного белья, кое-какого платья и пару ботинок.

Накормленные и напоенные, мы с кадетом покинули гостеприимных хозяев. Сделали мы это в самый подходящий момент; на улицах снова била артиллерия и била очень и очень близко. Походило на то, что большевики как будто снова приближаются. На углу я простился с кадетом и побежал в штаб. Но в штабе все было спокойно, и самая стрельба снова прекратилась. Наша небольшая компания вся была в сорбе. Я разговаривал с офицером, который ночью, вместо меня, караулил пленных. Это был прaporщик, когда-то служивший судебным следователем в Киеве. Звали его Никанор Никанорович Помогайлов.

Как и я, Помогайлов должен был пройти через длинную процедуру реабилитации. И до сих пор ему, как и мне, не удалось еще получить очистительной бумажки. Словом, в нашей судьбе было нечто общее, а одинаковые взгляды на некоторые вещи нас сблизили еще больше.

После небольшого перерыва пушки заголосили снова. Начали приводить новых пленных. Первыми оказались двое каких-то штатских, видимо евреи, в препроводительной записке было сказано, что они сигнализировали большевикам. Потом привели молодого рыжеватого человека с женщиной — высокой, полной блондинкой. В первый раз мне пришлось караулить женщину. Я чувствовал себя очень странно, когда в качестве выводного мне пришлось ее провожать. Но жена рыжеватого человека не долго оставалась среди пленных единственной представительницей слабого пола. Около полудня с шумом заявившиеся конвойные привели, к нашему крайнему изумлению, двух девушек — блондинку и брюнетку, они обе были с непокрытыми головами, в одних летних костюмах.

Блондинка, рослая, растрепанная, розовая, как пион, шла без ботинок, в одних только чулках. Она была в большом смятении и несколько раз принималась плакать. Где и почему ее захватили — я теперь уже не помню. Ее почему-то называли латышкой, и на самом деле она не была похожа на русскую. Насколько блондинка была встревожена, настолько брюнетка вполне владела собой. На ногах у нее были новенькие лакированные туфельки на высоких каблуках. Длинные, густые волосы были собраны на затылке в большой узел. Она встала у шкафа, сложила на груди руки и глядела перед собой — гордо, бесстрашно. Оказалось, что брюнетка — коммунистка и служила пулеметчицей в Интернациональном полку; ее, кажется, так с пулеметом и взяли. Пощады ей, следовательно, нечего было ждать, да она ее и не просила.

Между тем пушечная стрельба все усиливалась и приближалась; грохот стал непрерывным, стекла дрожали. Пленные начали переглядываться, да и мы тоже: не было сомнения, что происходит что-то скверное.

Мы с Помогайловым решили выйти и посмотреть, что делается снаружи.

День был серый, город казался вымершим: редко кого из жителей можно было встретить у ворот.

Я пришел в штаб. Нового ничего не было. Динамитов и Помогайлов сидели и дремали. Около восьми часов мы пошли с Помогайловым в дозор. Ночь была темная, как и вчера. Но жизни было больше: со всех сторон слышался звон стекла, доносились крики, визги, одиночные выстрелы. Особенно пронзительно визжали на Подоле. Мы стояли и прислушивались.

— Сегодня у нас в доме говорили, что город отдан на пять дней на разграбление. И когда я слышу эти звуки, я думаю, что, может быть, это и правда.

Без особых происшествий мы вернулись обратно.

На другой день утром я решил навестить своих хозяев и узнать, что стало с ними. Я отпросился до вечера и, захватив винтовку, зашагал к своему прежнему обиталищу. Спустившись на Крещатик, я его нашел буквально запруженным толпой, сноившей во все стороны: киевляне и киевлянки вышли посмотреть, что сделалось с городом после этих событий. Улицы от стрельбы пострадали мало; но много магазинов было разграблено вчистую. Особенно потерпели магазины по приему вещей на комиссию; из них не уцелело ни одного. На углу Крещатика и Фундуклеевской хозяин большой гастрономической лавки повесил бумажку:

«Прошу не беспокоиться, уже дочиста ограблено».

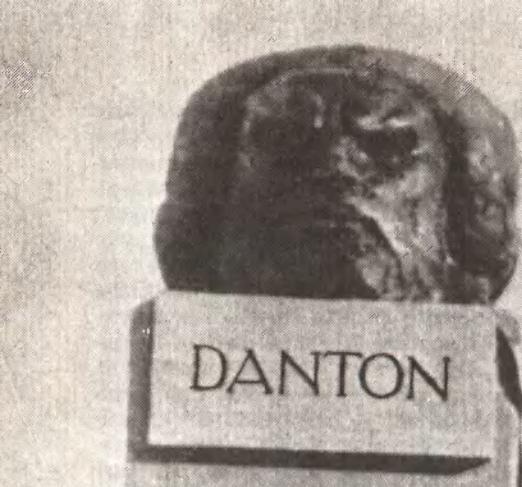
Дома я застал только женщин. Мужчины бежали в Дарницу. Бежали в самый последний момент под большевистскими пулями. Оставшимся пришлось пережить много неприятных минут, но этим дело и обошлось...

Под вечер я вернулся в штаб. Делать было нечего; я сел у окна и глядел, как возвращаются беженцы. Возвращались они понемногу — одиночками и группами. По сравнению с тем громадным человеческим потоком, который вылился из города несколько дней тому назад, это были лишь отдельные, робкие струйки. Проходившая дама помахала мне рукой и послала воздушный поцелуй. Это была благодарность за освобождение города. Я махнул ей платком и с удовольствием подумал, что Киев действительно очищен от большевиков. От этой мысли стало тепло и радостно.

Выросла вера, что только что минувшие события всем послужат хорошим предостережением на будущее. И на своем окне со своими думами я просидел до самого вечера.

Подготовка публикации Геннадия ЗВЕРЕВА

Текст печатается по изданию: В. Корсак «У белых». «Голос минувшего», Париж, 1926 г.

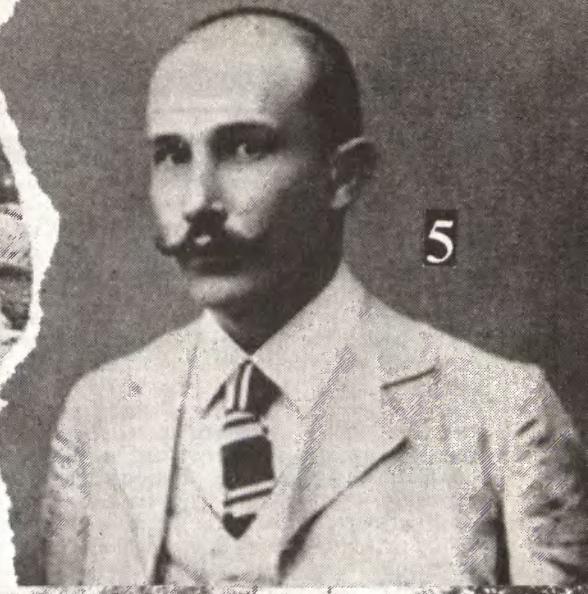


1



3





6

7

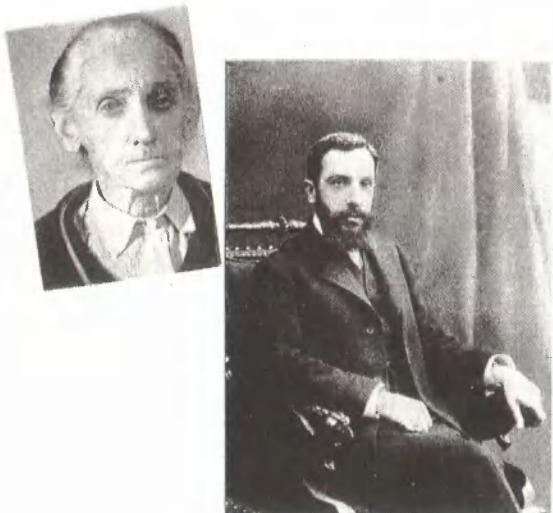
## ЛИКИ ВОЙНЫ

На снимках:

1. Открытие памятника в революционной Москве.
2. Красная конница.
3. Белая гвардия — похороны павших.
4. Монахи, расстрелянные красными.
5. Б. В. Савинков.
6. К. К. Мамонтов.
7. Молебен перед боем.

## Ксения БОРАТЫНСКАЯ НАЧАЛО КОНЦА

Страницы воспоминаний



Когда скончалась Елизавета Григорьевна  
Всю думу ее взвесил Великий,  
Министр правосудия Государственной думы  
Скончалась до сих пор —  
Собор московский 1908 г.

Ксения Николаевна Боратынская, в замужестве Алексеева (1878—1958) — внука замечательного русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского\*, писала свои воспоминания, основываясь на текстах дневников и писем. Публикуемый материал является завершающей частью этих воспоминаний. Перед нами одна из драматических страниц нашей истории, где повествуется о событиях августа — сентября 1918 года, когда войска пятой армии Восточного фронта заняли город Казань.

В центре повествования трагическая судьба родного брата Ксении Николаевны — Александра, который был многолетним предводителем дворянства, членом Государственной думы, участником Всероссийского съезда земских деятелей в 1904 году. Редакция выражает искреннюю благодарность сотрудникам музея в Муранове С. А. Долгополовой и Е. Н. Храмцевой-Алексеевой за помощь в подготовке публикации.

\* По семейному преданию родовая фамилия Боратынские происходит от слов: Бог ратует. Позднее написание фамилии поэта было изменено на Баратынский. (Прим. С. Долгополовой.)

Это было 26 августа, ... Стрельба была усиленная, и я, боясь окон нашей комнаты, уложила мальчиков на сдвижные парты в коридоре. ... Мимо нас по Красной улице прогремыхала артиллерия. Беспорядочно ударяя копытами, прогарцевала конница. Что это? — уходят? У всех недоумение, страх. Вот тяжело прошла пехота. ... Я вышла на крыльце. В нескольких местах зарева пожаров. Полная тьма, только прожектора иногда изучали небо и, промелькнув, исчезали в темноте ночи. Поражала жуткая тишина после уже привычного для нас прохода орудий. Любая, несмотря на мои просьбы никуда не ходить, пошла с подругой в город. Там они набрели на штаб. Свечка опрокинутая уже зажигала ворох бумаг. Они потушили и пришли рассказывать о своем подвиге. Что же нам было делать? Все конечно — остается ждать своей участи. Я прилегла на парты в ногах у детей и заснула мертвым сном. ...

На следующий день в газетах было напечатано: 27 августа в городе было спокойно, дворники мели тротуары, рабочиешли на работу...

Все было спокойно — жутко спокойно. Мы перешли в квартиру. Мадам нам подготовила завтрак. Все мы сидели вокруг стола (мои трое, Дуна, Ира и Любая), когда в комнату вошли вооруженные красноармейцы. Посмотрели, сказали: «Э — лапша». Махнули рукой и ушли....

Все, что случилось дальше, описано в письме Кати к Диме.

### Из дневника Кати

5 сентября. Сейчас разговаривала с Сашей через решетку двора. Спасибо доброму китайцу. Саша страшно изменился. Выражение другое и постарел на 10 лет. Когда увидел меня, даже не улыбнулся, а спешным шагом пошел ко мне, когда китаец разрешил. Сказал, что все так же бодр и готов ко всему. Сказал: «Я терпелив!» Велел передать детям, если будет возможность, что если его возьмут за них заложником, а они вздумают возвращаться, он сам себя лишит жизни. Просил о нем не беспокоиться. Рассказывал, что они помешаны в подвале и столько народу, что ему пришлось уступить свое место больной арестованной (кажется, татарке), и ему уже не было места лечь. Ясно, что и в тюрьме он верен себе и, вероятно, для многих был нравственной поддержкой. Я сказала ему, что Лита в безопасности (была получена от нее записка). Он был очень рад, сказал, что это нравственный отдых для него. Еще переполнился словечком, и он сказал: «Не надо злоупотреблять добротой китайца, ему может попасть за меня». Он поклонился ему, мы простились и он пошел. Я так рада, что видела его, моего голубчика, моего мученика бедного! Несколько раз поцеловала его руку. Весь день хлопотала за него, но думаю, что тщетно.

6 сентября. Сейчас сказали, что его с вечера увезли в автомобиль; куда — не говорят. Ясно. У меня определенное впечатление — успокоение за него. Думаю, что все конечно. М. б., он в пленевской тюрьме, но едва ли. Что скажут его дети, что я не сумела вырвать его от смерти. Мама, к счастью, без сознания. Но сегодня в полуслабодушии говорила: — «Мученье, Катя, бедные...»

Он сказал вчера: — «Скажи всем, что я терпелив и что мой оптимизм от всего этого совсем не убавился...» .... Сейчас сказали, что расстреляли... Как это просто...

25 ноября. Меня тогда поразила мука в его глазах, такая мука, что, когда узнала о расстреле, было чувство облегчения за него.

До сих пор не понимаю, не хочу понять, что никогда он не вернется. Да, а все мы будем ли живы? Мамы уже нет. Бог послал мне эту великую милость. Взял ее раньше меня. Теперь только твержу: «Да будет воля твоя» — больше ничего. Чувствую, знаю, что Саше хорошо, что он близко у Бога, молится о нас, о детях. Мама с папой. Всех их

На фотографии 1908 г. Александр Николаевич Боратынский. Рядом — Ксения Боратынская. (Фотография предоставлена Е. Н. Храмцевой-Алексеевой.)

Текст стихотворения под фотографией:

Как силы крыл Орлицы царственной  
Все думы ввысь меня влекли,  
Лишь тяжесть Думы Государственной  
Чело склоняла до земли.

Фотография К. Буллы.

обнимаю любовью, а они меня. Иногда чувствую их ласку, но здесь страшно, и я прошу у Бога сил».

На этом кончается Катин дневник.

## Письмо Кати к Диме.

...Дорогой мой Дима! 1920 г.

Мне очень тяжело было, что я не могла поговорить с тобой о папе, когда свиделась с тобой. Моя болезнь отчасти и твое трудное отношение к таким разговорам помешали. Но ведь я видела папу и говорила с ним последняя и хочу сама, хоть вкратце, написать тебе обо всем. Начну с ужасного вечера 27 августа, когда уже все затихло. Прискакал обратно Павлуша и в полуночье нашего коридора около двери в залу стал убеждать папу ехать. Я вошла в эту минуту и увидела Павлуши бледного, с блестящими от слез глазами слушающего папу, а он горячо говорил ему о том, что прежде всего не может покинуть бабушку, Соню и внуки, Литу, т. Ксению. Что он никогда не прятался от исполнения долга, не отклонял налагающегося на него судьбой долга, как бы оно трудно не было. Кроме того, он считает, что исполнил в жизни по мере сил все, что ему Богом дано было сделать, и стал считать по пальцам: «Моя Семинария, Мариинская гимназия, общественная деятельность, частные люди, приходившие ко мне за духовной поддержкой, наконец мои дети, в которых я вложил всю свою душу... и вдруг — я убегу?! Тогда вся моя деятельность пойдет насмарку. Если же останусь и мне суждено будет погибнуть, мой конец укрепит все проповедуемые мной идеалы и принципы и, м. б., поддержит тех, кому я их внушил». Я не могу на расстоянии 3-х лет привести точно папины слова, но таков их главный смысл. И он остался спокойно, хотя ему очень тяжело было, м. б. особенно за нас всех, потому что тогда ужасные слухи ходили. А через какой-нибудь час возник вопрос о Литином отъезде. Он побежал доставать лошадь, пролетку, но кучера не было и приходилось ему самому ее везти. Когда он одевался в нашей передней, около большого зеленого дивана, я говорю ему: «Сама судьба отсылает тебя отсюда, потому что назад тебе нельзя будет уже пробраться». А он с трагическим лицом мне ответил: — «Нет, этот крест мне не по силам, и я все равно попытаюсь прорваться назад», — и с этим я его проводила. Но через 1/2 часа он вернулся. Лита уже уехала до него. Я невольно радостно бросилась к нему, и мы крепко обнялись, а он сказал: «Бог снял с меня непосильный крест». После этого мы решили лечь, чтобы хоть немного отдохнуть перед тем, что нам предстояло. Я пошла к бабушке в маленькую комнату, а папа лег в коридоре на полу рядом с нашей комнатой. Но чуть забрезжило, мы уже были с ним на ногах и, т. к. бабушка спала, пошли с ним в его и Алексину комнату и, севши на оттоманку, стали разговаривать. Мы оба чувствовали, что мы прощаемся, и я постаралась, как умела, сказать папе, чем он для меня в жизни был, постаралась выразить ему всю свою любовь, и воспоминание об этом теперь дает мне удовлетворение. Только я сказала ему, что меня мучает мысль, правдиво ли он поступил, что решил остаться. Ведь он еще так для многих нужен был. Тогда он повторил то, что говорил Павлуши, но не горячо, как накануне, а спокойно, словно уже чувствуя веяние смерти над собой. Вдумчиво перебирая опять всю свою деятельность, точно проверяя себя и готовясь к ответу Богу...

...А в городе было все неестественно мертвенно и тихо, и мы с минуты на минуту ждали экзекуций. Мы разошлись. Я пошла к бабушке, и возле нее время незаметно прошло до 11 часов. Вдруг послышалась какая-то возня. На пороге показалась какая-то женщина-еврейка. Я едва успела загородить ей дорогу к бабушке. За ней стоял вооруженный солдат и еще какой-то молодой военный. Они пришли арестовать папу. Я подумала: «Вот это как просто!» После нескольких вопросов о том, где у нас стоят пулеметы и спрятано оружие, они порылись в папином письменном столе просто для виду, потом главный обратился к папе и спросил его: «А где ваши сыновья?» Папа, глядя на него в упор, ответил: «Это вас не касается, и на этот вопрос я вам не отвечу, а если вам велено взять меня, так берите». — «Ну — идемте», — сказал тот коротко. — «Я только с матерью прощусь». — «Скорее». И папа пошел к бабушке. Она лежала на кушетке. Он встал перед ней на колени, стал целовать и просил благословить, т. к. он будто бы едет по делам в Москву. Бабушка была в полуосознании и не отдавала себе отчета в происходившем. Она с удивлением переспросила: «В

Москву?» — перекрестила его. Я тоже с ним простились. Дошедши до ползали, папа сказал мне: «Катя, достань мис кисет и восьмушку махорки — они на столе у бабушки». А когда я прибежала назад, папа, уже следуя за солдатом, полубернулся ко мне и, значительно глянув мне в глаза, сказал: «Он говорит, что табаку не надо». Губа у него дрогнула. У меня наряду с леденящим ужасом в душе вертелось в голове: «Как это все просто». Папу повели через черное крыльце. Все квартиранты высыпали за ним с причитаниями. Помню, как в тумане, кто-то мне говорит: — «Да что же вы не просите его?» Тогда я начала умолять сделать серьезный обыск, убедиться в невиновности папы, но папа, обернувшись, сказал: — «Катя, перестань — все равно!» Солдат грубо крикнул на нас, навел на нас штык, потом повернулся и повел папу. А я не могла себя принудить пойти к бабушке. Через несколько минут где-то близко раздался выстрел. Я решила, что все кончено. Но через 1/2 ч. меня от бабушки вызывала горничная Нина. Она стояла перед окном запыхавшаяся с серьезным выражением лица и говорила: — «Я все узнала, Ал. Н-ча увели в дом Подурцева, я сама видела, и мне сказали, что, если кто из низкого сословия вступится за него, его могут отпустить, и вот надо нам — всей прислуге собраться и идти просить за него». Сердце у меня забилось, надежда воскресла. «Прислуга» заволновалась, заторопилась, и я их торопила. Отправила даже бабушку горничную Сашу и осталась одна с бабушкой. Через некоторое время они вернулись, сказали, что им велели написать заявление с подписями и завтра обещали отпустить арестованного. Хотя тяжело и страшно было думать о папе, но надежда была. На следующий день в 10 ч. утра все отправились на Подурцевский двор. Они мне потом рассказывали, что все зараза приставали к матросу «Баяну», приставленному к папе, с просьбой скорее отпустить его. В толпе ожидающих раздался голос: — «За кого просят?» и тотчас же поднялись несколько голосов: — «За Боратынского стоит. Сколько он всем помогал, скольким в учении помог». «Баян», оглушенный их бабым стрекотанием, зажал уши и сказал: — «Да ну вас, сейчас, сейчас!» А через минуту вышел с папой и сказал: — «Вот вам ваш Боратынский!» Прислуга наша бросилась к нему, и папа всех их перепеловал. Этот час показался мне вечностью. Вдруг кто-то крикнул: — «Ведут, ведут!» Я бросилась от бабушки к папе и, не сдержавшись, с истерическим плачем обняла его, а он тихо сказал: — «Ну, Катя, не надо». Глаза у папы были светящиеся, улыбка отдохновения на лице. Это было 29 августа старого стиля в 11 ч. утра. Он тотчас прошел к бабушке, которой не поминал про Москву. Она встретила его с ласковой улыбкой, но не поняла положения. Мы тотчас же принялись кормить папу, отогревать его. Вот что он мне рассказал: когда его вывел солдат на двор, папа ему сказал: — «Прошу вас только не на дворе расстреливать меня». На что тот ответил ему: — «Нет, это уж вас там, в крепости». Дойдя до Театральной площади, солдат предложил отпустить папу за 15 тысяч, а у папы и в кармане и дома ста рублей не набралось бы. Папа ему ответил, что у него их нет. Солдат постепенно съехал на 1000, тогда папа ему сказал сурово: — «Ни тысячи, ни ста рублей у меня нет, а если бы и были, я вам бы их не дал — ведите меня, куда вам велено, без рассуждения». И его привели в Подурцевский дом и поместили в ванной с каменным полом, где было еще много арестованных разных сословий. Все были подавлены, запуганы, и приставленные к ним товарищи грубо и резко обращались с ними. «Баян» тоже был груб, но папа говорил, что почему-то к нему именно у него была какая-то нотка почитательности и сравнительной мягкости.

Т. к. день был теплый, то папа пошел под арест в легком пальто и говорил, что очень было мучительно спать на холодном каменном полу.

Вернувшись домой, он не мог оторваться от ознона. Он надел халат, а сверху теплое пальто и пришел к нам с бабушкой. Я сидела на стуле около ее кушетки, а он прилег на ее кровать и, подрагивая от ознона, с полуулыбкой, закрывая глаза, сказал: — «Как у вас здесь тепло, уютно», и заснул, а я сидела около бабушки, и у меня в сердце была какая-то светлая радость. Гора свалилась с плеч, казалось, что навсегда. Теперь я за него была совершенно спокойна, только мысль о вас, о Лите терзала и пугала меня. Так прошел вечер в ничегонеделании, в отыхе после тревоги, в тихих разговорах, в думах о вас. Слухи носились, что погони нет, и это нас успокаивало. Еще с вечера папа решил энергично приняться за наше уплотнение. Он выспался хорошо и действительно на следующий день 30 августа, это был день его

именин, принялся за перетаскивание. Он прежде всего украсил стену портретами, потом перенес свою кровать, столик и сразу устроил подобие уюта. Затем всецело занялся приведением в порядок личных бумаг, которые раскладывал в шкафу — красного дерева \* с выдвижными ящиками — дедушки Евгения Абрамовича (Баратынского). — Прим. ред.). Т. к. я была все время занята с бабушкой, я была рада, что он тоже был занят. Кажется, в этот же день он написал вам свои письма, и вообще он действительно готовился ко второму и последнему аресту, а я этого не подозревала и только старалась, как умела и как могла, ублажить его едой покуснее. Помню, как он обрадовался ветчине и курице с рисом. Так прошел день 30 августа. В этот день приходила тетя Ксения, кажется, Дунечка Чеботарева, но я ничего не помню. 31-го он продолжал наводить порядок в своих вещах, и мы сели за обед в час. Вдруг нам говорят, что опять пришли солдаты за папой. Вошел толстощекий румяный солдат, вооруженный с головы до ног, а за ним необычайно уродливое существо с вздернутым носом, наглыми бегающими глазами, безобразным цветом лица, с портфелем под мышкой. Я еще подумала: «Совсем, как прежние ярыжки!» Папа спросил, зачем они пришли. Молодой солдат сказал: — «Я комиссар и должен произвести у вас обыск». Папа подвел его к письменному столу, а я без всякого волнения сказала: — «Уже и обыск был, и арестовывали, и отпустили — что же еще надо?» Они опять поковырялись в столе, гораздо больше останавливаясь на фотографиях, чем на письмах, и пошли в Сашину комнату, сунули руку в сундук, который я им открыла и еще сказала: — «Ищите хорошенко», но они, конечно, не затруднили себя бесполезным занятием, а вернувшись в залу, приступили к составлению протокола. Урод сел к столу, что-то написал, а комиссар, едва вывела буквы, подпсался.

Папа опять попросил разрешения попрощаться с бабушкой и пошел к ней. Около нее была тетя Ксения, а я оставалась в зале. Когда Саша вернулся, ему велели подписать под протоколом, и толстощекий мальчик сказал: — «Ну, товарищ, пойдемте», — и двинулся к парадному выходу. Okolo папы столпились все квартиранты и прислуга с прощанием и слезами. Папа несколько раз поцеловал меня и все. Подвигаясь к выходу, последнюю меня перекрестил и поцеловал. Я вышла на крыльцо. Папашел перед солдатом своей бодрой, слегка сгорбленной походкой. На углах он обернулся и с улыбкой послал мне поцелуй и крест. Я ответила ему тем же и вернулась в дом. На душе у меня было легко и спокойно. Я была убеждена, что этот арест — дело нескольких часов. Я думала, что его опять поведут в Подурцевский дом, но его повели прямо в Набоковский подвал. Вскоре он прислал записку, которую я, к сожалению, сейчас не могу найти и в которой он просил присыпать ему два раза в день пищу и просил сходить по данному адресу на 1-ю гору сказать, что какому-то заключенному прислали табаку. Едва переступил порог тюрьмы — забота о других... Дуняша тотчас побежала с горячим чаем, молоком и хлебом; с посудой он прислал записочку на обрывке: «Получил, благодарю, целую. Господь с вами. А. Боратынский». На следующий день Дуняша опять пошла относить пищу. Утром она счастливо попала в момент их прогулки на дворе, и, хоть заключенных не пускали к решетке, ей удалось перекинуться с ним несколькими словами и сказать ему, что у нас все благополучно. В тот же день к вечеру была получена от него записка: «Милая Катя, пошли сказать к Языковым, что Ник. Ник. — теперь тоже в доме Набокова и что пищу ему тоже надо носить сюда — целую А. Б. — Псыльайте нам яиц, хлеба и молока». Мне очень завидно было, что Дуняша видела папу, и я решила на следующее утро к 8-м часам сама понести ему пищу. Проснувшись, я подумала: «Как могу я спокойно спать на хорошей постели, когда знаю, что он мучается в холодном подвале в грязи, сырости и тесноте». Когда я уже подходила к ужасному Набоковскому дому, у меня шевельнулась мысль: «И зачем я пошла, меня всегда и везде преследует неудача». Когда же я подошла к разводящему с просьбой передать пищу, он взглянул на меня, спросил: — «Это Боратынскому? — его нет здесь». — «Как нет? — говорю я, — вчера ему передавали вчера пищу». — «А сегодня увели», — довольно грубо ответил он. Я спросила его, не ошибается ли он, но он определенно ответил, что увели целую партию и в ней папа. Первая моя мысль была, что его увели на расстрел.

\* Этот шкаф я продала в музей Казанский, в 1949 г. Прим. К. Н. Боратынской-Алексеевой.

Растерянная, не зная куда кинуться, я поспешила домой и снарядила Наташу, Нину, Дуняшу в разные концы. Наташа побежала к крепости и узнала, что многих, вместе с тем и папу перевели в пересыльную тюрьму. Кажется, на другой день мы получили от него следующую записку: «Дорогая моя Катя и все, не тужите обо мне. Со мною сидит Н. Н. Языков и другие, и пока очень недурно. Теперь нам дают кипяток и похлебку 2 раза в день. Отношение хорошее. Что дальше будет — не знаю. Обо мне производится следствие (обо всех нас). Пришлите мне смену белья, гребенку, кусок мыла; пишу, как подкорм, не мешает тоже, тем более, что приходится делиться. Еще в шкафу красного дерева есть коробка папирос — пришлите ее мне. Бабушку нежно целую. Господь с вами. А. Б. Соню с внуками, Ксению целую. Еще курительной бумаги пришли». Эта записка очень успокоила меня. Кто-то мне сказал, что он просит книгу. Я послали ему Тургенева. Все нам говорили, что это хороший признак, что его перевели в пересыльную тюрьму, что туда уводят только неопасных заключенных, но, к ужасу моему, через день или 2, я получила от него записку: «Милая Катя, я опять в доме Набоковых, верно, будет допрос. Пришли мне еду сегодня сюда и черкни мне о маме и о себе. Целую крепко. Господь с вами. А. Б.». Я только тут начала серьезно беспокоиться. Да еще Надя Бугаева каждый день приходила к нам и говорила, что положение становится все серьезнее и опаснее. Она была знакома с одним комиссаром, который участвовал в допросе папы. Иногда мне даже казалось, что она преувеличивает опасность, потому что надеялась своим участием спасти его. Я спрашивала ее, не надо ли что-нибудь предпринимать. Но она говорила: — «Подождите, я скажу, когда надо будет выступить». Она так пылко принимала к сердцу папину судьбу, что я всецело съдоверилась и знала, что больше того, что она сделала, нельзя было сделать. Эти дни вообще папины друзья со всех сторон предлагали нам помочь. Меня убивала мысль, что я сижу инертно около бабушки и ничего для папы не делаю. За 2 дня до последнего дня, 4 сентября старого стиля, папа прислал записку: «Милая Катя, пришли, пожалуйста, бутылки 2 горячего чая и, если есть, хлеба. Боюсь, что у вас хлеба нет. Если можно, то и молока. Вчера в 6 час. пиши не получал». Меня ужасно мучило, что я не послала тогда пищу, думая, что нужно, как в пересыльную, посыпать один раз. Надя Бугаева по несколько раз в день приходила к нам все более волнуясь, убеждая не соглашаться ни на какие вмешательства друзей, боясь, что это испортит еще хуже дело. Коттинька тоже предлагала свои услуги и привела ко мне антипатичнейшую Феофилактову, говоря, что она может помочь. А та, холодно обращаясь со мной и выказывая некоторое сочувствие папе, сказала, что для освобождения папы нужен миллион и, конечно, он должен уехать отсюда навсегда. Я сказала, что если бы даже у нас этот миллион был, Саша отверг бы спасенье через него, раз он полной волей пошел на страданье. На этом мы расстались. В последний день Надя пришла и сказала: — «Теперь все потеряно, действуйте вы, как умеете, старайтесь добиться Латиса \* и Израйловича». Я пошла, как в тумане. Помню мое хождение по разным передним, или вопросы о том, где можно достать или увидеть того или другого. Мне или грубо отвечали, что не знают, или с презрительной насмешкой говорили: «Их нельзя видеть». Из совета на Лядской ул. меня посыпали на Проломную, из Проломной обратно на Горшечную в отдел пропусков против Набоковки. Тут я стояла в хвосте. Передо мной стояла партия рабочих, добивавшаяся свидания с Латисом. Долго им не разрешали. Я терпеливо ждала. Наконец, настал мой черед, и я выступила со своей просьбой. Матрос-секретарь нагло взглянул на меня и грубо сказал: — «Вы видели, с каким трудом корпорация рабочих добилась пропуска, а на вас, буржуев, мы и внимания не обратим». Я все-таки пытаясь просить и ушла только, когда меня окриком чуть не выгнали. Пытаясь пойти на частную квартиру Латиса к его жене, но мне нарочно сказали фальшивый адрес. Во время своих скитаний я встретила на Воскресенской улице доктора Блитштейна. Он как бы с опаской поклонился мне, а когда я подошла и спросила, нет ли у него каких-нибудь ходов к власти имущим, объясняя ему, зачем мне это надо, он отшатнулся от меня и, спешно приподнимая шляпу, пробормотал: — «Нет, нет, я никогда политикой не занимался, всегда стоял в стороне». Делать

\* Латис (Лацис) — Ян Фридрихович Судрабс (1888—1938). В то время председатель ЧК и Военного трибунала 5-й армии Восточного фронта. (Прим. ред.)

было больше нечего. Я с отчаянием в душе вернулась домой. Только теперь я поверила, что все кончено. Но Надя говорила, что в этот вечер в 9 ч. должно быть заседание всех комиссаров по папиному делу и резолюция должна быть выяснена в 11 ч. утра 7 сентября, в пятницу. Мы цеплялись за эту последнюю надежду. В этот день я не могла долго сидеть возле мамы (бабушки) и только на минуту забегала взглянуть на нее. Вдруг Дуняша прибегает мне сказать: — «Идите скорее в Набоковку, сейчас заходит певник, который в Шушарах работал, говорит, что видел, что Александр Николаевич гуляет с арестованными на дворе». Я бросилась туда, на ходу надевая пальто. На дворе меня встретила Тамара Савинова — одна из папиних духовных воспитанниц, с какими-то обнадеживающими словами. Она тоже со своей стороны хлопотала, и вышло, что мы вместе с ней побежали в Набоковку. Вечер был солнечный, но внутренняя часть набоковского двора была сумрачной. Выступом стены двор делится на 2 части. У решетки и у выступа стояла китайская стража. За второй стражей как-то вяло и беспорядочно двигалась серая кучка арестованных, и я не сразу среди них разобрала папу. Вдруг увидела его «en face» в его длинном теплом пальто, в фуражке со значком министерства юстиции и сразу радостно улыбнулась ему, но и сразу же внутренне сжалась. При виде меня в лице его ничего не дрогнуло. Он страшно постарел. Углы рта опущены, а в глазах, посветлевших, серых, и в складках между бровями видна была такая мука, такое тяготение к нам, что у меня сердце заледенело. Он мне издали крикнул: — «Нам не позволяют подходить — попроси китайца». Я попросила китайца в синих очках, и он добродушно спросил меня: — «Старик?» У меня мелькнула мысль: «Разве папа старик?» Я взглянула на него и поняла, что он действительно старик\*. — «Да, да», — сказала я, и китаец сделал ему жест. Он двинулся спешным шагом ко мне, но у выступа его опять остановила стража. — «Не пускают», — сказал папа. Тогда добрый китаец сказал что-то по-своему, штыки опустились, и папа подошел ко мне. Мы подали друг другу руки через решетку, и папа поцеловал мою, а я его руку. Он сказал, что все так же бодр и готов ко всему. Сказал: — «Я терпелив». Тогда ходили по городу слухи, что если сыновья взятых в заложники отцов возвратятся, то отцы будут освобождены. На этом основании он сказал: — «Скажи детям, что, если я буду взят заложником, и это в лучшем случае, я сам наложу руки, чтобы они не возвращались». Просил о нем не беспокоиться; рассказывал, что они помещены в подвале и столько народу, что ему пришлось уступить свое место больной арестованной, а ему уже негде было лечь, и он просидел всю ночь на корточках (я узнала потом, что он отдал свою подушку и одеяло), а утром, когда место освободилось, Николай Петрович Кружников, который был вместе с ним заключен (а потом выпущен), говорил, что он, наконец, лег и проспал часа 2 и лицо его во сне было ясное и безмятежное, как у ребенка. Это было в день его расстрела. Вообще многие потом говорили мне, что он всех подбрал, утешал, читал Евангелие и делился пищей на сколько мог.

Дня 3 тому назад я получила известие, что ты и Лита благополучно добрались до Лаптева, что погони не было. Я это сказала ему. Вот в эту минуту лицо его растянулось, просветлевшее. Он глубоко, всей грудью вздохнул и сказал, что это ему огромный нравственный отдых. Еще он сказал, что его беспокоит, что Н. Н. Языкова заперли за решетку. Как ни огорчена я была этим известием, но что-то внутри дрогнуло от надежды, что с ним-то кончится благополучно. Он спросил меня про маму, Соню, Ксению. Потом обратился к Тамарочке, которая скромно стояла в отдалении, чтоб не слышать нашего разговора, и со своим обычным жестом, энергично вложив руку в руку, немного сгорбившись и подавшись вперед, бодрым голосом сказал ей: — «Скажите всем от меня, что я терпелив, что мой оптимизм от всего этого нисколько не убавился» — и, помнится мне, прибавил: — «и что бы ни случилось, я всегда буду верить во все хорошее». Мы перекинулись еще несколькими словами, потом он сказал: — «Не надо злоупотреблять добротой китайца, ему может попасть за меня». Тогда мы с ним простились, благословили друг друга. Я несколько раз поцеловала его мягкую живую руку. Он пошел и сердечно, важно и добро поклонился китайцу. Тот ему добродушно кивнул. Дождалась ли я, чтоб он обернулся в глубине двора, не помню. Только когда

шла домой, было смешанное чувство ужаса от уверенности, что все кончено, и удовлетворение и счастье от свидания. На следующее утро я проснулась с определенным чувством облегчения за него и подумала: «М. б., уже все кончено, и ему хорошо». Дуняша понесла, как всегда, ему пищу и тотчас же пришла обратно, сказав, что его увезли. Я чувствовала, что она знает что-то, но не сразу хотела сказать. Наконец, она призналась, что в отделе справок против Набоковки ей сказали, что его увезли с вечера на автомобиле. Было ясно, но слово еще не было сказано. Я послала еще раз спросить. Там ответили, что расстреляли. Все предметы вокруг были особенно ясны, странно обыденны, а внутри что-то непонятное, ужас, который я не могла ни осознать, ни объять. Всем повторяла: — «Расстреляли» — понимала и не чувствовала. Не помню, как что было, только т. Ксения тут была. Соня прибежала. Помню зеленый платок на ее голове и глаза, полные ужаса, которые мне говорили, что в самом деле это произошло. Надо было скорее хлопотать о выдаче тела. Наша прислуга и Дунечка Чеботарева (бывшая семинарка), узнав от кого-то, что расстрел произошел у каргопольских казарм, побежали искать папину временную могилу. Валентина Алексеевна Захарьевская очень энергично действовала, и, можно сказать, только благодаря ей мы имели счастье добыть ордер на выдачу тела папы. Сначала она пошла к Милху и, когда она приступила к нему со своей просьбой, он удивленно обернулся к ней и сказал: — «Он не расстрелян». И только когда Вал. Ал-на сказала, что имеет это сведение из справочного отдела, он по ее просьбе дал ей пропуск к Латису. В. А. пошла к нему, и, когда изложила свою просьбу, папин убийца сказал: — «Да, о нем имеются хорошие сведения, тело можно выдать». И поставил условие, чтоб хоронить без священника и чтоб за гробом шли только сестры. Вернувшись к нам с ордером в руках, В. А. тотчас же села с Соней на извозчика, и они отправились к каргопольским казармам. Когда они подъехали, наша прислуга и Дунечка Чеботарева уже попали на след папиной могилы. Их привели к ней разорванные на мелкие кусочки записки и фотографии из того портфеля, который папа носил всегда при себе. Прежде всего они нашли визитную карточку M<sup>r</sup> Paul's с надписью «pour M<sup>r</sup> Boratynski». Дуняша с благоговением собрала сколько возможно было рассеянных бумажек, а у самой могилы нашла раскинутый старенький портфель. Все это они взяли и передали мне. Соня же передала ордер сторожу и вместе с ним своими собственными руками стала разрывать ужасную яму. Сверху всех лежала грузная фигура Н. Н. Языкова с его седой курчавой головой. Папа оказался последним, — значит первым. Как всегда трудный шаг взял на себя. Одна пуля пробила затылок и вышла над бровью. Другие две соединились в одно маленькое отверстие под левой лопаткой и дали два отверстия в груди, в стороне сердца. Смерть, слава Богу, была моментальной. Правая рука его застыла, сложенная крестом, другая — как будто он что-то в ней держал и в момент выстрела инстинктивно поднял. Я потом узнала, что он держал карточку мамы (Нади), которую и не нашли. О том, с каким ужасом и благоговением Соня и В. Ал. осторожно завернули тело в одеяло и с собой на извозчике, обнявши его, привезли, говорить не могу. Я встретила их, когда они подъехали к калитке сада. С помощью кого-то мы все вместе понесли его через балкон в дом. Мы положили его в его кабинете, недалеко от двери на пол и приступили к раздеванию\*. Долго пришлось отряхивать его от земли, особенно крепко завязшей в его густых волосах. Соня сделала дело до конца и собственоручно обмыла его, затем одели его и положили в красном углу перед образом. Мы постарались устроить его гроб хорошо, окружили растениями. Его гроб стоял в том самом углу, в котором 15 лет назад стоял гроб мамы (Нади). Тогда начался наплыв искренних наших друзей, а мы должны были запирать перед ними двери, т. к. у наших ворот следили за каждым проходящим в комнату человеком. Хоронить пришлось на другой же день. Это было как раз в день Шушарского праздника 8 сентября (Рождество Богородицы). После обеда батюшка пришел к нам на отпеванье. Тут опять всеми правдами и неправдами стали ломиться так многие желающие поклониться телу папы. Горько было отстранять их, да и не удалось. Учительницы, семинарки, старушки набрались все-таки в комнату. Панихида пустила все, и т. Ксения говорит, что получилось впечатля-

\* Две рубашки, верхнюю и нижнюю, пропущенные пулями, Катя спрятала и просила, когда она умрет, из них сшить ей саван, что я и исполнила. (Прим. К. Н. Боратынской-Алексеевой.)

\* Ему летом минул 50-й год. (Прим. К. Н. Боратынской-Алексеевой.)

тельно и трагично, пение сквозь рыданье. Я ничего не помню. Вижу, как в тумане, залитую солнцем комнату, папин лоб и его лицо с каким-то ласковым мягким полудетским выражением. Помню, что в конце отпевания мне пришлось лично выйти на крыльцо, чтобы жестом руки рассеять всех собравшихся проводить папу. У каждого угла стояло по кучке знакомых и незнакомых, но сочувствующих. Кучер Константин и староста Тонин и еще кто-то из женщин вынесли гроб, покрытый покровом, сделанным из бабушкиной толстой светло-зеленой шелковой материи с тиснеными цветами того же цвета. Батюшка вышел другим ходом, чтобы нас встретить на кладбище. За гробом шли т. Патя, я и те, которые сменяли несущих гроб (т. Ксения осталась с бабушкой). Остальные знакомые тянулись по тротуарам, по другим улицам, стараясь сделать вид, что не имеют соприкосновения с процессией. Помню, Настя-прачка долго несла гроб в головах. Нести было тяжело, и Тонин все потопривалил, а у каждого квартала из-за угла выныривали какие-то люди и бегло оглядывали процессию. Ветер трепал шелковый покров. Я смотрела на все это и думала: «Вот как хоронят Александра Николаевича Боратынского (того, который всю душу положил в дело народного образования)» — и что-то путалось и не понималось. И донесли до кладбища. У ворот батюшка встретил в облачении и проводил до могилы, где еще раз отслужил Литию. Хоть не у себя в ограде, да выбрала я место около родных: бабы Кати Дебособр, дедушки Петруши Костлигцева — рядом с церковью. Часовня дедушки Петруши позади могилы. Опустили гроб, застучала земля по дереву, и скоро вырос холмик с большим дубовым крестом. Вот и все\*.

Ушли домой. А тем временем уже сложились легенды: говорили о какой-то записке, которую жена Латиса будто бы написала мужу, прося освободить папу. А Настя-прачка говорила мне: — «Мы к его могиле, как жены-мироносицы к Христу на рассвете ходили». Во всем чувствовалось полное понимание, что выбыл из жизни необыкновенный человек. Что касается записки к Латису, слух о ней был вызван следующим: (узнала я это от свидетеля того, что я опишу). В четверг — в день папиного расстрела в 9 часов вечера была назначена комиссия 12-ти комиссаров, которая должна была вынести вердикт по папиному делу. Все комиссары единогласно постановили оправдать папу, и даже была формулировка: «Должны признать Боратынского за вполне (стерто) противника и совсем освободить». Боясь, что их решение не будет уважено Латисом, они послали за его личным интимным приятелем и другом Киттельштейном. И просили его лично передать Латису с просьбой вдуматься в их решение. Через несколько времени Киттельштейн вернулся к ним, ожидавшим его с сообщением на словах, что Латис просит их не беспокоиться и все будет сделано по их желанию. Это было приблизительно около 10 ч. вечера, а в 10 ½ Латис послал его на расстрел; вот почему комиссар, к которому пришла Вал. Алек-на, был так удивлен, когда узнал о расстреле папы. Существует предположение, что Латис призвал папу и поставил ему какие-нибудь условия, на которые папа не согласился, — и тогда этим решилась его участь.

Впоследствии я встретила Елизавету Николаевну Ушакову, которая была только что выпущена из Набоковки. Она со слезами на глазах говорила о Саше. Заключена она была уже после его расстрела, но говорила, что все те, которые с ним были, рассказывали ей про то, как он всех утешал, ободряя и говорил до конца, что он верит в лучшее будущее. Дух его остался в этом подвале. Она сама прониклась этим

\* На кресте надпись «мир миру» — его девиз. Я про эту надпись совсем забыла. Как поразила она меня, когда я спустя 33 года после его смерти приехала в Казань и первым долгом пришла на кладбище. Тогда этот лозунг повторялся во всем мире, а он тогда, когда была кругом война, его проповедовал. За эти долгие годы тропа к его могиле не заросла. Как его могилу, так и могилу мамы я нашла убранными, свежеодорнованными, сложенными на них цветами. Кто это сделал — не знаю.

Вот что мне писала Катя Зиновьева в 49-м году: «Мне Женя Петрова (учительница) говорила, что до сих пор многие посещают могилу Ал. Н-ча. Она встречала там старых земских служащих и учительниц и неизвестных ей субъектов. Один раз пришедший на могилу солидный человек спросил ее, где она купила так много цветов. Она сказала, что весной ей всегда школьники приносят цветы, и она их относит сюда. — «Значит, вы учительница, — сказал он, — понятно!»

Многие ходят, кто цветов принесет, кто уберет холмик от старых листьев, кто посыпет кругом могилы песочком. — Таких людей не забывают и не забудут.

Эту запись сделала я, К. Алексеева в 1955 г.

духом, и когда готовилась к смерти, укреплялась мыслью о Саше. Она также говорила, что все комиссары бегали накануне расстрела, хлопоча за него.

Выдержка из письма Дуни Чеботаревой — воспитанницы учительской семинарии к подруге.

«Давно я хотела подробно тебе написать. Последние дни я не была с ним, не глядела в его глаза, не слышала его родного голоса. Это меня страшно убивает теперь. Знаешь, как Иисуса Христа его ученики покинули перед взятием на страдания, оставили одного... 28 августа я пошла узнать об А. Н. Приходу — все радостные. А. Н. арестовали и выпустили: прислуго собралась вместе и пошла просить о нем. Когда начальствующие тюрьмы узнали, что о нем просит бедный люд, то его выпустили. Даже один красноармеец сказал, что Б. надо выпустить — он бедным людям всегда помогал. А. Н. целовал их и чуть не плакал: его потрясла любовь и радость этих людей. Я пошла к нему. Он был в сером. Меня поразило какое-то смягченное, умиленное выражение. Волосы совсем побелели, борода окладистая, длинная. Весь тот и не тот. Когда я шумно изъявила свою радость, он смотрел на меня грустно, и мне чудилось, что он чего-то не договаривает. Нет, я была слишком беспечна в своей радости. Я не хотела видеть ничего мрачного. Я верила, что он должен долго, долго жить. Он мне сказал: — «Это друзья мои спасли меня, но не знаю, что сцд будет!» Я не помню, о чем мы говорили, только помню, он обнял меня, сказал: — «Мильный мой воробушек!» Грустно сказал. Мне стало страшно больно, что он ласкает меня — чужую, в то время, как сердце разрывается от боли и страдания о своем ребенке. Я говорю: — «А.Н., где-то ваш родной воробушек?» Если бы ты видела его полный страдания взгляд, которым он посмотрел на меня, и в отчаянии покачал головой. Такого чудного лица я никогда не забуду. Господи, как любил он своего Алека, как много страдал о нем и умер, не видя, не слыша его. Мне кажется — вся любовь, вся мука последних минут была о нем. Когда я стала прощаться, он крепко обнял меня и несколько раз по-ласкальному поцеловал, потом проводил до двери. Теперь я поняла, что он чувствовал что-то страшное, потому и прощался, но никому не говорил. Когда я пришла через день, чтобы увидеть его, все в горе говорили, что его опять взяли. Говорили, что сидит в Пересыльной тюрьме; но от мысли о скорой смерти были далеки. Никого к нему не пускали. Он прислал несколько записок, где просил прислать книг. Через день я пришла и узнала, что его перевели в Набоковский особняк — это ухудшило дело. В пятницу 19.IX. нов. ст. страшная весть: его приговорили к расстрелу. Но была надежда, что, если вступятся некоторые из казанских большевиков, то его еще могут спасти: окончательного решения ждали 20 утром (7-го ст. ст.). Рано утром 20-го я пришла узнать. Подбежала к дворниковской избушке. Распухшее от слез лицо дворника и его жены и ужасное: «Расстреляли!» Оказалось, не дождались 20-го и вечером в 10 ч. вместе с Н. Н. Языковым его лишили жизни. Не могу описать тебе моих страданий. Ты понимаешь... Ты ропещешь на Бога, что он допустил это, но ты веришь, что он жив духом. Я ни во что не верю, я только чувствую одно, что чудный, великий духом человек вдруг пропал, словно его никогда не было. Погиб, как гибнет последняя тварь, и его великое, полное любви к людям сердце — не будет биться. Ты верь, а я только не могу примириться, что чудный, родной А. Н. — величайшее создание кого-то?... — работал, говорил, лишь для того, чтобы превратиться в землю. Я не хочу оскорблять памяти А. Н., он ведь сам верил и думал, что я верю, и я буду стремиться к вере.

Теперь я расскажу, как его убили. 20-го я с Ниной, Сашей и Михайлом пошли отыскивать его тело. Нам сказали в университете, что их расстреливают за Архангельским кладбищем. День был серый, пасмурный, сырой. Когда мы вышли на поле, то оно предстало перед нами — все в рыхвинах, ямках. Сколько мы ни спрашивали встречных, нам не могли сказать о расстрелянных накануне. Указывали одну сторону, но там были расстрелянны три дня тому назад. Я видела их трупы, уже вырытые искавшими среди них своих покойников. У одного лица закрыто шапкой. Другой — офицер молодой с благородным профилем, с волнистыми, засыпанными землей волосами и раскинутыми руками. Ничего страшного в виде, но удивительно ужасно в своей реальности: человек жил, мыслял, любил и тे-

перь валяется, как падаль никому не нужная в промозглом тумане осени.

Мальчишки нам сказали, что они были вчера весь вечер и ночью в поле, но залпов не слыхали, что накануне никого не убивали. Были одиночные выстрелы в противоположном конце поля, но это не расстрелы.

Мы все разбрелись по полю. Каждая ямка казалась его могилой, но найти не могли. Мальчик, попавшийся нам с Ниной, сказал, что в 10—11 ч. вечера приблизительно он повстречал недалеко автомобиль, но он ехал уже пустой с той-то стороны. Мы пошли туда втайной надежде ничего не найти... Я нагнулась — увидела маленькую чистую бу-мажку. С тайным предчувствием чего-то ужасного я подняла ее: «М<sup>г</sup> *Boratynski* прочитала я и похолодела... Значит, правда: его нет, и он где-то тут близко, и я его увижу... Мне хотелось убежать и не видеть его, но, груда разорванных бумажек привлекла мое внимание. Я стала с жадностью рассматривать их: почерк его, Над. Дм-ны, Литы, обрывки давнишних речей и ласк: «Папуличка, милый дорогой» — детский лепет, а недалеко его кожаный портфель и пучок розовых ленточек в нем... 4 кровавых больших пятна рядом и свежая земля комьями, а там он... он... Мы не видели его — он был зарыт, но, как безумные, в диком ужасе бежали. Его расстреляли между полотном новой самарской ж. д., Архангельским кладбищем и полуобгорелой избушкой сторожа. Софья Сергеевна выхлопотала его тело, сама вырыла его и привезла домой. Теперь он никому глаз колоть не будет своей душевной чистотой. Я видела его в окровавленных простирах, видела всего в крови на полу в бывшем его кабинете. Голова втянута в плечи. Руки и пальцы сложены на груди крестом. Его никак не могли одеть в сюртук — руки окоченели. Пришлось один рукав разрезать. Положили в гроб в том сюртуке, в котором он снимался в последний раз. 2 пули пропали в двух местах спину и вышли пониже ключицы, а 3-я попала в затылок и вышла над левой бровью. Лицо, как у живого. Екатерину Ник-ну мучила какая-то страдальческая складка у губ, но я не видела ее. Мысль о его смерти не мирилась с сердцем, хотелось забыть все, как мучительный кошмар, но он тут, в гробу, и ладан стелется, и слышу я равнодушно просящий голос монахини и нестройное пение собравшихся на панихиду. Чтоб не делать процессии, никого не пускали, кроме самых близких. Отпели на другой день дома, несли на руках все свои. Когда я подошла проститься, взглянула в последний раз, лицо его было словно живое, как у спящего, а когда я поцеловала его руку и прижалась к руке щекой — рука мягкая, ласковая, живая. Солнце сверкало, ладан синел, а в гробу высоко лежала его благородная голова.

На кладбище рядом с церковью стоит простой дубовый крест без надписи. Могила покрыта дерном. Я несколько раз была у него. Сорванные цветы лежали на могиле и венок из завядших осенних листьев на кресте. Золотые березы и красноватые клены вокруг; холодное синее небо и яркое солнце. Все живо, все дышит, а его нет, но в нас он жить будет вечно! Вспоминаю его слова месяца за 1½ до смерти. Тогда он был очень грустный и говорил со мной о смерти: — «Все может случиться, Дунечка, меня не будет, кто знает, что ждет нас, но я умру спокойно, если буду думать, что дело, заветы мои, идеи будут жить и после моей смерти. Человек живет своими делами. И вот, если вы, несколько моих милых девочек-семинарок и учительниц, будете помнить мои идеи, будете жить и служить народу, как мы вместе мечтали, — я не умру, я буду жив». Вот его завет нам, учительницам. Его мысли и святые мечты будут жить в нас. Мы должны гордиться его надеждой на нас. Он, умирая, верил в тот народ, который его умерщвлял. Нет, не народ его убил. Он в последнем свидании с Екат. Ник-ной сказал: — «Я до конца оптимист и мои верования все те же». Итак, правда, что умирая он верил в прекрасные свойства народа, для которого он отдал свои силы и всю любовь свою, верил в Бога и в человека. А ночь 19-го была чудно-прекрасна. Было тихо, тепло, и все было залито серебристым светом луны, а в этой ночи представляло себе черный автомобиль без огней, иссущийся по пустым улицам. Миновал город, а там — смерть... Что он переживал, что думал, наверно, молился.

Помнишь его стихотворение?

Когда закат на небе угасает  
И глубь небес темнеет, — видим мы  
Других миров блестящие созвездья,  
Их яркий свет струится к нам из тьмы.

Так знаю я, что в час, когда померкнет  
Мой день земной, в таинственной ночи  
Увижу я невидимые в жизни  
Небесных сил священные лучи.

Рабочий, сидевший с ним и выпущенный на свободу, говорил, что он вел себя твердо и гордо, когда выходили из тюрьмы на автомобиль. Сидел до этого в подвале темном, сырьом. Людей там было много, так много, что ему пришлось сидеть, не разгибаясь, на корточках всю ночь, т. к. он свою постель уступил больной лягушке \*. Он всех поддерживал и утешал.

Вот и все.

Екат. Ник. осунулась и постарела. Ее спасает мать, от которой она не отходит ни на минуту».

Что касается меня... что я помню. Да, я помню, как я сидела около мамы, когда пришли за Сашей во второй раз. Он простился со мной, с мамой. Сам положил ее руку себе на голову. Мама была в полуспознании. Я вышла за них. Там стояли конвойные. Саша пошел в переднюю к выходной двери и у порога на мгновение остановился, как бы не решаясь переступить порог. Затем сделал рукой жест точно такой, какой он сделал 15 лет тому назад, когда долго глядел через вставленное в гроб стекло на Надю, и затем с этим жестом, говорящим: «Раз надо, так надо», задвинул металлическую задвижку. И теперь он сделал этот решающий жест и, немного сутуясь, твердым шагом вышел из своего дома навсегда. Потом я помню, как Соня и Валентина его привезли и он лежал на полу в своем кабинете. Он был весь черный от земли. Мне казалось, что это нельзя отмыть. Потом отпевали в день Рождества Богородицы. Было ветрено, и ветер гнал большие лохматые облака, которые то закрывали солнце, то открывали. Когда солнце светило, вся комната зеливалась им и <онो> играло в клубах ладана. Пели все сквозь рыдания. Меня поразило в его лице выражение, какое у него раньше бывало, когда его щекотали (он страшно боялся щекотки). Вот такое выражение было у него сейчас. Это, очевидно, осталось после того, когда он ждал выстрела, мучительно ждал... Я не ходила на кладбище, оставалась с мамой. Только смотрела в окно, как его проносили мимо дома. Несли его все свои, за гробом шли Катя и Патя. Ветер трепал покровы. Клубами летела по улице пыль, и это хоронили Сашу, его, светлого, любящего, делавшего только добро, Сашу, который так любил народ, русский народ и отдавал ему душу.<.....>

\* (в др. случае — татарка).

Подготовка публикации  
Геннадия ЗВЕРЕВА.

Кирилл ПРИВАЛОВ

## «ШЛИ ДРОЗДОВЦЫ ТВЕРДЫМ ШАГОМ...»

Очерк на заданную Историей тему



— Что ты варишь, государыня?  
— Кашицу, кашицу...  
— А какая будет кашица?  
— Крученая, крученая...  
— А кто станет ее расхлебывать?  
— Детушки, детушки!

— Вот и расхлебываем! — Вера Львовна подпирает подбородок и замирает на мгновение. Потом, будто спохватившись, срывается с места и опять принимается почевать:

— Что ж вы ничего не берете? Угощайтесь на здоровье! Варенье, булочки... Что Бог послал. У нас все попросту, по-русски...

Образа в углу. Плошка деревянная с крашенными яйцами. На стене — шашка в ножнах.

— Много?

Владимир Иванович понимает, не заставляя меня договаривать:

— Не считал. Как-никак два с лишним года отмахал в седле... И моя кровь в России осталась. Правда, и тут шашка спасла: срикошетила пульку, она до кости не достала... А вот и табакерка полковая. Такие только у нас были — с гербом и эмблемой. А вот и чарочка! Подносили мы ее в полку только самым почетным гостям. Помню, налил я в нее на три четверти шампанского и поднес генералу Деникину. Он вот тут, на вашем месте сидел.

Деникин, Врангель, Слащев, Барбович, Романовский... В тесной — совсем советской по размерам — квартире Веры Львовны и Владимира Ивановича Лабунских эти фамилии звучат не как ссылки на учебник истории, а как часть биографии. Часть жизни.

Корнет Лабунский — последний дроздовец.

«Дроздовский Михаил Гордеевич (1881—1919), бенгальский логвард, ген.-майор (1918). Окончил Академию Генштаба (1908). Участник 1-й мировой войны, полковник. В дек. 1917 сформировал на Румынском фр. контрреволюц. отряд (ок. 1000 чел., гл. обр. офицеры и юнкера) для отправки на Дон к Корнилову, 11 марта 1918 отряд Д. выступил в Яссы в поход, осуществляя на своем пути массовый жестокий террор...»<sup>1</sup>

— Кадровых офицеров у нас было по пальцам сосчитать. Три года шла война. Страшная война! Самая деятельная часть населения России была уничтожена огненным молотом. А русский офицер, испокон веку известно, всегда в атаку первым ходил... В дивизии нашей были только добровольцы. В основном — молодежь. Такие, как я. Когда началась революция, я учился в последнем классе гимназии. Дело было в Полтаве, где отец мой служил священником. Политикой я не интересовался, но, когда пали устои, вера, выход для меня оставался один: постоять за Россию! Когда я уходил к Дроздовскому, отец благословил меня.

Шли дроздовцы твердым шагом,  
Бранг под натиском бежал,  
Под трехцветным русским флагом  
Славу полк себе создал...

— Постойте, Владимир Иванович! Что-то очень мелодия знакомая.

— А-а-а! Узнаете? И песню у нас украли вместе с Родиной. Комиссары потом переписали слова, получилось «По долинам и по взгорьям», музыка народная. Правильно! Мы и есть народ! — Он смотрит на меня изучающе. И вдруг как-то обмывает: — Можно я вас расцелую, дорогой вы мой? Вы же родной. Вы же из дома, из России... Верю, что жертвы наши — с двух сторон! — были ненапрасны. Верю, что народ наш еще более могучим станет. Только пусть он будет счастливым! А слово свое в истории он скажет, и не раз. Верьте мне! Перед вами — один из последних белых воинов.

Восемьдесят девять лет. Последний из могикан. И место себе уже заранее заказал на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Рядом с боевыми товарищами — семеновцами, преображенцами, эриванцами... У дроздовцев на русском погосте под Парижем — свой участок, с витиеватой буквой «Д» на надгробных плитах.

<sup>1</sup> Гражданская война и военная интервенция в СССР, М., 1983.

Генерал-майор Дроздовский умер от гангрены после легкого ранения под Ставрополем. На пирамиде — уменьшенной копии галлиполийского памятника, разрушенного землетрясением, — в честь вождей Белого движения, что на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, дроздовцы поминаются вместе с марковцами, алексеевцами, колчаковцами, деникинцами... По-разному сложилась жизнь полководцев разрозненных воинств армии, не случайно названной Добровольческой и никогда не ставшей единой регулярной.

— Кем только не были, когда потеряли Родину, — вспоминает Владимир Иванович. — Полный адмирал русского флота Диков устроился швейцаром в госпитале. Генерал Яковлев хрен натирал и разносил его по ресторанам. Генерал Матофанов научился стричь: бывало, стрижет час, а руки его уже не слушаются, дрожат. Потом начал делать «посыны для красоты»... И смех и грех! А генерал Черемисов вместе со мной работал на такси. До 12 тысяч русских воинов стали во Франции шоферами такси. Когда в 1940-м сдали Париж, у французов появилась грустная шутка: «Надо было наших офицеров посадить на такси, а русских — отправить на фронт».

Пусть свищут пули, льется кровь,  
Пусть смерть несут гранаты.  
Мы смело двинемся вперед!  
Мы — русские солдаты.

Несильным, но верным голосом (с гордостью: «Когда стояли в Болгарии, пел в казачьем хоре») запевает Владимир Иванович. Потом из-под стола, со шкафа, из-за дивана появляются альбомы с аккуратно уложенным под целлофан фотографиями, полковыми документами, вырезками из журнала «Часовой»:

— Это работа нашего полкового художника. Вся история 2-го конного Дроздовского полка: от Ясс до Галлиполи. Слева в нижнем углу — полковник Силкин, последний командир полка. Казак был, воевал рядом со своей женой в одном строю. Потом жил возле нас в Медонске. (Так, на русский манер, Лабунский называет Медон, пригород Парижа. — К. П.) В 1944 году решил отправиться к Власову в РОА. Я, помню, ему говорю: «Куда ты едешь? Все уже кончено!» А он: «Я — военный, политикой не занимаюсь. Генерал Краснов бросил клич, значит, надо идти. Я не против России хочу воевать — она войну уже выиграла, — а против Сталина...» В мае 1945 года англичане выдали Силкина вместе с другими казаками в Линце...

Читая: «Краткая выписка из боевой жизни 2-го конного имени генерала Дроздовского полка». Наивно-проникновенное повествование фронтового писаря о боевом пути воинской части. Сколько подобных бумаг прошло через мои руки в свое время, когда я занимался изучением архивов ЦГАСА — Центрального государственного архива Советской Армии! «Н-ская часть прошла покрытый славой боевой путь от Дона до Праги... От Москвы до Берлина!..» На этот раз ощущение было совсем иным, незнакомым ранее, словно зазеркальным: говорилось о нас и вроде бы не о нас. «Переброска в район Юзовки и высадка на станции Волноваха. Борьба с бандами Махно. 5 января 1919 года бои за Федоровку; бои под Гуляй-Поле-Гусарка. Отход на Крым...» И тут же: «Изрублен 4-й пехотинский советский полк и загнан в Сиваш... 14 мая полк по приказу выступил в Керчь для ликвидации банд красных, засевших в каменоломнях города».

Какой язык похожий! Одни: «Банды красных, предатели России». Другие: «Белогвардейские каратели, свора офицерья». Одни: «Буденовщина, сталинщина». Другие: «Деникинщина, врангелевщина»... Более чем полувековое перетягивание нервущегося, режущего руки каната между двумя Россиами, образы которых сегодня, как изображения, увиденные одновременно разными глазами — левым и правым, — складываются воедино. И все-таки: кто первым бросил камень? Как там у Артема Веселого в «России, кровью умытой»?

«Ну, а как, сынок, русскому русского бить не страшно?» — спрашивают солдаты Кавказского фронта молодого большевика, уговаривающего их вступить в Красную гвардию. «Сперва оно, действительно, вроде неловко, — ответил красногвардеец, — а потом, ежели распалится сердце, нет, ништо».

— Проснулся зверь, стихия! — вступает в разговор Вера Львовна. — Жестокость была с двух сторон, а кто первым прибег к насилию? Разве не Троцкий? Эполеты штыком

вырезали на плечах царских офицеров! Троцкий называл это «устрашением».

«Устрашение есть могущественное средство политики, и международной и внутренней. Война, как и революция, основывается на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция: она убивает единицы, устрашает тысячи»<sup>1</sup>.

— Но есть, Вера Львовна, и немало свидетельств белого террора. Да вы об этом и сами знаете.

— Было, было! Насилие порождает насилие. Порочный круг. Но у белых террор был делом рук отдельных ожесточившихся людей, порой даже садистов. У красных же он обрел государственный характер, получил теоретическое обоснование. Так же, впрочем, как и безответственно обещанные утопии. Неизвестное новое всегда кажется более заманчивым, чем хорошо знакомое старое.

«Ну, я простой человек, — исповедывался председатель полтавской ЧК Долгополов Владимиру Галактионовичу Короленко. — Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В России уже денег нет... Всякий трудящийся получает карточку: работал столько-то часов... Ему нужно платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье, которое стоит столько-то часов работы... Теперь приходится делать много жестокостей... Но когда мы победим...»<sup>2</sup>

— Эх, Полтава, Полтава!.. До 1928 года я с отцом переписывался, он был благочинным уезда. И из Болгарии ему писал, и из Югославии, и из Франции. А в 1928 году отца сослали на лесозаготовки в Северодвинский край. Мать сама поехала за отцом, знала, что он без нее не выживет... Обо всем этом я узнал случайно, когда встретил уехавших со второй эмиграцией венковых друзей нашего дома... Теперь все прошло и былое поросло.

— А я, Володенька, забыть не могу. Не могу! Помню, отступали мы с папой из Ростова. Ночь. Ростовский вокзал. И сотни людей лежат на полу вповалку, ожидая теплушки — эвакуация! И вдруг чей-то голос затягивает: «Стоит гора высока-ая, а под горо-о-ою гай...» Один за другим все запели. Мощно, слитно. Так поют только один раз — перед смертью. Все, что прожито, ушло в эту песню. «Стоит гора высокая...» Что нам, кроме нее, еще оставалось?

Молчим. Тишина эта кажется еще более пронзительной от того, что в скверике под окном шебечут дсти. Много лет назад потеряла Вера Львовна от менингита свою Милочку — единственную девочку, ненаглядную! — а больше Господь деток не дал.

— Есть страх перед смертью. А есть и другой — когда вы видите, как на глазах у вас все рушится: устои, идеалы, принципы. Такой страх бывает перед лавиной... Мой отец был кадровым офицером. Служил в Персии, потом — в Закавказье. Когда сформировалась Добровольческая армия, пошел к Антону Ивановичу Деникину. На передовые позиции! Отца звали Лев Иванович Иванов.

— Как?

— Полковник Иванов. Что вы так удивились? На Ивановых, мой милый, вся Россия до сих пор держится!

— Уж я-то знаю, Вера Львовна... Дело в том, что мой прадед тоже полковник Иванов. Кстати, воевал в первую мировую вместе с моим дедом, который был его адъютантом, на Румынском фронте — там же, где и полковник Дроздовский.

— Надо же!

— А где же ваш Иванов в гражданскую воевал?

— Против вашего... Впрочем, думаю, два Ивановых, разделенных линией фронта, не встречались. Мой прадед, командир Красной армии Николай Николаевич Иванов, был на Северо-Западном фронте: против Юденича и атамана Буллак-Балаховича.

— А как жизнь его потом сложилась? Мой отец после долгих скитаний наконец осел во Франции, организовал магазин молочных продуктов, рассыпал по русским ресторанам творог и сметану. Я знаю, от чего он умер. От тоски по России.

— Мой прадед, как мне рассказывали, тоже прожил после революции недолго. В 1928 году был сослан «без права переписки». Умер от того, что не хотел и не умел скрывать: та Россия, за которую он воевал, так и не родилась.

<sup>1</sup> Троцкий. «Терроризм и коммунизм», М., 1920.

<sup>2</sup> В. Г. Короленко. Из дневников 1917—1921 гг.

— Как рухнуло все быстро! Рухнуло... Как время не считай, оно все равно идет быстрее нас.— Лабунский раскладывает фотографии из альбома и комментирует их.— Это генерал Кутепов, глава нашего Общевойскового союза, на приеме в змии 15-го округа в Париже. Редкий был человек! С 1903 года по 1917-й прошел аттестации от первого офицерского чина до полковника. Трижды ранен. Все боевые награды до ордена Святого Георгия III степени! Расстрелян Сталиным после похищения из Парижа в 1930 году. (Неверно. После того, как генерал Кутепов был вывезен опергруппой НКВД из Франции, он скончался от сердечного приступа на корабле, когда до берегов СССР оставалось лишь 100 миль.— К. П.) ...А это генерал Фок — крепыш, живчик! Во время испанской войны пришел на пункт вербовки добровольцев в Париже, его спрашивают: «Есть опыт военных действий?» Он: «Есть! Я — русский генерал!». — «Сколько же вам лет? Нам нужно воевать, а не парады принимать!». — «А это вы видели?» И шестидесятилетний Фок сделал на руках стойку на стуле. Как и многие русские эмигранты, пришедшие на помощь Франко, он погиб в Испании. Не представляете, как было больно тогда: единственное в мире, кто выступил против террора и анахии сталинских агентов в Испании, были Гитлер и Муссолини. Чудовища восстали против чудовища! И все равно ведь друзьями оставались. Помню, как сновали друг к другу в 1937 году во время Всемирной выставки в Париже сталинисты и нацисты. Павильоны Германии и СССР стояли друг напротив друга.

На улице «взрывается» радио в припаркованной машине. Томный кастильский тенор поет: «Серая моя печаль, серая...» И моя печаль тоже серая. Ни красная, ни белая, ни зеленая, ни черная. Серая. Ибо я сам сер, как мышного цвета школьная форма, в которой меня обучали четверть века назад видеть мир только в двух цветах: «наши» — и «не наши». А ведь у белого цвета немало тонов и спектров.

Но Владимир Иванович продолжает свои воспоминания. Он и не подозревает, сколько раз я тонул под пулеметным огнем вместе с Чапаевым, замерзал в степях вместе с Кочубеем, перевязывал раны вместе с Щорсом, передавал памятные репортажи из осажденного Мадрида вместе с Кольцовыми!..

— А вот и Чернецовец — легендарный донской партизан: отряд его был красных по тылам, расправлялся с предателями казачества. Потом Цветаева напишет в «Лебедином стане»: «Старого мира последний стон: Молодость — Доблесть — Вандея — Дон...» Впрочем, «российской Вандеей» Дон так и не стал. Слишком пассивным было казачество, сидящее на жирных землях. А это — Крым. Вскоре грянет наш последний бой.

Кому Россия завещала  
Свою печаль, свою тоску?  
Среди храбрецов от начала  
Второму конному полку...

«Все кончено!..» Впрочем, все для белых было кончено гораздо раньше: уже осенью 1919 года победа Красной армии не оставляла сомнений. У контрреволюционного движения не нашлось ни признанного лидера, ни общей программы. Белые знали, за что воевали, но не представляли будущего России — кроме того, что она будет «единая и неделимая». И еще — преимущества большевиков были чисто стратегическими. «Преимущество нашего положения заключалось в том, что мы занимали центральное положение и действовали по внутренним линиям. Как только противник обозначал направление своего удара, мы имели возможность подготовить контрудар. Мы могли концентрировать наши силы для наступления в наиболее важных направлениях и в необходимый момент» (Троцкий. «Сталин»).

— Когда подошли к Севастополю, последний пароход отчаливал. Мы под командованием полковника Кобарова прикрывали отход, плечом к плечу. Все погрузились, и пароход отошел. На рейде появился крейсер «Корнилов» с генералом Врангелем на борту. Облупленное людьми судно громким «Ура!» приветствовало главнокомандующего. Генерал поднялся на палубу и обратился к нам: «Господа! Мы отходим. Но ни одно государство до сих пор нас не принял. Однако переговоры ведутся. Верю, что найдется в Европе

страна, которая захочет дать нам приют. Благодарю за службу! Чтобы не было потом нареканий, обращаюсь ко всем: кто хочет остаться на родной земле, может вернуться в Севастополь. Для этого будет подан катер». Около 70 человек сошло — те, у кого остались в Крыму семьи. Если бы знали они, что идут в объятия самому Бела Куну. Потом мы узнали: все, кто сошел на берег, поверив в обещания красных об амнистии, были уничтожены.

«Троцкий сказал, что не придет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму; Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит, а так как Крым отстал на три года в своем революционном движении, то быстро подвинем его к общему революционному уровню России...» — так заявлял Бела Кун, уважительно представленный в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» как «венгерский интернационалист». И не просто заявлял, но и весьма эффективно «подвигал» Крым «к общему революционному уровню России». До того, как сталинские пропагандисты назвали Крым «Всероссийской здравницей», он был траурными буквами вписан в историю как «Всероссийское кладбище». Замечательный русский писатель Иван Шмелев — в своих показаниях лозаннскому суду, начатому в 1923 году над убийцами Вацлава Воровского, — утверждал, что в Крыму уничтожено более 120 тысяч человек. Не только офицеров — штатских, в том числе женщин, детей, стариков. Специальная комиссия ВЦИКа расследовала крымскую резню 1920—1921 годов. Все «особо отличившиеся» коменданты городов представили в свое оправдание телеграммы «венгерского интернационалиста» Белы Куна и его помощницы Розалии Землячки-Самойловой, урна с прахом которой и по сей день почтет в Кремлевской стенае.

В «Очерках русской смуты» генерал Деникин с беспощадной откровенностью говорит о причинах поражения Белой армии, как он их понимал. Деникин пишет о моральном разложении армии, о грабежах, о еврейских погромах, которые разворачивали солдат и офицеров, подрывали дисциплину. Но не это было главным. Генерал Деникин с недоумением констатирует: «После освобождения нашими войсками огромной территории, мы ожидали восстания всех элементов, враждебных Советской власти. Такого восстания не произошло...»

«Основная причина поражения русской контрреволюции заключалась в непонимании ее руководителями того, что гражданская война была войной политической. Первым выражением различного отношения к гражданской войне был тот факт, что революционеры руководили политическими деятелями, контрреволюцией — военные<sup>1</sup>.

— А тут изображены русские легионеры. Те, кого уже в Галлиполи под охраной сенегальских стрелков французы принялись вербовать в Иностранный легион.— Дрожит по-желтевшая фотография в восковой руке со вздутыми венами.— Немало из нас пошло туда. Стал легионером и убийца Воровского Конради, опасавшийся возмездия чекистов. А правда ли, что и сейчас слышна в Иностранным легионе русская речь? По радио об этом говорили, телевизоры-то у нас нету...

— Говорят, — теряюсь я, что ответить. Не так давно, будучи проездом в провансальском городе Оранже, где расквартирован дивизион легионеров, совершенно случайно остановился в маленькой гостиничке. Ее хозяин, не расставаясь с овчаркой, — рослый человек с разноцветными татуировками и тщательно выбритой головой — не скрывал своих впечатлений о путешествиях по свету в рядах многоязычного легиона. Рассказывал он и о том, что есть сегодня в легионе представители последних волн российской эмиграции

<sup>1</sup> М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти».

ции: легион дает надежный кусок хлеба, о прошлом же не спрашивает.

— Ой, да какие только встречи в Париже не бывали! — всплескивает руками Вера Львовна. — Было время, когда я работала сестрой милосердия. Дежурила в сумасшедшем доме — тут рядом, недалеко от Медона, в котором жило тысячи четырех русских. Однажды вызывает меня доктор и говорит: «Тут лежит княгиня, соотечественница ваша. Она морфинистка и в очень плохом состоянии... Надо провести рядом с нею ночь, ибо курс дезинтоксикации протекает мучительно». Пошла я в ее комнату, которая располагалась в так называемом Красном павильоне — для особо буйных. Решетки всюду, мебель привинчена. Больная спала после успокоительного укола. Я тоже прилегла на соседнюю постель. А под утро моя княгиня зашевелилась и вдруг начала декламировать:

Остроу секироу ранена береза,  
По коре сребристой покатились слезы...

Два часа декламировала, а потом очнулась: «Здесь кто-то есть? Кто здесь?» Отвечаю по-русски: «Это я, княгиня». — «Как, русская? Подумайте, как мне это приятно!» И начала я по ночам приходить к ней дежурить. Мы долго говорили в темноте, и княгиня рассказала мне свою историю:

«Вы знаете, почему я стала морфинисткой? Дело было еще в России. Я была очень богатой, мои драгоценности могли поспорить с драгоценностями царицы. Во время войны вслед за Великой княгиней Елизаветой Федоровной я стала сестрой милосердия в военном госпитале. И тут началась революция! Гляня на то, что происходит, доктор дал нам по шприцу и по большой ампуле морфия: «Лучше уж вы покончите с собой, чем вас изнасилуют и убьют». Понемногу начала колоться. Втаянулась быстро: уколешься и на время забываешь все вокруг...»

— Какая блестательная была женщина! — продолжает Вера Львовна. — Не обижайтесь, голубчик, ни имени, ни фамилии ее я вам не назову. Это врачебная тайна. Скажу только, что род княгини восходил к истокам российской государственности, был воспитан Пушкиным и связан с декабристами. До войны она была первой в России женщины-летчиком, владела языками, печаталась в английском журнале. В эмиграции стала водителем такси. Была единственной в Париже, ее так и звали «мадам Такси». И вдруг этот скандал: оказывается, русские врачи-эмигранты выписывали ей морфий, их теперь после ее показаний должны были судить. «Я подвела людей, — корила себя княгиня. — Но ситуация поправима. Я не буду лишать своих врачей ни работы, ни свободы. Суда не допущу: я покончу с собой». — «Помилуйте, княгиня! Вы понимаете, что говорите!» — «Понимаю, Верочка. В лечебнице этого все равно не сделять. Поэтому дождемся моего выхода на свободу. В первый же мой день на воле приглашаю вас на ужин».

В День всех Святых к ней явился муж. Она ему: «Увези меня отсюда! Увези!» — «Не могу, дорогая. Тебе надо еще вылечиться». — «Ты не любишь меня! Значит, ты меня не любишь!» А он смотрит на нее с обожанием: «Вера Львовна, вы не представляете, что это за женщина! Когда мы пересекли границу, красные меня задержали, а ее пропустили. Так она вернулась и вышибла меня. Господи, чего ей это стоило!» Она ему: «Так ты меня не берешь? Тогда я тебя проклинаю!» — «А я тебя обожаю!...»

Он был поэт, ее муж, хотя и из рода, давшего миру великого композитора. Он посвятил ей стихи:

Я помню только жемчуг первой встречи.  
Жемчужный свет, жемчужное колье.  
Жемчужный отблеск платья тюль-леже,  
Жемчужные трепещущие плечи...  
Я помню только жемчуг первой встречи.

На четырнадцатый день после выхода на свободу она покончила с собой. Суд над врачами не состоялся.

— Вот такие женщины были в эмиграции! — смахивает слезу Владимир Иванович. — Странная все-таки страна, наша Россия! Читай декабристок, пошедших вслед за мужьями в Сибирь, а вот о наших женах, принявших куда больше муки, говорить не желает. Ведь жен декабристов Родину покидать никто не заставлял.

«Кто знает, у кого участь была труднее — у тех, кто уехал, или у тех, кто остался?» — хотел вставить я, но сдержался.

Разве есть что-нибудь глупее, чем об этом судить? Тем более мне, моему поколению. Наш долг иной: учиться у истории и жить по-настоящему, зная, как и для чего мы живем...

А Вера Львовна — маленькая, сухонькая, с влажными широко раскрытыми глазами — вся предалась воспоминаниям:

— Уезжали из Тифлиса в 1921 году. Накануне грузинские меньшевики кричали: «Пусть только большевики к нам сунутся! Мы им устроим новый Верден!» А как только увидели коней 11-й Красной армии, сразу принялись вязать чемоданы... Наш состав двинулся вечером. Есть такой Батумский туннель, очень опасный. Сначала поезд идет в гору, его толкают два локомотива. Потом начинается спуск, поезд выскакивает из туннеля, как бешеный, и сразу — на резкий поворот. Наш же поезд, когда шел в гору, пытился: слишком большой был состав. Люди сидели друг на друге. И тут звонок: прошли середину туннеля! И понеслось! Все стали креститься, кто еще в Бога верил. Выехали — и вагоны чуть не легли. Но выстояли, Господь спас.

Приехали в Батум. Нас взяли на английский военный крейсер «Карадок». Бежала грузинская аристократия: Казбеги, Орбелианы... В 5—6 часов пополудни крейсер дрогнул и стал поворачивать в открытое море. Мы все бросились на палубу. В Батуме каждый вечер в 6 часов был благовест. И в это время, когда мы высыпали на палубу... — Вера Львовна не может сдержаться, плачет, — на берегу зазвонили колокола! Звон колоколов российских провожал нас. Все стояли замершие. И у мужчин текли слезы. У кавказцев слезы текли! Крейсер набирал ход. Поднимался туман, и постепенно Батум стал тонуть, как сон, в дымке тумана. Лишь издали доносилось: бом! бом! бом! Мы ушли прямым рейсом, не заходя никуда. День и ночь, день и ночь... Началась ужасная буря. Она так валаля крейсер, что даже английских матросов закачало. Словно Родина не хотела отпускать нас. А наутро море успокоилось, и мы увидели перед собой минареты Константинополя. Англичане высадили нас: идите на все четыре стороны! Мы сошли на берег — без денег, без связей, без языка — и впервые разумом — не сердцем, а разумом! — осознали: покинули мы Россию.

...Казак все просил и молил, умирая,  
Насыпать курганник ему в головах,  
И пусть на кургане калина родная  
Растет и красуется в ярких цветах.

— Сколько же песен, Вера Львовна, вы знаете? И русских, и украинских, и казачьих!

— Много, дорогой мой... Только оставить их некому. На днях стали нам с Владимиром Ивановичем продлевать «кард-д-сежур» — давать вид на жительство во Франции, как положено иностранцам. Смотрю: ба! а там написано — «совьетик», «советская». Э, нет, говорю, господа хорошие! Я — российская подданная, ни дня советской не была. И французами вашими мы тоже быть не желаем... Они мне в ответ: «А у нас теперь иного бланка для русских нет». «Ищите!» — говорю. Нашли-таки в конце концов. Вот! — Владимир Иванович достает из бумажника две закатанные в пластик карточки, на каждой из которых написано: «Национальность — русский беженец».

Париж

Сергей БУРИН

## Р. Б. Р.

Сергей Бурин родился в 1945 году. Живет и работает в Москве. Кандидат исторических наук. В 1988—1990 годах опубликовал около 50 работ по историческим и современным проблемам. В «Юности» публикуется впервые.

Фото Дмитрия Борко



«Есть исторические моменты в жизни людей, в которых явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков...»

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя».

### 1. Воспоминание о несостоявшемся будущем

До того как построили высотные здания, мой дом был одним из самых высоких в Москве. Он и сейчас вздымается светло-коричневым утесом напротив Голицынской больницы, нависая над ее садом и отпочковавшимся от него еще во времена Пушкина другим садом, Нескучным, над текущей в их тылу Москвой-рекой... Человек я, в общем, несентиментальный, но до сих вздрагиваю от неясного волнения, когда еду домой со стороны Зубовского бульвара и сквозь серебристые пролеты Крымского моста вижу море деревьев, зеленый больничный купол и над всем этим — его, мой дом.

Из окна моей комнаты хорошо видны и новый университет, и громада мидовского небоскреба, и цепочка домов-близнецов Калининского проспекта, а если немного высунуться, то и Кремль. А со стороны двора — дальнее Замоскворечье, колокольни, Шуховская башня. А вот Донской монастырь недавно заслонила уродливая кубышка общежития текстильного института, только концы куполов обиженно выступают позади отвратительной глыбы. Но зато возникла вдали из ничего, из праха и хлама колокольня Свято-Данилова монастыря, из зарешеченных окон которого мне еще лет восемь назад отчаянно махал рукой цыганенок и, рыдая, просил: «Дяденька, позовите наших цыган, пусть заберут меня отсюда!»

Я столько лет писал «в стол», что теперь, когда появилась возможность что-то публиковать, практически для любой темы находятся заготовки, а то и вполне готовый материал — открывай нужную папку и перепечатывай начисто. Вот красная папка с тремя буквами «Р.Б.Р.», что в расшифрованном виде означает: «Разрушающий будет раздавлен». Это начало небольшого стихотворения Гумилева «Выбор»: «Разрушающий будет раздавлен, Опрокинут обломками плит, И, всевидящим Богом оставлен, Он о муке своей возопит...». Предсказание неизбежной гибели разрушителя давно уже стало для меня неким символом, часто и неотступно напоминавшим о себе. Папка разрасталась, время от времени выталкивая из себя новые темы, но эта, главная, не давала покоя, просилась на чистые листы.

Никакое насилие над природой, над людьми, над историческим процессом не может оставаться в прошлом, даже если оно прекратилось. Нет, оно уже сделало нас, нашу жизнь иными, и, сколько ни вытравливай людскую память о нем, мы все равно уже стали другими. Это страшная и бесконечная плата за разрушение, полной меры которой мы, боюсь, еще не изведали. Это только кажется, что, заполнив все газеты и журналы разоблачительными материалами о Сталине и своре его «соратников», а теперь уж развенчивая и досталинский период, мы перечеркнем все эти кошмары, начнем жить «по правде» и все плохое останется позади. Нет, Каинова печать этого ужаса легла на нас слишком тяжело, чтобы смыть ее одним лишь нестройным криком: «Чур меня!» Это только кажется, что, перестав расстреливать невинных, взрывать церкви и монастыри и даже отремонтировав некоторые из уцелевших, мы заживем в красоте и благолепии. Мы уже никогда так не заживем, как могли бы, если бы все стояло на не нами определенных местах, если бы мы произвольно не вырывали из своей культуры целые пласти, чтобы потом выборочно вставлять их в другое время, где обитают другие поколения. Все это нам только кажется, потому что так приятнее думать. В этом мы чем-то напоминаем ребенка, который, разбив сахарницу, аккуратно скжимает ее осколки вместе и ставит обратно в шкаф — теперь все в порядке! До первого прикосновения...

У нас дома между стеклами книжного шкафа стоит старая фотография. На ней моя бабушка, Вера Владимировна Бургдорф, и дедушка, Николай Николаевич Овчинников. Фотография сделана примерно в 1915 году, и, если так, значит, бабушке было тогда 19 лет, а дедушке лет на 10—15 больше. На сколько точно, никто уже не скажет. Потому что жили они в городе Казани, которую 9 августа 1918 года заняли так называемые «белочки», но дальше продвинуться не смогли, и Казань на месяц стала прифронтовым городом. А 10 сентября, не выдержав натиска 5-й армии красных, белочки оставили Казань. Вместе с ними ушел на восток и мой дедушка, поскольку ему, царскому офицеру, новая власть благоприятных перспектив не сулила. А спустя семь месяцев, в апреле 1919 года, родился мой отец. К тому времени бабушке уже сообщили, что ее муж погиб где-то в Сибири, обстоятельств его смерти я, к стыду своему, не знаю. А бабушка спустя пару лет уехала учиться в Москву, там снова вышла замуж и прожила с новым мужем счастливую долгую жизнь, без малого полвека. Но там, на фотографии, она еще ничего этого не знает, там дедушка глядит на нее, она глядит в пространство, оба счастливы и влюблены, вся жизнь еще впереди... Так они думали, но их никто не спросил, о чём они думают и чего хотят. Колесница революции мимоходом переехала их жизни, раздавив его и, к счастью, лишь слегка помяя ее.

Мне было важно упомянуть об этой, в общем-то частной истории, поскольку растоптанные, раздавленные, изнасилованные судьбы наших и, как видите, моих не таких уж давних предков именно в те послеоктябрьские годы начали отсчет

новому бытию страны, именовавшейся тогда Россией. Страны с несостоявшимся будущим, которое, если мысленно перенестись лет, скажем, на 75 назад, никак не обещало ее жителям на излете века почетного соседства с латиноамериканскими и африканскими государствами. Страны, забывающей, перечеркивающей свое прошлое, выхватывая из него лишь те случайные фрагменты, которые кое-как могут подтвердить до боли в ушах знакомое: верной, верной дорогой идем!

Прошлое перечеркивала не только страна (точнее, подмявший ее государственный механизм), но и ее граждане, они были вынуждены это делать. Скажу несколько слов о другом моем дедушке, мамином отце. Армянин, скромный бухгалтер, в свободное время — блестящий садовод, он дожил, как казалось мне, без проблем до 70 лет и умер 23 года назад. А лет 10 назад его сестра, тетя Нина, незадолго до собственной смерти рассказала, что дедушка, оказывается, некоторое время был в армии Махно и всю жизнь скрывал этот теперь уже безобидный эпизод. Попробуй-ка в памятном 37-м (да в любом другом) докажи, что против белых Махно воевал куда больше, чем против красных! Это ведь только Григорию Мелехову дозволено под настроение рубать то одних, то других и оставаться при этом положительным героем гениального произведения, а рядовым гражданам полагается с пеленок, как нынче выражаются, определиться. А звали дедушку в те годы не Христофором Павловичем, а Хачатуром Погосовичем, это он уже потом на всякий случай переименовался.

Как же все это получилось? Почему семь десятилетий назад, заново начав отсчет времени и вознамерившись создать земной рай, мы вскоре начали крошить все направо и налево? Почему и когда наши то грустные, то радостные, но всегда оптимистические песни, символизировавшие время, уподобились вервольфам и превратились в свою противоположность, «поменяв знак», как сказали бы математики? Пели: «Кто был ничем — тот станет всем», а народ уже к началу тридцатых был затравлен и одурачен, голден и нищ, какое уж тут «всем»... Пели: «Отречемся от старого мира», а отрекались от Гумилева и Шалапина, от Бунина и Ахматовой, от Чайнова и Вавилова, сносили древнейшие храмы и монастыри «до основания, а затем...». А что затем? Пустота. Пели: «В своих дерзаниях всегда мы правы», заранее отметая саму мысль о возможности ошибки или другого мнения и обрекая всякого, усомнившегося в правильности «дерзаний», на участь изгоя, врага народа. Пели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», не ведая, что мотив этой песни бойкий композитор попросту украл у автора печально знаменитого «Хорста Весселя», ставшего потом неофициальным гимном гитлеровских вояж. (Я неоднократно смотрел по-своему знаменательный нацистский документальный фильм «Триумф воли» о съезде НСДАП, и всякий раз при звуках этой мелодии возникало недоумение: чего это, мол, «они» наш «Авиамарш» играют?) Да и какую сказку наши вожди замышляли сделать былью?

Я, разумеется, не собираюсь в одной статье ответить на все многообразие такого рода вопросов, да это и невозможно. Поэтому попытаюсь в самой общей форме высказать свои соображения по поводу гражданской войны, вспыхнувшей в нашем обществе практически сразу же вслед за Октябрьской революцией, а также о том влиянии, которое эта война оказала на последующее развитие страны, включая и сегодняшний день.

Строго говоря, начинать надо было не с блистательного 17-го года, а хотя бы лет на сто пораньше, с декабристов, которые в ту далекую пору еще никого не будили, а лишь размывшляли в своем дружном кругу, как бы получше помочь отечеству, что бы замечательного и прекрасного сделать для обездоленного народа. Ограничусь парой выдержек из изучаемой даже в школе (но, как вы увидите, не дословно) «Русской правды» — конституции для будущего справедливейшего общества, придуманной Павлом Пестелем. Вождь декабристов считал необходимым в таком обществе «узнавать, как располагают свои поступки частные люди; образуются ли тайные и вредные общества, готовятся ли бунты, делаются ли вооружения частными людьми противу законным образом во вред обществу.., происходят ли запрещенные собрания и всякого рода разврат; ...собирать заглаго-временно сведения о всех интригах и связях иностранных посланников и блисти за поступками всех иностранцев, на-влекших на себя подозрение, и соображать меры противу всего, что может угрожать государственной безопасности». Но ведь все эти, как выразился Пестель, «многоразличные

сведения» надо же еще и добыть. Что ж, они «могут быть получены единственно посредством тайных розысков. Тайные розыски или шпионство суть посему не только позорительное и законное, но даже надежнейшее и почти, можно сказать, единственное средство, коим вышнее благочиние поставляется в возможность достигнуть предназначенной ему цели». Добавлю еще, что Пестель сначала планировал иметь в своей будущей республике 50 тысяч жандармов, но в процессе усовершенствования конституции это число показалось ему недостаточным, и он увеличил его до 112,9 тысяч.

Столетие пролетело бурно и быстро. Россия не сразу восприняла эти заветы, и за год до Октябрьской революции, в октябре 1916 года, в беспечной стране было всего лишь 15 тысяч жандармов. Немудрено, что в феврале 17-го они разбегались перед взбудораженными толпами голодных женщин и инвалидов, а те радостно кидали в них каменьями, думая, что если попадешь в жандарма, то хлеб сразу и появится. У Пестеля бы они долго не накидались... А хлеб так и не появился. Вместо него появились до того мало кому заметные люди, которые на всех площадях и бульварах, в газетах и в собраниях твердили, что все раньше было не так, решительно все не так, но вот явились они, спасители, и теперь все будет, как надо. Вместо злодеев-помещиков — реки, моря хлеба! Вместо буржуев и фабрикантов — вольный, радостный труд на благо... Вместо интеллигенции, жиравшей в пролетках и ресторанах, — свой же брат-рабочий или бородатый мужик в шинели, который по бумажке просто и понятно прочитает, что и как. К ним прислушивались все внимательнее — уж больно ладно говорили...

И вот — свершилось! Октябрь уж наступил. Едва взяв власть, большевики одну за другой стали закрывать меньшевистские — и вообще все, кроме собственных, — газеты, не говоря уж о более решительных методах «соперничества». Меньшевики, эсеры и прочая либеральная публика ничего подобного не ожидали: была ведь обещана свобода, если не большая, чем прикровом царском режиме, то по крайней мере такая же. Тогда-то печатали все подряд! Одуреченные либералы забеспокоились и...

Нет, видно, все-таки не обойтись нам без народовольцев. Хотя бы без одной из этой бесстрашной дружины, без Веры Ивановны Засулич. Здесь, конечно, многие сразу же припомнят, что она стреляла в какого-то там тирана, а благородный суд ее оправдал — настолько русскому человеку уже тогда были ненавистны тиранов короны и миры храбрецы, в упор палящие по этим коронам из «смитвессонов». Уточню кое-какие подробности. Летом 1877 года санкт-петербургский градоначальник Трепов приказал посечь розгами заключенного Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапки, ну, и сказали еще Трепову в ответ на его замечание: тиран, мол, ты и сатрап, волк позорный — что-то в этом роде. Вот Трепов и обиделся.

Сечь людей розгами, разумеется, нехорошо — кто же спорит? Но вот я пишу это, а по телевизору показывают новехонький фильм о последней войне по роману небезызвестного И. Стаднюка. И там, на экране, прямо-таки в кабинете Берия двое его подручных молотят сапогами до полусмерти генерала Дмитрия Павлова. И хотя фильм с ангельски-умилительным Сталиным, в которого не без логики перевоплотился актер, ранее сыгравший Остапа Бендеря(!), вообще не заслуживает разговора, эта вот сцена избиения Павлова весьма выразительна и как-то, знаете ли, узнаваема. Еще раз повторю: я против пороков, но я втройне против того, чтобы за эти порки (да и за что бы то ни было) стрелять в людей, потому что такая эволюция может привести (и привела-таки!) только к тому, что заключенных вместо розог зверски бьют сапогами и пристреливают без суда и следствия. Во времена Засулич такое было немыслимо, и она в конце жизни еще могла сравнить «инквизиторский» суд Александра II с большевистскими ревтрибуналами.

Но не будем отвлекаться. Спустя полгода после случая с Боголюбовым Засулич приходит на прием к Трепову и в упор стреляет в него. Жестокий градоначальник тяжело ранен, стрелявшая схвачена. Еще через два месяца суд присяжных оправдывает ее под аплодисменты присутствующих и бурные восторги общественности. Засулич тут же растворяется в толпе, а вскоре исчезает из страны и объявляется в Швейцарии. Благородный подвиг совершен, злодей наказан, хотя и не убит (понятно, что, стреляя несколько раз в упор, Засулич имела в виду именно убить). В Швейцарии Вера Ивановна продолжает революционную деятель-

ность, входит в пятерку основателей знаменитой социал-демократической группы «Освобождение труда», переписывается с самими Марксом и Энгельсом, впервые переводит ряд их работ на русский язык...

За рубежом давно была известна трагикомическая история с одним из писем Маркса Засулич. В марте 1881 года, разъясняя Вере Ивановне некоторые ее недоумения, Маркс писал, что его теория, и в частности знаменитый «Капитал», создавались отнюдь не на материалах России и не для России, а в основном на английском материале и для Западной Европы. По мнению Маркса, для России и в России действовали совсем другие законы. Маркс полагал, что будущая революция в России примет сугубо крестьянский характер, и в основу преображенской страны ляжет крестьянская община. Жизнь, правда, показала, что не только Россия не поняла Маркса, но и он не понял ее, ибо все произошло совсем не так. Дело, однако, сейчас не в этом, а в том, что Засулич и Плеханов (письмо Марксу было написано по его поручению) попросту скрыли ответ Основоположника, сделав все, чтобы о его содержании никто не узнал. Причина проста: написанное Марксом катастрофическое не совпадало с проектами переустройства общества, замышляемыми вдали от родины русскими «марксистами».

Тем временем их новое поколение уже подросло в России, возникла РСДРП, еще без «б». А вот в 1903 году, на II съезде, когда партия раскололась и выскочило это самое «б», Вера Ивановна оказалась в рядах меньшевиков. Ну, тогда-то казалось, что раскол — дело временное, милье бранятся — только тешатся. Однако отношения «б» и «м» становились все более напряженными, стороны все меньше стеснялись в выражениях, когда надо было в чем-то уличить противников. А Засулич сразу же после объявления сотни раз проклятого нашими историками царского манифеста 17 октября 1905 года, в первый и пока что, если говорить всерьез, в последний раз даровавшего нашему отечеству демократические свободы, вернулась в Россию и — представьте себе! — до ноября 1917 года жила там в свое удовольствие, не имея никаких проблем. Но дело до него, до 17-го года, все же докатилось.

Возвращаясь к тому моменту, когда либералы решили выразить протест против свирепствовавшей цензуры новой народной власти. В частности, Вера Ивановна, догадавшаяся, что стрелять в кого-нибудь уже поздновато, не то что в приснопамятные «александровско-вторые» времена, пишет гневную статью, не надеясь, конечно, усвистеть вчерашних коллег по сооружению светлого будущего, но рассчитывая хотя бы найти какой-то отклик у демократической общественности. И, надо прямо сказать, высказывает при этом прелюбопытнейшие соображения и прогнозы. «Защищать свободу печатного слова от Ленина с компанией можно только делом. Ни урезонить их, ни устыдить, ни запугать невозможно. Все, что можно сказать в защиту свободы, они и сами говорили и опять скажут при изменившихся обстоятельствах. А теперь они скажут, и послушная аудитория закричит: «Правильно!» — что свобода не для буржуев, они враги и их надо обуздывать. К буржуазии же присыплются все, кто не повторяет лозунгов Ленина... Но ведь нельзя господствовать при помощи одних штыков, на них нельзя сидеть, — твердят Ленину с момента его воцарения. — Пустяки: будь сидеть, пока в моск распоряжении есть штыки и ни у кого другого их нет... Я убеждена, что самым ненавистным для Ленина была бы не реставрация, а устроение и упрочение у нас свободного и сильного демократического государства того же типа, как все известные нам современные буржуазные демократии». Засулич далее высказывала надежду, что честные люди будут неустанно бороться с этой новой деспотией, и их борьба докажет, «что кроме деспотов и рабов в России есть граждане, много граждан, держащих достоинством и честью своей страны, ее свободой больше, чем своим личным спокойствием, по-вседневным благополучием... В России, прожившей семь месяцев на полной свободе (т. е. между Февральской и Октябрьской революциями). — С. Б.), свободное слово не будет убито, и Ленину, и Бонч-Бруевичу его не доконать». Ах, Вера Ивановна, Вера Ивановна, вашими бы устами...

По-человечески негодование Засулич понятно. Новая власть откровенно считала, что ей все позволено, и действовала соответственно. Но ведь и сама Вера Ивановна считала, что ей и ее товарищам все позволено, когда они палили в губернаторов и градоначальников, взрывали царские поезда, дома и кареты, не считаясь с множеством случайных жертв (о том, что и самого царя убивать было не по-людски,

не по-христиански, я уж не говорю), когда убили в гроте парка нынешней Тимирязевки несчастного студента Иванова, и содрогнувшийся Достоевский увековечил этот славный подвиг в «Бесах»... Цензура? Плохо, отвратительно, трусливо. Закрытие газет? Еще гаже, ибо все это — посягательство на свободную мысль, на свободный выбор. Но разве сама Вера Ивановна с друзьями не действовала по тому же принципу, когда прятала от остальных «партайгеноссе» наиважнейшее письмо Маркса? То-то и оно.

Ничто на земле не проходит бесследно, разрушающий будет раздавлен, и любая оплошность, тем паче — преступление, возвращаются к нам бумерангом, больно, порой на смерть бьющим по темени. Можно называть сотни причин трагического раскола в нашем обществе, по малому счету начатого Октябрьской революцией и гражданской войной (а по большому — значительно раньше), но в основе этого раскола лежат, как ни крути, причины, выражаясь по-современному, гуманитарные. Одни хотели просто жить и делать свое дело: строить, пахать землю, врачевать, писать книги... Другие хотели, чтобы и пахота, и строительство, и литература стали «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Не интеллигенции, не либеральной буржуазии, а именно рабочего класса! Преобразователям мира не терпелось превратить народ хотя бы одной паки страны в послушное им войско, для которого существует только один закон — приказ начальника. Вот здесь, говоря по-простому, и лежит граница раскола, затуманенная с тех пор лабиринтобразными теориями, растиражированными в десятках, сотнях миллионов учебников и книг, насквозь фальшивых кинофильмов. А тогда, 73 года назад, все было просто: война в обществе не могла не начаться, потому что преобразователи уже твердо решили добиться своего, а наиболее активная часть их будущих жертв, почуяв, а потом и воочию увидев опасность, все же нашла в себе силы кое-как мобилизоваться и изготовиться к сопротивлению.

И началась война. Официальная история относит это начало то к февралю 18-го, когда красногвардейцы якобы «разбили» немецкие войска под Пskовом и Нарвой (на самом деле как раз в эти дни остатки разваливающейся армии стремительно отступали на восток, а немцы преследованием заняли и Псков и Нарву), то к высадке спустя месяц в Мурманске небольшого англо-французского десанта, то к началу мятежа «белочехов» (25 мая). Но все эти даты и события вторичны. По сути дела, война началась с момента рождения новой власти. Сам по себе переворот в Петрограде был практически бескровным, если не считать пятидесяти человек, застреленных у Зимнего дворца. Но идея насилия, исповедуемая большевиками, стала воплощаться мгновенно. Попрание свободы печати, столь возмущившее Засулич, было цветочками. Почти одновременно появились и ягодки: аресты и расстрелы, вначале не столь уж частые, но число их стремительно росло, вскоре превысив все мыслимые и немыслимые пределы.

Первыми жертвами государства, сначала фактически, а потом и вполне официально взявшего на вооружение террор против своих подданных, были офицеры и «буржуи», которых определяли по более или менее богатой одежде (шубе, например), очкам, просто по интеллигентному выражению лица. Арестовать и расстрелять могли за «хранение оружия» (читай: за старую шашку у какого-нибудь отставного полковника), за «спекуляцию» (попробуй-ка не подожни от голода в то время, не продав что-нибудь из старья, — вот и спекуляция!), за «саботаж» (врачей нет, лекарств нет, не вышел пару дней на службу — саботажник!), наконец, вовсе ни за что, «под настроение»: «Рожа мне твоя не нравится!».

Впрочем, такой поворот событий отчасти предсказывала и Вера Ивановна. Но даже ей не дано было предугадать, что большевики при случае будут расстреливать и рабочих, «сознательный авангард». Примеры? Да сколько угодно! В первые же послеоктябрьские недели рабочие демонстрации или митинги были расстреляны в Москве, в Туле, в Коврове, в Ростове-на-Дону... В последнем случае погибли и дети, а расстрелял руководил В. А. Антонов-Овсеенко, который возглавлял и взятие Зимнего дворца, а в 1939 году сам пал жертвой мясорубки, у истоков которой стоял. Наиболее известен расстрел рабочих в Петрограде, связанный с открытием Учредительного собрания. На выборах в него, состоявшихся в конце ноября — начале декабря 1917 года, большевики получили всего 25 процентов голосов, а эсеры — почти вдвое больше. На составе депутатов это отразилось

так: у большевиков — 178, у эсеров — 353. Если учесть, что не только эсера, но и депутаты от других партий были решительными противниками большевиков, то последних ждала однозначная перспектива — позорные поражения по любым вопросам.

Понимало это и население, понемногу обучавшееся азам политграмоты. 5 (18) января, в день, когда после нескольких переносов должно было открыться Учредительное собрание, улицы Петрограда заполнили многочисленные демонстрации под единым лозунгом: «Вся власть Учредительному собранию!». Большинство демонстрантов составляли рабочие. Загоря выставленные заслоны красногвардейцев в нескольких местах открыли по демонстрантам огонь. Число убитых было скрыто, но, по отзывам очевидцев, оно приближалось к сотне или даже превысило ее. Этот позорный факт замалчивается или извращается до сих пор. Судьба самого Учредительного собрания хорошо известна: оно открылось и работало до четырех часов утра, когда начальник охраны Таврического дворца матрос-анархист Анатолий Железняков легендарными словами: «Караул устал» прекратил его. В спешке решив снова собраться в 17 часов уже наступившего дня, депутаты разошлись. Но встретиться им не довелось: руководители большевиков, накануне во главе всей большевистской фракции покинувшие собрание вскоре после его начала, специальным декретом Совнаркома распустили Учредительное собрание.

Бесчинства новой власти вызывали разнообразные формы протеста. Были забастовки, демонстрации, многочисленные крестьянские восстания, которые порой приобретали характер локальных крестьянских войн. Протестовала и демократическая интеллигенция, орудиями которой были перо и бумага. За последние годы многие свидетельства этой неравной борьбы были опубликованы: «Окайные дни» Бунин, «Нессовременные мысли» Горького, письма Короленко к Луначарскому... Нашей читающей публике эти произведения достаточно хорошо известны, но я все же приведу несколько выдержек из них, чтобы нагляднее была видна схожесть оценок большевизма в общем-то совсем разными людьми.

Горького, например, ужаснула резолюция собрания моряков-краснофлотцев по поводу случайной гибели трех руководителей их отряда. С содроганием он читал строки этой резолюции: «За каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей, которые живут в светлых и роскошных дворцах». Но что взять с неграмотных моряков, озлобленных на каждого, кто лучше их одет и больше их ест? Понимая это, Горький приводил здесь же цитату из газеты «Правда», выпускавшейся ответственными и, во всяком случае, грамотными людьми. В связи с известным инцидентом, когда автомобиль Ленина обстреляли ночные бандиты, «Правда» 3 (16) января 1918 года писала: «...за каждую нашу голову — сотня ваших!». И никто не содрогнулся, не спросил: ну, почему, за что же сотня, за продырявленный радиатор, что ли? «Видимо, эта арифметика безумия и трусости,— писал Горький,— произвела должное впечатление на моряков,— вот они уже требуют не сотню, а тысячи голов за голову».

А в других заметках Горький ясно и лаконично высказывал свое отношение к большевистской революции в целом: «Наша революция дала простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовкой крышей монархии, и, в то же время, она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны... Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный на неудачу опыт производят комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть».

Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции». Комментировать здесь нечего, все ясно.

Практически то же самое писал о большевиках и Михаил Пришвин, правда,— что весьма знаменательно — еще за пару недель до взятия Зимнего: «Что же такое эти большевики, которых настоящая живая Россия всюду проклинает, и все-таки по всей России жизнь совершается под их давлением, в чем их сила? Многие теперь — и это в большой моде — называют их трусами, но это совершенно неверно.

Несомненно, в них есть какая-то идейная сила. В них есть величайшее напряжение воли, которое позволяет им подниматься высоко, высоко и с презрением смотреть на гибель тысяч своих же родных людей, на забвение, на какие-то вторые похороны наших родителей, на опустошение родной страны».

Как новые хозяева России воевали со старыми, мы, в общем, знаем. Знаем, что красные победили, можем назвать с десяток фамилий их командиров, все больше по кинофильмам: Чапаев, Щорс, Котовский, Пархоменко... Знаем про Буденного и Ворошилова, теперь вот про Блюхера и Тухачевского. Ну, а белых командиров наш средний гражданин припомнит максимум четверых: Колчака, Деникина, Врангеля да Юденича. Вот, пожалуй, и все. Маловато знаем о судьбоносном событии своей истории, во многом определившем весь наш дальнейший путь. И не в том даже беда, что маловато, а в том, что все в этих наших знаниях пересвернуто с ног на голову, от нас ускользнули основные герои этой войны, истина о них. Истина эта сейчас возвращается, но по каплям, по глоточкам, а утекала когда-то реками... Поколения родились и умерли, так и не узнав правды.

Потерялась, утонула в море лжи правда о такой колоритнейшей фигуре, как Нестор Иванович Махно. По нашей официальной мифологии гражданской войны, махновцы по сути своей были бандитами и, даже порой вступая в союз с красными армиями (это со вздохом приходится признавать), бандитами и оставались. На деле же и социальная база, и идеология махновского движения были сугубо крестьянскими. Помните, сколько лет мы с гордостью говорили, что на знаменах Октябрьской революции было написано: «Земля — крестьянам, мир — народам!»? И люди, которых мы презрительно именовали «махновцами», именно этого и хотели: земли и мира. Но им не дали ни того, ни другого, и потому крестьянин то занимался своим прямым делом — сеял, пахал и убирал урожай, то выхватывал из-под застежки винтовку и, взлетев на выпряженного из плуга коня, мчался воевать. С кем? С любым, кто хотел у него вот это отнять — мир и землю. Это было неуловимо и в каком-то смысле невидимое крестьянское войско, как в фильме А. Митты про Искремаса, но там это войско названо «бандой», ибо было оно «не с нами», стало быть, «против нас».

Переломным этапом войны была осень 19-го года. Писали о нем много, в кино показывали тоже достаточно, но суть осталась, так сказать, за кадром. Если кто-то читает мою статью не без интереса, рекомендую им взять в руки карту европейской части нашей страны. Вот Москва, там Кремль, правительство во главе с Лениным и Реввоенсовет во главе с Троцким. Теперь взглянем пониже, на юг. 31 августа деникинские части занимают Киев и широким фронтом движутся на северо-восток, к Москве и как бы в обхват ее. Заняты Орел, Курск, Воронеж, конные разъезды Деникина прорываются даже к Туле и Рязани, это уже совсем рядом с Москвой! Но 11 октября Красная Армия начинает контрнаступление по линии Харьков — Донбасс — Ростов-на-Дону, согласно плану, утвержденному ЦК РКП(б). До 1956 года этот план в школьных и вузовских учебниках числился «сталинским». Но нигде в учебниках толком не объяснено, почему же вдруг без каких-либо видимых причин только что отступавшая Красная Армия преобразилась и стала наступать. В иных работах, посолиднее, наши ученыe мужи писали, что Деникин, мол, оторвался от своих баз, наступление его выдохлось, крестьяне, ненавидевшие деникинцев и вообще белых (так считалось!), нападали на их небольшие отряды и обозы, дороги осенью стали непроезжими... Можно подумать, что красные скакали и маршировали по другим дорогам!

Впрочем, все названные причины присутствовали, но в очень небольших дозах, во всяком случае совершенно недостаточных для серьезного перелома ситуации на фронте. А была-то главная причина проще простого: не какие-то безымянные крестьяне с вилами и старенными винтовками, а хорошо оснащенные махновские войска на рубеже лета и осени 1919 года начали необыкновенный по силе и длительности рейд в самое сердце всего деникинского организма.

Деникин бросал против Махно свои лучшие корпуса, в частности Шкуро и Слацова (прототип генерала Хлудова из булгаковского «Бега», также интересная фигура), но Махно, нанося им тяжелые потери, всякий раз ухитрялся выскользнуть из расставленных сетей. Вы еще смотрите на карту? В те дни части Махно врывались в Полтаву, Кременчуг, Константиноград, Кривой Рог, доходили даже до Таганрога (глядите на карту и оценивайте расстояния!) к ставке Дени-

кина. Где-то там, в этой тачаночно-винтовочной лаве, скакал, стрелял и отстреливался мой дедушка Хачатур Погосевич. А может, и не стрелял, а сторожил какой-нибудь склад или трясясь в обозе... Я ничего этого не знаю и теперь уже не узнаю.

В конце концов опытнейший Слашов, которого Махно едва не захватил в плен вместе со всем его штабом под Екатеринославом, проникся уважением к Махно и даже говорил о нем: «Это противник, с которым не стыдно драться... Моя мечта — стать вторым Махно». Но победить, разгромить Махно Слашову так и не удалось. А начавшееся контрнаступление красных (как раз в тот момент, когда Махно полностью деморализовал тыл Деникина) создало новые проблемы, и белым было уже не до Махно.

А тот с неслыханными трофеями вернулся в свою «столицу», село Гуляй-Поле. В его окрестностях еще с весны 1918 года существовали сельскохозяйственные коммуны, основанные не на большевистском принципе равенства нищих, а на принципе равенства и взаимопомощи крестьян, рабочих и хозяев. Махновские коммунары пытались даже наладить обмен с рабочими городов продуктов на промышленные товары. Рабочие были только рады этому, но красноармейские заградотряды не пропускали друг к другу махновцев и горожан.

Здесь следует ясно сказать, что во всех эпизодах, когда махновцы вступали в союз с большевиками, руководство последних вело себя бесчестно и вероломно. Умело используя махновцев в угрожающих ситуациях, большевики мгновенно порывали с ними, сдав необходимость в строптивых помощниках отпадала. В последний раз Советская власть предложила Махно союз осенью 1920 года, когда понадобилось ворваться в Крым и добить Врангеля. «Не оставляет впечатление,— осторожно пишет современный историк В. Голованов,— что «соглашение» было не чем иным, как политической хитростью, направленной на то, чтобы привлечь Махно к взятию Крыма (махновцы шли вслед за красной пехотой через Сиваш), а потом захлопнуть там и разоружить под каким-нибудь предлогом».

Так и случилось. Едва Крым был взят и полторы сотни врангелевских транспортов еще дымили на горизонте, как махновской армии было приказано сдать оружие и «самораспуститься». И не успели еще махновцы так или иначе отреагировать на этот неожиданный приказ (то ли подчиняться, то ли отстреливаться), как из их рядов стали выдергивать командиров и без лишних слов расстреливать. Делалось все мгновенно, чтобы не дать опомниться. Все мы хорошо знаем, как воевала профессиональная Красная Армия в 1941 году, оставшись без расстрелянных перед войной командиров. Что же спрашивать с махновцев, по сути своей крестьян, хотя бы и посаженных на тачанки? Они стали разбегаться, значительную часть их поймали и расстреляли на месте. Сопротивление успели оказать лишь отдельные группы. Так, конный отряд Марченко, сабель в 200—250, расшиваясь карателей, унесся к Гуляй-Полю, тоже уже окруженному и уничтожаемому красными «союзниками». Приказы о вероломной расправе с махновцами отдавались Фрунзе, санкционировались сверху Троцким, ну, а решение принималось, естественно, политическим руководством — слишком уж серьезен был вопрос. Бежавший сначала в Румынию, а оттуда переехавший во Францию Махно умер в Париже в 1934 году.

Крайняя подозрительность большевиков, боязнь, что вот кто-то сейчас подкрадется и отнимет власть, шли бок о бок с ни на минуту не прекращавшимися репрессиями, масштабы которых тщательно скрывались, а то немногое, что все же выползло наружу, объявлялось «ответными мерами», чём-то вроде «самозащиты». Эпизод с парой выстрелов по автомобилю Ленина и требованием за это «сотен голов» уже приводился. Вот другой пример: в июле 1918 года в Петрограде неизвестно за что чекисты расстреляли группу молодых людей и среди них некоего Перельцевяга. Его приятель, молодой эсер Каннегиссер, 17 августа выследил начальника Петроградской ЧК Урицкого и застрелил его. Зеркальная ситуация по отношению к упомянутому выше эпизоду из биографии Веры Засулич с той только разницей, что ее знакомого посекли, живота отнюдь не лишая, чего не скажешь о Перельцевяге. Ну, Веру Ивановну-то, как мы помним, оправдали. А Каннегиссера расстреляли, заодно пристрелив и 500 (а по другим данным — даже 900!) заложников из офицерства и более или менее состоятельных классов. Нечего стрелять в начальника ЧК — это вам не царский градоначальник!

Загадок история гражданской войны и внутриполитические события тех лет таят в себе предостаточно. Остановлюсь еще на одном случае. О левоэсеровском мятеже 6 июля 1918 года, надеюсь, многие слышали. После того как на следующий день мятежные соединения были окончательно разгромлены, Ленин предпринял все меры к задержанию тех, кто сумел вырваться из кольца и бросился бежать прочь. «Волостным, деревенским и уездным Совдепам Московской губернии» было передано: «Разбитые банды восставших против Советской власти левых эсеров разбегаются по окрестностям. Убегают вожди всей этой авантюры. Принять все меры к поимке и задержанию дерзнувших восстать против Советской власти. Задерживать все автомобили. Везде опустить шлагбаумы на шоссе. Возле них сосредоточить вооруженные отряды местных рабочих и крестьян».

А в это время Троцкий приглашает к себе экс-полковника И. Вацетиса, который тогда еще был не главкомом, а командиром дивизии латышских стрелков, сыгравшей решающую роль в разгроме мятежа. В качестве награды за верную службу республике Вацетис получает от Троцкого... 10 тысяч рублей. Но при этом Троцкий произносит загадочную фразу: «Вы действовали по-солдатски прямолинейно и тем самым сорвали проведение важной политический комбинации». Что это означает? Поскольку принципиальных разногласий между Лениным и Троцким тогда не было, можно предположить, что большевистское руководство не планировало столь быстрый и решительный разгром левых эсеров. Но как же тогда быть с ленинской телеграммой, приведенной выше, и прочими его распоряжениями такого же рода? Не навязывая никому своего суждения, рискну предположить следующее: Ленин, с самого начала стремившийся к монопольной власти, использовал левоэсеровский мятеж для окончательного и бесповоротного уничтожения «коалиции», тогда как Троцкий, по-видимому, хотел спустить этот конфликт на тормозах, дабы сохранять коалицию и впредь. Не забудем при этом и то, что Троцкий был противником Брестского мира, из-за которого весь левоэсеровский «сырб» и разгорелся. Загадка...\*

Кровавая эпопея истерзавшей Россию войны подходила к концу. Когда ударные отряды красноармейцев и махновцев прорвались через перекопские укрепления и стали распространяться по Крыму, стало очевидным, что наступает агония с однозначным исходом. Еще пытался что-то исправить генерал Слашов, несколько раз советовавший Врангелю, погрузив армию на суда, направить ее не в спасительный Константинополь, а десантировать в красном тылу...

Трек лозунгов, к месту и не к месту прославляющих «героический советский народ — строитель коммунизма», давно уже отшиб у нас и память, и слух. Между тем народ был и остается главным действующим лицом любых маломальских масштабных событий. Именно он, народ, «на той единственной, гражданской», воюя по обе линии фронта, определил победу одних и крах других, выйдя из войны и жертвой, и победителем (впрочем, жертвами вскоре стали и те, кто считал себя победителем). Лозунги большевиков были понятны и заманчивы, они завораживали, им хотелось верить. Сказывался чисто психологический момент: прежнюю жизнь, чрезвычайно осложнившуюся тремя годами империалистической войны (пока ее еще не превратили в гражданскую), народ уже повидал...

Последовавшие вслед за этим три года еще одной войны, теперь уже гражданской (как и было предназначено: «Превратить!», будто одной войны народу мало), счастья не принесли, скорее напротив. Но была уже инерция веры, с которой русский народ издавна привык жить столетиями, что уж там какие-то три года... С другой стороны, в обстановке кровавой неразберихи ничего существенного не могли дать народу и белые, которые в своей массе, естественно, не были ни ангелами, ни благородными рыцарями. «Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения», — писал Деникин. — Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь». В числе таких «явлений» Деникин называет вызванное отвратительным снабжением войск их «стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи», проще говоря — мародерство. Деникин обвинял Краснова и Врангеля в том, что они любили «сыграть на этой струнке», нередко обещая войскам, особенно

\* Интересные соображения на этот счет привел недавно В. Голованов (см. «Литературная газета», 4 и 18 июля с.г.).

падким до этого казакам, «богатую добычу». Стоит ли пояснять, как реагировало на такое «самоснабжение» гражданское население?

Две основные силы гражданской войны, красные и белые, реально так и не смогли в ходе войны дать народу никаких принципиально новых благ в сравнении с теми, которые существовали ранее. Но за красными, повторяю, как за силой новой, еще позволяющей надеяться на некие блага (тем более, что они были громогласно обещаны), было серьезное психологическое преимущество. Когда после более или менее сносной жизни нескольких послевоенных лет крестьян в конце 20-х стали сгонять в военизированные колхозы, а непокорных «раскулачивать», ни Махно, ни Деникина в виде альтернативы уже поблизости не было...

Начинался новый этап российской трагедии. «Горячая» гражданская война окончилась, на смену ей пришла холодная. Все глубже пускали корни конфликты в обществе, все решительнее и чаще вздымалась над народом карающий меч ЧК. Впрочем, карательные органы неизменно контролировались и направлялись партией, ее руководством.

Уже никто не вздрагивал при виде длинных списков расстрелянных, время от времени (но все реже: гласность, подобно Снегурочке, испарялась на глазах) публикуемых в газетах. В августе 1921 года по сфабрикованному обвинению за участие в мифическом «заговоре Таганцева» был в числе других 60 «заговорщиков» казнен великий русский поэт Гумилев. Спустя год из РСФСР насилию выслали более 160 (точной цифры нет, называют разные) талантливейших ученых: философов, экономистов, историков, биологов, врачей... Перед высылкой их вызывали «для беседы» в ВЧК — поглядеть, не зря ли выпускаем. Надо было еще и специальную анкету заполнить, тоже с подковыркой составленную. Вот за стол уселся замечательный писатель Михаил Осоргин, о существовании которого наше общество до последнего времени слыхивало. Первый вопрос в анкете был такой: «Как вы относитесь к Советской власти?».

Михаил Андреевич вздохнул и честно написал: «С удивлением».

## 2. Предчувствие гражданского прозрения

Шли годы, кровь и кошмары забывались, уходили в прошлое... Миновала еще одна война, пережило общество и новый, неподвластный тому, юному ЧК, виток репрессий (пережили, правда, те, кто пережил), продержались кое-как сквозь застойные годы и все еще живем. Только вот за давностью лет гражданская война мало-помалу приобрела у нас какой-то романтический, этакий вальтерскоттовский ореол. Тут и кинофильмы соответствующие, и песни... У меня, впрочем, нет претензий к школьникам и пэтизщикам, толпами посещающим такие кинофильмы и распевающим эти песенки. Можно понять даже кинокритиков, которые стыдливо пишут, что, мол, лучше уж пусть ребята смотрят «про наших», чем про какого-нибудь «ихнего» Рэмбо. Можно понять и кинорежиссеров, лепящих такие фильмы, как блины: рынок есть рынок.

От «подрастающего поколения» смешно требовать как-либо нравственности, если, скажем, в не таком уж давнем сериале о «мстителях» бравые красные юнцы беззаботно щелкали из маузеров один десяток «беляков» за другим. Да, фильм старый, так ведь и новые такие же. Вот прокрутили по коммерческой программе ТВ очередной киноконцерт: куда-то скачут гардемарини, фехтуют мушкетеры (от этого хоть вреда никакого, как была в голове пустота — так и осталась), а за ними появляется зеленый фургон, на котором два хороших молодых актера, Харатьян и Соловьев, дубасят друг друга. И в этом беды нет, дубасьте себе на здоровье, это «смотрится». Но, Господи, что же там поют за кадром? Вот, извольте, цитирую дословно: «20-й год (2 раза) крест-накрест прошлое клинком (3 раза) перечеркнет!» Не надо, ребята, не перечеркивайте клинком прошлое, даже если вам за это заплатят валютой.

У кого-то мое занудство, возможно, вызовет улыбку, но, поверьте, это серьезно. Никакой Элвис Пресли, никакие современные западные певцы никогда не произнесли бы таких слов. Они могут петь пошлятину, могут движениями бедер изображать условный половой акт, могут выйти на сцену с голой задницей, но чтобы перечеркивать свое прошлое? Нет, это возможно только у нас и только потому, что мы очень долго и последовательно действительно перечеркивали его, прошлое. Но теперь-то зачем?

С давних пор намертво впечатались в память слова: «Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Лишь только прах легким столбом еще вился на краю обрыва». Ну что, казалось бы, особенного в этих словах, ну, убил Печорин Грушницкого, можно его пожалеть, а можно и не жалеть — никчемный, в общем-то, был человечишко... Но я не думаю ни о Печорине, ни о Грушницком, просто в меня две эти фразы всегда вселяли ужас: вот был человек, только что стоял на этой самой площадке, а остался один дым... Сгоревшая судьба, несостоявшееся будущее.

Когда я думаю о постыдной участи нашего народа, у меня все-таки возникает не образ хмельного бандюга с кастетом, который волей-неволей вырисовывается у посмотревших на шумевший фильм С. Говорухина, а некое ветхое подобие Акакия Акакиевича, робко и беззащитно смотрящего в лицо своим мучителям и шепчущего: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

Не отдавая себе отчета в направлении и в истоках пути, по которому мы путешествуем в будущее, мы будем навек обречены ходить кругами, зигзагами, но никак не по искомой прямой. И если говорить об истоках, о корнях, нам придется опять вспоминать о народовольцах и об их времени. Несколько слов о довольно яркой фигуре из этой когорты, Сергее Нечаеве, лидере организации, именовавшей себя «Народная расправа».

21 ноября (3 декабря) 1869 года члены этой организации убили (они говорили: казнили) своего недавнего товарища, студента Иванова, за то, что он, разобравшись в их намерениях, отказался от дальнейшего сотрудничества. Это событие потрясло российское общество. До этого убивали бандиты и разбойники, убивали на дуэли, царь повесил 43 года назад пятерых декабристов, но убивать человека за то, что у него иные взгляды? Это было неслыханно. Бежав через некоторое время после убийства Иванова за границу, Нечаев создал там «Катехизис революционера» (иногда считают, что в его составлении участвовал и Бакунин, хотя сохранившийся текст написан рукой Нечаева). Вот какую судьбу придумали Нечаев себе и своим товарищам: «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено (именно так писал этот полуграмотный преобразователь мира. — С. Б.) единственным исключительным интересом, единую мыслию, единую страстью — революцией... Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, обсчетпринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы его вернее разрушить... Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя... Он презирает обсчетственное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и проявлениях нынешнюю обсчетственную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции». Зачем же Нечаеву разрушение «поганого» строя, в чем его претензии?

Да им любой строй, любой социальный организм костью стоял поперек горла, потому что издавна государственный механизм и все его структуры совершенствовались постепенно, эволюционно, бережно вбирая в себя и перерабатывая весь опыт, накапливаемый веками. А нечайевы хотели все разрушить, переломать, разграбить, сжечь и на этих перекошенных, обугленных обломках построить неведомо что. А скорее всего ничего и не стали бы строить, потому что никогда революции, кроме хаоса, бардака и потоков крови (это уж был признак неприменимый!), ничего не приносили. Что построил Кромвель, вождь Английской революции? Да ничего, только совершенствовал армию, без которой он и дня бы не продержался. Что принесли народу Франции якобинцы? Одни лишь горы трупов, а все вроде бы прогрессивные декларации были еще раньше в том или ином виде сформулированы мыслителями Англии, Америки, той же Франции, но без кровавой резни собственного народа и бесконечных войн против всего мира. Америка? Но там не было революций. Просто американцы порой склонны к преувеличениям, и многие из историки именуют «революциями» национально-освободительную войну против англичан да еще внутреннюю междоусобную войну Севера и Юга. А строй в Америке как был капиталистическим, так и остался, это уникальная страна, вообще не знавшая феодализма.

А что же строили и строим мы? Недавно «Учительская газета» предложила своим читателям ответить на вопрос:

что такое демократический социализм? Ответы, конечно, были разными, но больше всего мне понравился один. Мальчик Саша из Молдовы (возраст не указан) считает так: «Демократический социализм — это справедливый социализм, который в будущем будет в нашей стране. Тогда мама будет давать мне денег на мороженое и кино. А пока она получает в детском садике лишь 95 рублей в месяц». Мальчишка, который мечтает иметь возможность ходить в кино и есть мороженое, который, наверное, будет на седьмом небе от счастья, если его мама станет получать жалкие сотни полторы, — это ли не пощечина тем, кто дал нашим детям такие мечты? Да что там детям, у нас миллионы стариков, инвалидов, бродят о тех же 95 рублях могут только мечтать! Такой у нас демократический социализм. А те, кто ничего не свергал и не разрушал до основания, давно уже живут райской (во всяком случае, по сравнению с нами) жизнью и мало беспокоятся о том, какой там у них «изм».

Среди тех, кто когда-то скопливал наши сегодняшний корабль, была часть людей (я говорю «часть», потому что давно очевидно наличие среди них откровенных проходимцев и негодяев), свято веривших, что они вырываются из оков и освобождают наш многострадальный народ. Но миллионам ни в чем не повинных людей, исковерканных, раздавленных, перемолотых в порошок созданным ими аппаратом насилия и лжи, да и нам, с младых ногтей живущим от зарплаты до зарплаты (сначала папиных-маминых, потом собственных), от одного пустого прилавка до другого, в общем-то, давно уже все равно, что они там замышляли в своем туманном далеке и чего хотели. Нам важно, что получилось. А что получилось — сами видите. Как сказал, хотя и по другому поводу, Гайдар: «И все бы хорошо, да что-то некорошо».

Впрочем, все, о чем я написал в предыдущем абзаце, по нашим официальным меркам, не касается Ленина, личность и заветами которого с незапамятных времен меряются у нас все успехи и неудачи.

Ограничусь лишь скжатой подборкой характерных высказываний Ленина, из которых, думаю, хорошо будут видны приемы и методы, представлявшиеся ему надежными и проверенными для достижения наивысших идеалов. Вот август 1918 года. 9-го числа Ленин диктует телеграмму в Пензу: «Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». В тот же день летит телеграмма и в Нижний Новгород: «Надо напрочь все силы, составить тройку диктаторов..., навести тотчас массовый террор, *расстрелять и вывезти сотни* проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления».

20-го направляется телеграмма в Ливенский исполком: «Необходимо ковать железо, пока горячо и, не упуская ни минуты, организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту...» А 22-го — телеграмма в Саратов: «Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». Да, бурным был август 1918 года. И, что знаменательно, красный террор официально тогда еще не был объявлен, это случилось только 5 сентября.

А вот широко известная телеграмма Ленина Г. Зиновьеву от 26 июня 1918 года: «Только сегодня мы услыхали в ЦК, что Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы... удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Свода массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрять энергию и массовидность террора...»

Зарубежные исследователи многократно ссылались на ленинское письмо В. М. Молотову от 19 марта 1922 года по поводу репрессий в отношении духовенства. В «полном» собрании сочинений Ленина такого письма нет, а Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, монополизирующий у нас все, так или иначе касающееся ленинских публикаций, заявлял, что и в его закромах ничего такого нет, и, стало быть, западные публикаторы подсовывают доверчивым читателям фальшивку. Но вот наступает апрель нынешнего года, и сразу три издания, журналы «Известия ЦК КПСС» и «Наш современник», а также еженедельник «Собеседник», публикуют «несуществующее» письмо. Ну, Институту марксизма-ленинизма пережить это нетрудно, тем более что

искомое письмо в институте все время и хранилось. Подумашь: сначала не нашли, а потом взяли и нашли, с кем не бывает!

Что же там, в загадочном письме? О, его надо читать целиком и внимательно, строчку за строчкой. Ну, а я не удержусь и приведу-таки пару фраз: «...Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был поведен с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров... Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

Письмо это вызвало у общественности некоторое удивление. Ну, вроде как у Михаила Андреевича Осоргина Советская власть. В «Собеседнике» была опубликована подборка откликов, в числе которых примечательна реакция пожилых людей, как известно, наиболее стойких в смысле охраны основ. 67-летний читатель из Люберца пишет по поводу сенсационной ленинской публикации: «Это что-то ужасное!» А «комсомолец 40-х» из Омской области и вовсе заявляет: «Даже за одно это коварное письмо безнравственно читать этого человека».

А общество бурлит, предштормовые волны ходят по нему туда-сюда, обостряя старые конфликты, будя новые. Возникли антагонизмы, которых основоположники марксизма и вообразить не могли: продавцы — покупатели, таксисты — пассажиры, вахтеры, швейцары и т. д. — посетители, москвичи — немосквичи, жители окраин — жители центра (в одном и том же городе), зарабатывающие выше уровня «Х» (скажем, рублей 300—400) — зарабатывающие ниже уровня «Х»... Что происходит? Почему нельзя просто работать, просто отдыхать, просто любить, просто плюнуть с досады, не найдя в магазинах того-сего или вовсе ничего, но не грозить при этом кулаком в сторону «врагов» (москвичей, кооператоров, номенклатуры и т. д. и т. п.)? Слава Богу, что у нас не продают оружия (впрочем, кому надо — тот достанет), иначе немедленно началась бы «пятилетка открытых убийств» по образу и подобию знаменитой повести Юлия Даниэля. Я часто подхожу к «тусовке» на Пушкинской площади — поглядеть, что и как, купить полюбившиеся неформальные издания, «Гражданское достоинство», например... Но от текстов, которые несутся там с разных сторон на истерическом надрыве, порой кажется, что мы все уже попали в 1993 год, предсказанный нам в «Невозращенце» Александра Кабакова. Народ запуган и озлоблен, и оба этих процесса, страх и озлобление, идут по нарастающей. Кому это нужно, неужели все это лишь плод стихийных процессов?

Вот Гарри Каспаров говорит, что наши национальные конфликты последнего времени планируются сверху, не всем, конечно, «верхом», а теми, кто цепляется за методы вчерашнего дня и страшится быть отброшенным в этот вчерашний день, где им по справедливости и место. «Пока люди убивают друг друга, — говорит знаменитый шахматист, — есть надежда, что как-то власть продержится. Хотя надежда совершенно самоубийственная, потому что вооруженные люди рано или поздно обратят свое внимание на самые большие здания в городе, а самые большие здания обычно принадлежат власти. Люди придут к выводу, что именно там есть подлинное зло и с ним надо бороться, а бороться они умеют одним способом. Поэтому-то и важно сделать вот эту идею отрицания не разрушительной, а парламентской, не дав ей вырваться на улицу, никакой разницы между 17-м годом и 90-м не будет».

Примерно того же опасается и публицист Виктория Чаликова: «Как хочется думать, что гражданская война, начавшаяся 70 лет назад, кончается, что Фергана, Баку и Карабах — ее последние вспышки...»

Мне хочется думать так же. Слишком болят еще старые раны, и не высохла кровь миллионов жертв. Пускай певцы предчувствуют граждансскую войну — я предчувствую гражданское прозрение. Слишком уж дорогой ценой оплачена прошлая война, тянувшаяся восьмое десятилетие. Нам отступать уже некуда, позади — несостоявшееся будущее наших отцов и дедов, наше собственное будущее, которое еще может состояться. Зависит это только от нас.

### ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СТЕПАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛОСОСИНОВА

*Весельчак, острослов, друг М. Булгакова — Сергей Сергеевич Заяцкий (1893—1930). В двадцатые годы это имя было хорошо известно читающей публике. Прозаик, драматург, поэт, переводчик. А вот здоровьем, увы, судьба его обделила. Горбун, с детства болел костным туберкулезом, от него и скончался в пушкинском возрасте.*

*С. Заяцкий оставил небольшое по объему, но яркое литературное наследие. Зачастую его сатирическими персонажами являлись буржуазные интеллигенты, так либо иначе пытающиеся пристосоваться к послереволюционным передрягам. «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова» имеет подзаголовок — трагикомическое сочинение. Оно издано в 1928 году тиражом семь тысяч экземпляров, и вряд ли сейчас кто-нибудь из поклонников юмора может назвать его своей настольной книгой. Произведение же заслуживает внимания. Предлагаем читателям познакомиться с главами третьей части повести.*

*Надо сказать, в книге встречаются орфографические да и редакторские огрыхи, правописание некоторых слов сейчас изменилось. Однако мы умышленно ничего не поправляли — будем считать эту публикацию репринтной.*

Рисунок Сергея Тюнина

#### Глава I Очки унижения

Когда произошла Февральская революция, муж Нины Петровны был назначен товарищем министра и отбыл в Петроград, облив слезами свою коллекцию слонов. Так как Нина Петровна не выносила петроградского климата, то она осталась в Москве, а так как после революции ей одной жить в особняке стало страшно, то она уговорила Степана Александровича переехать к ней, на что тот из джентльменства согласился. Ему была отведена комната, непосредственно примыкавшая к спальне Нины Петровны, так что, в случае нападения на дом толпы санкционотов, он мог одним прыжком очутиться рядом с охраняемой дамой. Для большей безопасности Нина Петровна никогда не запирала дверь со своей стороны, а полы устлала толстым ковром, дабы доблестный защитник ее мог появиться неслышно и внезапно, подобно карающему ангелу.

Из окон особняка, стоявшего в глубине двора, была видна радостная революционная толпа, ходившая взад и вперед с красными флагами, не без основания полагая, что подобное хождение в светлый весенний день многое приятнее всякого другого занятия. И все сочувствовали этой милой толпе. Даже больные в больницах, брошенные персоналом по случаю манифестации, и умирав-

шие вследствие отсутствия ухода, умирали радостно, сознавая, ради какого великого дела они покинуты. Родзянко и Гучков изнемогали под бременем популярности. В гостиных ругали Чхеидзе. Тогда же в одной из этих гостиных один грустный человек спросил хозяйку: «Что думаете вы о Ленине?» и получил в ответ: «По-моему Максимов лучше». Ибо разумели тогда под Лениным обычно актера Малого театра.

Степан Александрович революцию в общем принял. Он читал Нине Петровне вслух «Графиню Шарни» Дюма, а также Ипполита Тэна. Нина Петровна так нервничала от этих чтений, что Степану Александровичу приходилось проводить с нею круглые сутки, не покидая ее даже в ванной, так как, узнав историю Марата, Нина Петровна была убеждена, что ее убьют именно в ванне.

Да и нужно сказать, что прислуга большую часть времени проводила на митингах.

Вообще Степан Александрович отстал от общественной жизни, все время ходил в халате, очень пополнил и как-то потерял себя. Внутренний огонь, пожиравший его всю жизнь, вдруг угас, и у него незаметно стал вырастать второй подбородок, а в раздевом виде он стал походить уже не на одухотворенного факира, как прежде, а на моржа. В то время как вся Россия горела и возрождалась, гениальный человек, наоборот, брюзг и как бы впадал в ничтожество. Но кремень всегда кремень.

Стоит ударить по нему другим кремнем и блеснет искра. И вот этим вторым кремнем явился неожиданно никто другой, как Пантюша Соврищев.

Пантюша Соврищев с самого начала революции исчез.

Появился он внезапно у особняка Нины Петровны в конце октября 1917 года в 9 часов вечера. Шел дождь. Тщетно прозвонив и простучав у парадного хода минут десять, он отправился на черное крыльце, а по дороге заглянул в освещенную кухню. Он увидел зрелице, заставившее его слегка вскрикнуть от удивления: Степан Александрович находился один в кухне и видимо пытался поставить самовар. Подобрав полы халата, он безнадежно перебирал уголь, наложенный в ведро, потом взял ведро воды и вылил его в самоварную трубу, так что вода хлынула из поддувала и подмыла ему подошвы. Тогда Степан Александрович погрозил кулаком в пространство.

Соврищев не смотрел дальше, а через незапертый черный ход прошел в дом и прошел прямо в комнату Нины Петровны. Та лежала на постели навзничь в батистовой рубашечке с розовым бантиком на груди и, когда Пантюша вошел, раздраженно крикнула: «Готова вода?». Нина Петровна была без пинсы.

— Вы меня не узнаете, Нина Петровна, — сказал Пантюша, подходя к кровати.

Нина Петровна, вскрикнув «ах!», накинула на себя голубое одеяло и простонала:

— Недобрый. Разве можно так врваться?

— Я почему-то думал, что ваша спальня дальше, а потому и не постучался. Что с вами?

— Страшные боли в животе... Мне необходима грелка, а Степан Александрович возится с самоваром. Прислуга разбежалась по сбраживаниям.

— Нина Петровна, разрешите все же поцеловать вам ручку.

И Пантюша взял протянутую ему из-под одеяла дущистую ручку.

— Какие у вас горячие руки, — вскричала Нина Петровна.

— Это мое свойство... Они могут вполне заменить грелку.

— Не смейте так говорить! Нехороший, нехороший...

— Скажите, Нина Петровна, у вас боли здесь?

— Здесь.

— Ну так вам нужен легкий массаж... я ведь когда-то готовился в медики...

— Вретe?

— Ну, вот... я никогда не вру... Я прошел даже курсы пассивного норвежского массажа...

— Правда?.. а то меня все обманывают...

Но Пантюша уже разглаживал атласную кожу Нины Петровны.

— В самом деле мне уже лучше, — говорила она, — но вы правда медик?

— Вы же видите.

— Куда? Куда? Здесь у меня не болит.

— Сегодня не болит, заболит завтра...

Но внезапно раздавшиеся шаги прервали курс лечения. Пантиша стремительно отскочил в амбразуру окна, а Нина Петровна натянула до подбородка съехавшее было на пол одеяло.

Степан Александрович вошел не один, а с некоей госпожой Толстиной, дамой, не способной молчать ни при каких обстоятельствах

Вошедшие не заметили Пантишу.  
— Душечка, — вскричала Толстина, — вы знаете какой ужас? У Анны Дмитриевны повар оказался большевик и держит в кухне пулемет... На бедняжке Анне Дмитриевне лица нет... За одни сутки cette belle femme, parce qu'elle est vraiment belle<sup>1</sup>, превратилась в монстра... и прогнать нельзя, он лидер. Но вы больны? Что с вами? Чем вам помочь?..

— Воды нет горячей, — мрачно заметил Степан Александрович. В это время, обернувшись, он увидел своего друга.

— А, ты здесь? — произнес он с удивлением, но без особой радости.

— У меня уже все прошло, — заметила Нина Петровна, пока Пантиша целовал Толстиной руку.

— Не верьте! Не верьте этим внезапным улучшениям. Помните, как бедный Семен Павлович за пять минут до смерти почувствовал себя настолько хорошо, что по телефону вызвал цыган. В результате цыгане попали на панихиду. Но вы лежите дома? Без мужа?

— Нина Петровна сделала мне честь экстренно вызвать меня, — сказал Лососинов смузенено.

— Но вы разве врачи?

— Мы все на фронте стали немногими врачами.

— А в халате теперь ведь можно ходить по улицам, — глуповато заметил Соврищев, — тебя могли принять за бухару, за хи... хи... хивинца... вообще национальное меньшинство.

— Да, я так торопился, что не успел переодеться, — побагровев, произнес Степан Александрович и, закашлявшись, вышел из комнаты. Пантиша последовал за ним.

— Терпеть не могу этой дуры, — пробормотал Степан Александрович, разумея Толстину. — А тебя что принесло?

Пантиша Соврищев дерзко посмотрел на него.

— Я приехал за тобой, Лососинов, — сказал он, — твое поведение мне не нравится.

Степан Александрович вздрогнул и нахмурился.

— То есть? — глухо спросил он.

— Смотри, во что ты превратился, — нахально продолжал Пантиша, — я сам, голубчик, люблю женщин, но нельзя же ради них пренебрегать общественным долгом. Я лично дал себе слово не прикасаться руками ни к одной женщине, пока династия не будет восстановлена.

Степан Александрович даже весь задрожал от негодования.

— Ты будешь читать мне нотации! — презрительно сказал он.  
— Да, я! Поскольку я сейчас укрепляю российский трон, а ты только...

И Соврищев неприлично обозначил основное занятие Степана Александровича.

— Я прошу тебя не вторгаться в мою личную жизнь.

— Я не вторгаюсь, а говорю... Посмотри на себя в зеркало, на кого ты похож? Не то Фамусов какой-то, не то Аксаков. Российский император в плену у хамов, а ты...

— Дурак! Я, может быть, больше тебе страдаю...

— Докажи на деле.

— И докажу...

Пантиша дерзко хихикнул.

— В этом халате? Ну, прощай, меня ждут мои единомышленники. Я хотел тебя привлечь, но если тебе важнее баба...

— Идиот! Воображаю, что это за компания.

— Во всяком случае самоваров мы не ставим для дамских животов. Прощай!

— Подожди, в чем дело...

— Поедем, увидишь.

— Сейчас... я переоденусь... Хотя я уверен, что от тебя нельзя ждать ничего путного.

Пантиша ничего не ответил, но молча отогнул обшлаг пиджака. Там был вышит крошечный двуглавый орел, но не обицапанный, а как следует: орел с короной, державой и скипетром.

Степан Александрович побледнел от зависти, но нашел в себе силы недоверчиво усмехнуться. Затем он пошел одеваться.

На улицах было уже темно. Откуда-то доносились звуки Марсельезы и глухой грохот грузовиков, летящих во весь опор. Какая-то женщина пела во мраке:

Он бесстыдник, он срамник.  
Все целует в лицо  
Мой любезный большевик,  
А я меньшевика.

Степана Александровича слегка мучила совесть, ибо он ушел, ничего не сказав Нине Петровне, — она бы его не отпустила, боясь пролетариата. Правда, он сильно рассчитывал, что Толстина просидит еще часа три.

Они шли по темным переулкам между Арбатом и Пречистенкой. Внезапно Соврищев остановился и, вынув из кармана большие синие очки как у слепых, сказал:

— Надень!  
— Какого чорта?  
— Надень, говорю тебе!  
— Я в них ничего не вижу.  
— Это и требуется. Изображай слепого. Видишь, это конспиративная квартира, а мы еще не имеем основания доверять тебе.

— Дурак, я иду домой!  
— Прощай!  
— Постой!.. Ты хочешь скрыть от меня адрес?  
— Да.

Степан Александрович с ужасом

чувствовал, как Соврищев неуклонно берет над ним власть. Он мысленно проклял Нину Петровну.

— Я могу дать тебе слово...

— Милый мой, я действую по инструкции целой организации.

— Ну, чорт с тобой!

Степан Александрович надел очки. Стекла с внутренней стороны были заклеены чем-то, так что решительно ничего не было видно.

Пантиша взял его под руку и энергично поволок.

Степан Александрович слышал, как сказала какая-то женщина:

— Господи! Сколько людей покачели. Кто без глаз, кто без носа.

## Глава II Многоголовая гидра контр-революции

На особенный троекратный стук отворилась дверь, и торжественный радостный голос произнес, сильно каркав:

— Здравствуй, дорогой друг!

Степан Александрович снял очки. Они стояли в ярко освещенной передней, где по стенам висели гравюры и книжные полки. Человек небольшого роста в офицерской форме и с моноклем в глазу стоял с таинственной любезной улыбкой на полном бортом лице, опираясь на костицы.

— Лососинов, — сказал Пантиша.

Тогда военный, ковыляя, подошел к Степану Александровичу, взял его руку так, словно хотел прижать к сердцу, и сказал, все также грассируя «я» и картаю:

— Добро пожаловать, брат мой... Брат, ибо у нас одна мать — Россия!

И он заковылял на костицы, указывая дорогу.

Они прошли через уютную гостиную, тоже сплошь увшанную гравюрами и установленную старинной мебелью.

Александр Первый таинственно улыбался со стены.

Военный привел их в кабинет, такой же старинный, где Степан Александрович, к своему удивлению, увидел Грензена и князя. Еще какой-то юноша с лицом, как у лягушки, сидел в углу с гитарой и перебирал струны.

Грензен и князь приветствовали вновь прибывших.

Лягушкообразный юноша отложил гитару и шаркнул ногой, одновременно наклонив голову под прямым углом.

— Лев Сергеевич Безельский, — сказал Соврищев, указывая на хозяина.

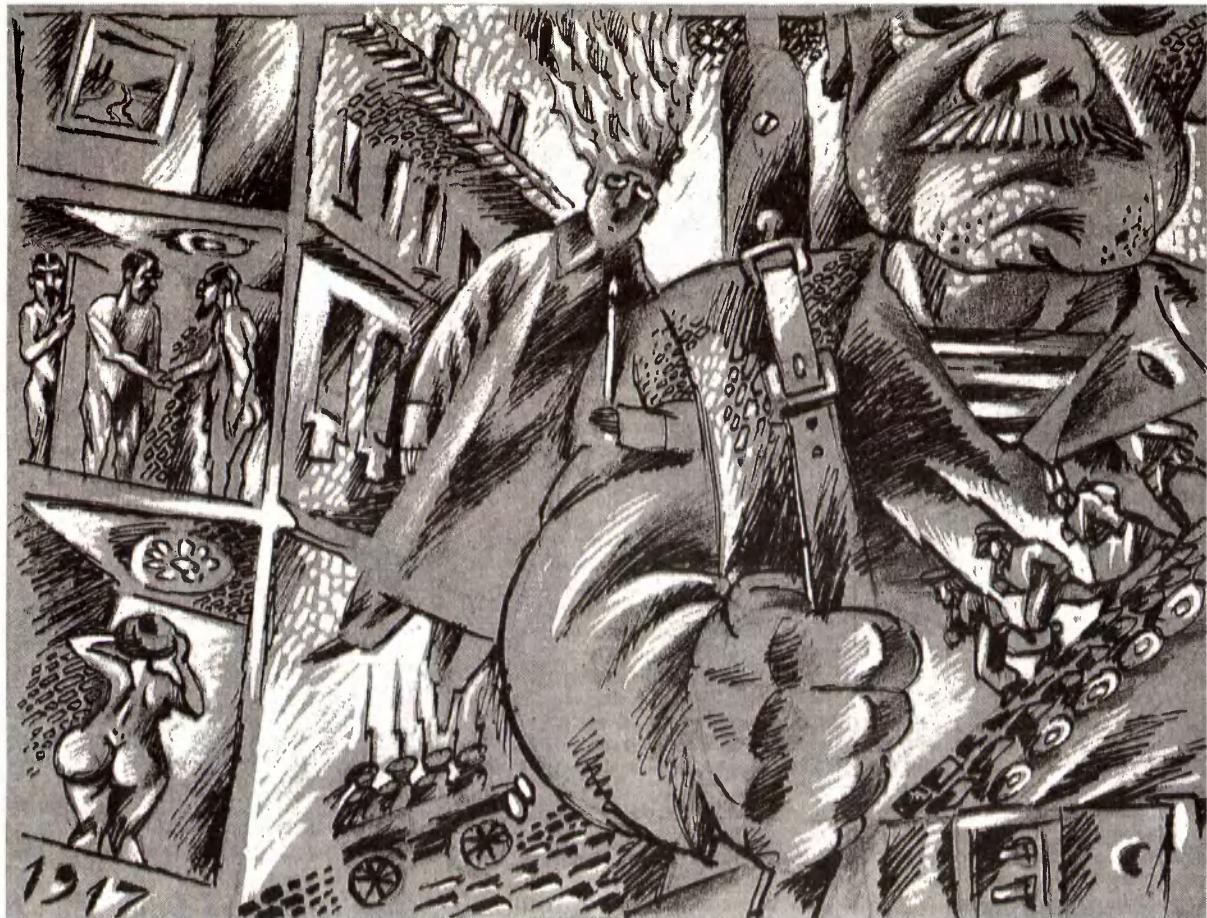
— Как, — вскричал тот, — и ты не сказал, куда ты ведешь своего друга и нашего брата! О, Талейран! О, хитрый из дипломатов!

И он вновь поднес руку Степана Александровича к своему сердцу.

Затем все сели на диваны, причем Безельский подвинул гостям ящик сигар, а сам взял длинную до полу трубку.

— Филька! — крикнул он и стукнул костицем об пол.

<sup>1</sup> Эта прекрасная женщина — так как она действительно прекрасна.



Мальчик в серой куртке с позументами вошел в комнату и, улыбаясь, помог барину раскурить трубку.

Безельский положил больную ногу на бархатную подушку и пустил целое облако ароматного дыма.

— Et bien,— сказал он.— Baron! Des nouvelles<sup>1</sup>.

— Я неделю тому назад вернулся из Санкт-Петербурга,— заговорил юноша, кривя лягушачий рот,— церкви полны народом и все ненавидят временное правительство. Керенский явно сошел с ума. Мой дядя — барон Гофф — он его знает — и он тоже говорит, что он сумасшедший. Недавно он хотел прогнать своего шофера, а тот оказался большевиком, и Керенский стрисил и извинился. Дядя говорит, что он вообще трус и подлец.

— Грензен,— сказал Безельский, обращаясь к Грензену,— тебе не трудно выдвинуть тот ящик... первый от тебя... Что ты там видишь?

— Веревку,— сказал Грензен вежливо и удивленно.

— Достань ее.

Грензен достал из ящика довольно длинную веревку, вроде той, которой увязывают дорожные корзины. На одном конце веревки была сделана мертвава петля.

— Это мой подарок Керенскому,— сказал Безельский,— пока спрячь!

Все умолкли, а Пантиюша украдкой

с торжеством поглядел на Степана Александровича. Но в глазах у того уже горел внезапно вспыхнувший с новой силой огонь, и чуял Пантиюша, что недолго ему властвовать. Ибо, по счастливому выражению, гений лишь на секунду может быть рабом.

Когда часа через два они вышли от Безельского, получив каждый инструкцию как действовать, если что-нибудь случится и если ничего не случится, Степан Александрович, к удивлению Соврищева, пошел по направлению к своему месту жительства, т. е. в сторону, противоположную той, где жила опекаемая им особа. Прощаюсь, Лососинов пожал руку Пантиюше, на что тот сказал:

— Я ж тебе говорил, что общественная деятельность лучше всего этого дамья.

Они расстались. Была дождливая осенняя ночь. Люди притаились, и на улицах было пусто. Издали, со стороны Кремля донесся вдруг выстрел. Пантиюша невольно ускорил шаг, вернее даже побежал и побежал он к Нине Петровне, отчасти потому, что это было ближе, но главным образом потому, что его мучила совесть: как-никак это он отбил у Нины Петровны ее защитника.

Второй выстрел, раздавшийся в сырой мгле, как бы подтвердил правильность принятого им решения. Через полчаса, расстелив перед камином стеганое ватное одеяло, Пантиюша и Нина Петровна играли

в «пляж». Иллюзию несколько нарушило отсутствие на них купальных костюмов, но это было легко дополнить воображением.

Вдруг у самой двери послышались шаги. Пантиюша бросился в гардероб, а Нина Петровна едва успела запихнуть одеяло под кровать.

Степан Александрович, движимый также укорами совести, решил вернуться к несчастной аристократке.

— В Москве стреляют,— мрачно сказал он, покосившись на одеяло у камина и на лежащую на нем, так сказать, Венеру.— А, это хорошая идея! — продолжал он,— на дворе сырь и холодно.

С этими словами он медленно разделялся, закурил папиросу и с суровым видом растянулся на одеяле.

— Нина Петровна,— сказал он,— я вступил в боевую монархическую организацию, с минуты на минуту я могу кого-нибудь убить, но и меня также могут убить с минуты на минуту; сейчас я принадлежу истории, я обречен, такие люди не должны иметь привязанности, поэтому между нами не может быть прежних отношений.

Сказав так, он покосился на Нину Петровну, но она лежала совершенно спокойно и почти спала. Она промычала что-то неопределенное, что крайне не соответствовало ее обычно бурному темпераменту.

— Ну, я очень рад, что вы так к этому относитесь,— с некоторой

<sup>1</sup> Итак, барон! Новости!

досадой пробормотал Степан Александрович, и вдруг оба вскочили. По залу опять раздались поспешные шаги и направлялись к дверям спальни.

— Муж! — воскликнула Нина Петровна и принялась швырять под кровать части одеяния Степана Александровича, который с быстрой молнией устремился к гардеробу и исчез в его недрах.

— Ты каким образом? — встретила Нина Петровна своего мужа. — Только не трогай меня холодными руками.

— Прости, что я не известил тебя о своем приезде, — произнес тот, сдувая пыль со стоявшего на камине слона, — но у нас в Петербурге бог знает что сделалось. Совет рабочих депутатов захватил власть. Керенский, говорят, бежал, переодевшись кормилицей. Ленин! Мы все подумали и разбежались. В Москве тоже что-то неладное творится. Впрочем подожди, я сейчас пересенусь и умоюсь, а то я в вагоне рядом с такими двумя солдатами сидел, что просто дышать было нечем.

Он начал раздеваться.

Услыхав подобные политические новости, Нина Петровна забыла все на свете, бросилась на постель, положила голову между двумя подушками и принялась дрожать всем своим соблазнительным телом. Она уже как бы чувствовала у себя на шее нож гильотины и видела свою голову, носимую на пике впереди толпы большевиков, поющих «Са ира».

Супруг ее между тем, раздевшись, пошел достать себе из гардероба халат. И тут увидел он двух друзей, сидевших там наподобие сиамских близнецов в утробе матери.

— А, добрый вечер, — сказал он смузенно, — а я... вот прямо из Петербурга... Чайку не угодно ли?

Друзья вышли из гардероба, и комната стала весьма походить на предбанник.

Они молча пожали друг другу руки.

— Вы меня извините, — пробор-

мotal муж Нины Петровны, — я прямо с дороги, я только умоюсь.

И, накинув халат, он направился в ванную. А друзья между тем ринулись доставать из-под кровати платье и с лихорадочной поспешностью принялись разбирать свой скарб.

Когда муж Нины Петровны, умывшись, вернулся, они уже ничем не отличались от обычных гостей, только у Панюши оба башмака были на левую ногу, а у Степана Александровича оба — на правую.

— Вы извините, что я в халате, — произнес муж Нины Петровны, — но, знаете ли, сейчас ездить по железным дорогам — это кошмар, и при этом такие ужасные события.

— И вы думаете, что все это будет иметь серьезные последствия? — спросил Степан Александрович, покосившись на темное окно.

И все тоже покосились, и в тот же миг где-то уже неподалеку треснул выстрел и за ним вскоре второй.

От мысли, что придется сейчас выходить в эту темную страшную ночь, у Панюши как-то нехорошо стало на сердце, а потому он очень обрадовался, когда хозяин сказал:

— Вы уж начните у нас, в кабинете как раз два дивана. В таких случаях не следует разбиваться. Один ум хорошо, а два и даже три всегда лучше.

На следующее утро кто-то жарил вдоль улицы из пулемета, а вскоре по соседству заухала пушка. Выйти из дома не было никакой возможности. И всю великую неделю, в течение которой, так сказать, в мухах рождалась рабочая власть, Степан Александрович, к своей великой досаде, принужден был бездействительно просидеть в доме Нины Петровны. Чтобы побороть эту досаду и еще какое-то неприятное ощущение под ложечкой (или речь о другом человеке, мы бы назвали это страхом), он целые дни играл в «кабалу» с мужем Нины Петровны.

#### Вступление и публикация А. ПЕТРОВОЙ

**Главный редактор**  
**Андрей ДЕМЕНТЬЕВ**

**Редакционная коллегия:**  
**Анатолий АЛЕКСИН**  
**Татьяна БОБРЫНИНА**  
**Борис ВАСИЛЬЕВ**  
**Юрий ЗЕРЧАНИНОВ**  
**Натан ЗЛОТНИКОВ**  
**Фазиль ИСКАНДЕР**  
**Римма КАЗАКОВА**  
**Кирилл КОВАЛЬДЖИ**  
**Олег КОКИН**  
**Александр ЛАВРИН**

**Виктор ЛИПАТОВ**  
(заместитель главного редактора)  
**Игорь ОБРОСОВ**  
**Мария ОЗЕРОВА**  
**Юрий ПОЛЯКОВ**  
**Виктор РОЗОВ**  
**Юрий САДОВНИКОВ**  
(ответственный секретарь)  
**Александр СЕРЕБРОВ**  
**Евгений СИДОРОВ**  
**Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ**

**Издательство ЦК КПСС «Правда»**  
**Москва**

## В НОМЕРЕ:

### Проза

**Артем ВЕСЕЛЫЙ.** Вольница (11)  
**Гайто ГАЗДАНОВ.** Вечер у Клэр. Роман (36)  
**Иван ШМЕЛЕВ.** Рассказы. Предисловие Ивана Ильина (48)  
**Веньямин КОРСАК.** У белых (62)

### Поэзия

**Максимилиан ВОЛОШИН.** Россия распятая. Лекция.  
**Усобица.** (Цикл о терроре) (24)  
**Игорь СЕВЕРЯНИН.** Народный суд (61)

### Публицистика

**Триумф окаянных дней. Диалог в читателях** (2)  
**Ольга ТРИФОНОВА.** «Писать до предела возможного...» (4)  
**Павел ЛУРЬЕ.** Дневник (6)  
**Лев ТРОЦКИЙ.** Моя жизнь (15)  
За что погибли шестнадцать миллионов Россиян? (19)  
**Юрий ЗЕРЧАНИНОВ.** Последняя из Тщебовы (20)  
**Ксения БОРАТЫНСКАЯ.** Начало конца (76)  
**Кирилл ПРИВАЛОВ.** «Шли дроздовцы твердым шагом...» (82)  
**Сергей БУРИН. Р.Б.Р.** Размышления о Гражданской войне (86)  
Фотолетопись гражданской войны (34, 74)

### Зеленый портфель

**Сергей ЗАЯИЦКИЙ.** Жизнеописание Степана Александровича Лососинова (93)

**ПОПРАВКА**  
В «Юности» № 8 за 1990 г. в публикации Льва Тимофеева «Я — особо опасный преступник» допущена техническая ошибка. На стр. 73 отсутствует подпись: «Начальник Управления КГБ СССР генерал-лейтенант И. П. Абрамов», которая должна находиться под первым официальным документом.

Редакция приносит извинения автору и читателям.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.  
Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

На первой странице обложки автографавия Эля Лисицкого. Вытеснек 1920 г.

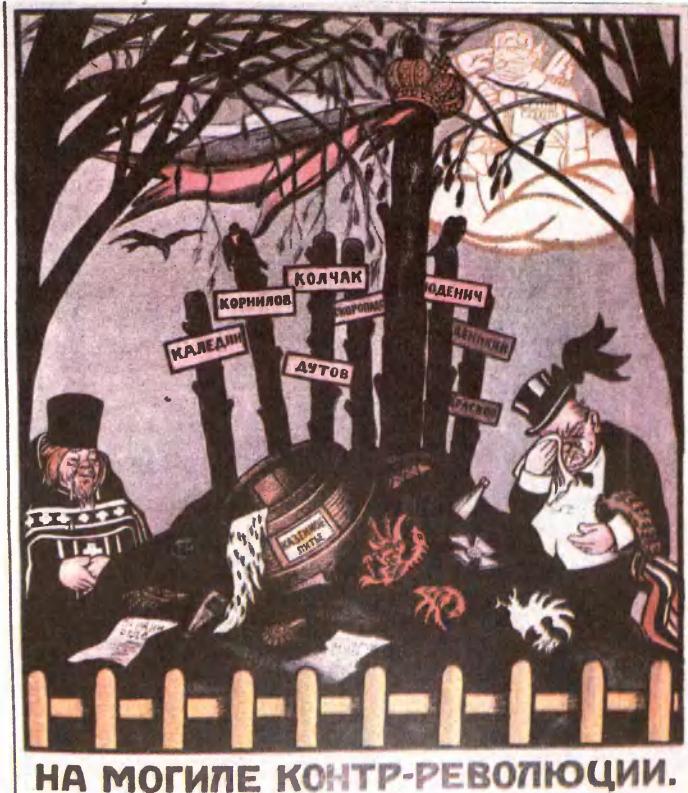
Главный художник Олег Кокин  
Художник Юрий Цищевский  
Технический редактор Ольга Трепенок

Сдано в набор 03.08.90. Подп. к печ. 30.08.90.  
Формат 84×60%. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.  
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.  
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2676.  
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП  
ул. Горького, д. 32/1.  
Телефон для справок 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда»  
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,  
«Юность», 1990 г.



ЛИКИ ВОЙНЫ  
А. И. Деникин (в центре).



П. Н. Врангель.



Научно-методический и учебно-консультативный центр «ЭРУДИТ»  
предлагает:  
**АБИТУРИЕНТАМ**  
**НОВИНКУ — ИНФОРМАЦИОННЫЕ СБОРНИКИ**  
**«МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ И ПОДГОТОВКА В НИХ»**



В сборник включаются конкретные сведения об интересующем Вас вузе, конкурсе, проходном балле, вариантах письменных работ, рекомендации по подготовке к экзаменам, информация по обучению интересующей Вас специальности в вузах Москвы.

*Цена сборника — 15 рублей.*

— Если ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ представляет для Вас трудность, психологи центра и преподаватели вузов предлагают ПРОГРАММУ «ТЕСТ». С ее помощью Вы можете лучше узнать себя и свои возможности.

*Стоимость тестирования 20 рублей.*

— ЦЕНТР «ЭРУДИТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ по математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, русскому языку и литературе, английскому языку по ЗАОЧНОЙ СИСТЕМЕ.

*Стоимость заочного обучения по одному предмету 80 рублей.*

— Для москвичей на протяжении всего учебного года в центре «Эрудит» проходят ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ в различных районах Москвы.

— Жители Подмосковья имеют возможность заниматься по ЗАОЧНО-ОЧНОЙ СИСТЕМЕ.

Для получения интересующего Вас сборника, для тестирования и зачисления на заочную подготовку необходимо сделать почтовый перевод (в размере указанной стоимости) по адресу:

123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 22, центр «Эрудит».

В отведенном в бланке почтового перевода месте для письма необходимо указать:

1. Фамилию, Имя, Отчество. 2. Свой почтовый адрес с указанием индекса. 3. Для услуг по информации укажите интересующий Вас вуз. 4. Для заочного обучения — вуз и предметы, по которым необходима подготовка.

Абитуриентам-москвичам следует обращаться по телефонам:

944-45-80, 190-79-19

**ДИПЛОМИКАМ, АСПИРАНТАМ и НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ**

— консультирование и редактирование научных, дипломных и диссертационных работ.  
Телефон центра: 190-79-19.